



*Волга*

---

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года  
САРАТОВ

*3-4 (509)*

---

*2024*

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

<b>Алексей Порвин.</b> Стихи февральского года.....	3
<b>Алексей Сальников.</b> Марки. <i>Рассказ</i> .....	21
<b>Семён Ромащенко.</b> «Не об искусстве». <i>Стихи</i> .....	25
<b>Михаил Токарев.</b> Фут-фетишизм в районах Крайнего Севера. <i>Повесть</i> .....	28
<b>Юрий Гудумак.</b> Логическая география Дождливой горы... <i>Стихи</i> .....	71
<b>Евгения Скобина.</b> Гад морской. <i>Рассказ</i> .....	91
<b>Борис Лейбов.</b> Было. Каперсы. Сон новобранца. <i>Рассказы</i> .....	97
<b>Янис Грантс.</b> Сопрано на окружной дороге. <i>Стихи</i> .....	104
<b>Вадим Ярмолинец.</b> Рассказы о знаменитых музыкантах.....	111
<b>Борис Минаев.</b> «Калашников» и другие рассказы из цикла «Оды и некрологи».....	117
<b>Ольга Аникина.</b> Волоконце. <i>Стихи</i> .....	148
<b>Владимир Тренин.</b> Ряпушка и клюква. <i>Рассказ</i> .....	152
<b>Владимир Ермолаев.</b> Из цикла «Исчезнувший объект». <i>Стихи</i> .....	162

### ПЕРЕПИСКА

«Мне кажется, что как есть <i>путь чая</i> или <i>путь самурая</i> , так есть и <i>путь поэзии</i> ...» Из переписки <b>Андрея Таврова</b> и <b>Николая Болдырева</b> . Публикация Н. Болдырева.....	186
---	-----

### В СВОЕМ ФОРМАТЕ

<b>Сергей Боровиков.</b> Запятая-24. В русском жанре – 84.....	205
--	-----

### МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ.

<b>Григорий Беневич.</b> О стихах Вячеслава Попова. <i>Герменевтические этюды</i> .....	211
---	-----

### ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

<b>Александр Марков.</b> Философия между событиями <i>К выходу тома стихов и тома прозы Виктора Кривулина</i> .....	222
<b>Борис Кутенков.</b> Внедрённый милый неопознанный, или Воскрешение гетеронима <i>К выходу книги: Фёдор Терентьев. Неполное собрание стихотворений</i> .....	228

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

<b>Александр Ливенцов.</b> О самоубийцах с любовью <i>О кн.: Евгений Чижов. Самоубийцы и другие шутники</i> .....	233
<b>Борис Кутенков.</b> Ткань станет тенью <i>Об одном стихотворении Валерия Шубинского</i> .....	234

Алексей ПОРВИН

СТИХИ ФЕВРАЛЬСКОГО ГОДА

\*\*\*

Может, и не зря проскрипел паркет сквозь пламя  
своё сопротивление подошвам молочных мародёров,  
выбравших выпасть из истории, оставив саднящую ранку  
на месте будущей речи о распределении льгот  
и столь нужном призыве в армию, не говоря уже о пенсии  
Сто лет назад им было не выкатить рояль в узкие двери,  
а сегодня не затащить катку, но всегда есть радости  
муниципальные: вот, ярмарочной мышцей сокращая печаль,  
над медоваренными чанами хлопочут слова  
«Пыль мельчает коврами приёмных  
депутатских, где каплями падает пот  
Статуя, статуя, как нам выправить время,  
что от мрамора отклонилось, растревожило *ноль*  
Цифра есть и другая – пусть примечтаются цифре  
люди с попятными сердцами, примёрзшими к теплу  
Пусть на чашах твоих, молчаливая статуя,  
всё зримое стирается в порошок, исцеляющий  
от неспособности видеть...»  
Может, и не зря пеплом профессорских квартир  
натёрты небесные штеги до блеска – того самого блеска,  
что свою струну не отпустит и любую музыку уговорит  
бронзовые колёсики рояльные застопорить  
чистым натиском патины

\*\*\*

Глянец журналов тёмных, как мокрая почва  
Витрины вспыхивают ярче, чем влажная глина  
Ливень схлёстывается с прутьями  
Это просто блеск  
Осыпаются шелестящим мраком торговые вечера  
В скомканности обменной не разглядеть герб,  
не спросить от имени бумаги бесценной, что полна любовью

---

Алексей Порвин родился в 1982 году в Ленинграде. Публикации в журналах «Нева», «Дружба народов», «Воздух», «Новая Юность», «Носорог», «Урал», «НЛО» и др. Автор пяти стихотворных книг. Лауреат премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (2012), входил в шорт-лист премии Андрея Белого в номинации «Поэзия» (2011, 2014). В «Волге» публикуется с 2008 года. Живет в Санкт-Петербурге.

Свободно ли мыслям, тепло ли сердцу, не тесно ли  
внутри нескончаемого благословения  
Женские голоса жалуются на сияние – мол,  
мазнёт по губам, а глубже не проникает  
Вот раньше было: сверкало так, что перехватывало  
дыхание, и вспышки роились где-то глубоко в горле,  
забирались в сердце, свивая гнездо сопротивления  
Слёзы текли по щекам, помогая общему сиянию  
И прочее, ради чего летает туда-сюда мячик русской речи  
Трибуны ревут, размахивая флагами  
Хотя нет – флагами перебинтованы древки  
тех самых флагов, и никто не обратит внимания:  
за безбуквенную команду болеет инструкция,  
как вылезти из окопа, когда тело скользит  
и наваливается на земляной вал, будто на  
товарища в толчее вагона, набитого рабсилой,  
и ладони стискивают слякотный поручень,  
надёжно прикреплённый к своему  
растеканию по земле, как по времени

\*\*\*

На коровьих спинах вытащен прибрежный ветер,  
застрявший в разговорах, какие не разбудить  
даже словарным именованьем, и если по щекам  
похлёстана слякоть, можно налить ещё чашку  
штабного чая, в котором сажей замыслено плавание  
Шорохом, непереводимым на молчание, догорает ближняя  
граница, не ведая грядущего покоя  
в желудке майора  
Разве кто сравнит любовь с ТВ-пульта заклинившей  
кнопкой, когда снова и снова включается трансляция  
дождя одного и того же, всякий раз нового  
Не дрогнут дома, когда окна рождаются наружу  
заново с каждой каплей, словно можно бытием своим  
перехватить падение, словно от участи отстранён  
пейзаж, где силуэт белого шума  
бодают стада, перепутав с оградой

\*\*\*

Мглу отделяет от времени, себя даром не теряя,  
звёздный свет на побывке в дремоте людской  
Фотоплёнкой застревает в завтрашнем лете, мешкает  
местность: столько налито сажистого затишья в дома,  
что окна полопались, назначая произвольным осколком  
зазубренную страну, отколовшуюся от миролюбия  
Отколовшуюся или отбитую – как отбивают у врага

его способность дышать свободно под именем «враг»  
Выше смысла словесного хороводом возносится почва  
Рождается новая форма, молодеют пальцы умельцев  
Вылеплен пустотелый переход, что ведёт от минуты  
к минуте, и желающие проповедовать прочное дно  
смотрят на всё, как на жажду или на жидкость  
Путают другое с одним, глядят непонимающим взглядом  
на тех, кто стекается словами, словно счастливыми обстоятельствами,  
в лучистое русло, что каждой волной баюкает, будит –  
подпевайте глине, а не гончарному кругу

\*\*\*

Бескозырка шелестит двуязычием ленточек тёмных  
Хотя нет, лучше сказать по старинке: раздвоенный язык мглы  
слизывает усталые минуты с бриза солёного, что прокувыркался  
всю ночь в кружевных переходах от зимы к весне  
и теперь еле держится на ногах, если считать ногами  
интонационные опоры, сотрясаемые марш-броском  
Сколько угля нужно для перевода с одного берега на другой  
всего государственного аппарата, погрязшего в нечитаемости  
Слезам на глазах проступает маршрут, засидевшись  
в голове, что стиснута бескозыркой  
Экзотические плоды заискивают перед стальной ладонью  
соками, в каких небывалые витамины призваны поддержать  
ускорение, приданное детсадовскими хороводами  
много лет назад: славься, возвращение центробежной  
мощи, поигрывай временными мускулами  
Отличался материковым нравом, поросшим травой по щиколотку  
Пещерную морось не отличал от рисунка священных зверей  
Улыбку считал брешью, что законопачена снегом,  
течью называл смех, струящий счастливые океаны  
Никогда, ни при каких свидетелях  
не сравнивал с кораблём силуэт своей возлюбленной

\*\*\*

Забрало полицейского шлема перенимает  
детсадовского линолеума отблески,  
обучается прозрачности у дождя, дарующего  
примирение всех со всеми, но учебник  
отзывает свои буквы, словно бракованный товар  
Наука сложна: меркнет укрепленный визор  
Служители шагали прямо сквозь мир взрослых,  
пустотное зияние в патруле называли *Петров*  
в память о том, кто уволился сразу же, как  
получил приказ избивать цветы и задерживать  
полёт снежинок, снабжённый подозрительным ветром

Сослуживцы не понимали, о чём он говорит  
А он всё о том же: как нескрываемая фотография  
вянет, загибается уголками прямо в небесную печаль,  
как дубинку рассасывает морозный воздух  
и у сердца черствеет удостоверение

\*\*\*

Сладок день, вдали прожитый и далью ставший,  
хотя копиями затабунился воздух, а ведь ему ещё  
внедряться в лёгкие каждого отдельного человека,  
питать индивидуальность, наполнять прозрачностью  
слова о величии бескрайнего ландшафта,  
который вечно начинается смыканием губ  
Что там за вещество изнутри распирает карманы,  
раздувает их, словно шар воздушный – незримым газом  
С трудом сумела примириться с названием «балласт» –  
память обо всех ударах покидает костяшки пальцев:  
хоть прячь руки в карманы, хоть не прячь  
Славно вышло, раз ключ дверной затесался  
в конфетную обертку, пообтёршуюся в кармане,  
и пружины замка замерли в недоумении,  
и земля небу отвечает княжьей дружиной  
Сколько раз пальцы скользили мимо  
заветного металла, не натываясь на хладную бороздку,  
окунались в душок ворсистый, распяленный  
обломками спичек, так и не сумевших тебя побороть  
Тебя, карамельный запах, что принят за своего  
мглой карманной, мглой замочной,  
рассветом, распахнутым до предела  
речевого

\*\*\*

Корни петрушки и сельдерея разложены старческими руками  
на вчерашней газете  
Продавщица дышит сквозь траурную шаль: хочется спросить её,  
зачем она вдыхает страну через чёрную марлю, но ответ  
и так понятен  
Чтобы сынок её Ванюша спал спокойно у неё под сердцем  
Чтобы ничем не тревожилось дитя, чтобы только мгла – и ничего больше  
Где-то там, в толще земной под её ступнями –  
бутон голода, обдуваемый ветрами подземными,  
иссушается и вроде согласен размерами не превосходить  
темноту официального шрифта, что брезжит и брезжит  
всякому, кто надеется на перемены к лучшему  
Знает ли лоток шаткий, как становится ухабом для размышлений  
правильных и нужных, для мыслей о том, что делать с приправами

к супу, сваренному из вчерашнего ожидания вестей  
Всё знает лоток, потому припадает на левую дрожь, которой легко  
заразиться в здешних проулках, мощёных во имя всех,  
не вернувшихся с войны  
Пахнёт влажным грунтом вперемешку с лязгом лопат  
из пивной, где надпитые кружки подставляют всему миру  
сонм белоснежных ямок пенных, что вроде и рады  
слыть слепками людских ртов, обсуждающих отступление  
В сторону рассвета крелятся города, обнаруженные на раскопках трезвости  
Не располагают новейшими данными, не ожидают рождения искры:  
мутноглазые сооружения одобренного культа  
натирают облако до пророческого блеска  
Корни петрушки и сельдерея помогают от изжоги, говорит старушка  
Даже от изжоги с привкусом пепла и латуни  
От изжоги, которую легко перепутать  
с несложным знанием о рецепте пробуждения  
Все знают, как разбудить Ваню

\*\*\*

Выдохнута горечь, стянуты ранки, и самое время –  
запёкшейся ветвью взглянуть в людей, которые  
Пенку молочную, трудным произношением приставучую,  
плотнеющую сильнее, чем парашют десанта,  
призванного освободить морскую волну  
от блёклых отражений, какие никто в мире  
повторять не захочет  
Пенку молочную, вобравшую чуть ли не весь  
кальций из молока, чтобы разом напитать  
рёбра непокорности и фаланги противления  
Пенку молочную, проступавшую – вопреки всему  
предписанному загару – сквозь лица многих поколений,  
застигнутых пионерлагерной юностью  
Пенку молочную, самую обычную молочную пенку  
называли остзейским нонсенсом, но неизменно  
клали её в гурьевскую кашу

\*\*\*

Мыши прячутся в динамики, подставляя загривки вибрациям  
Разве нет способа иного – вытряхнуть из шёрстки  
людское безволие, людскую спесивость, людскую печаль  
Смысловая связь давно перекушена, и обесточено правительство –  
мыши вечно готовы подбирать всякие крохи, вытирать  
собой пылинки на лакированной поверхности прошлого века,  
глухо стучащего об пол, словно протез ритмичного солдата  
Вдыхая горелый запах, не так уж это и умно – утверждать,

будто самое интересное не в сюжете, а в границах между  
 одним кадром и другим  
 По какой шкале расценивать это желание помнить субботние танцы  
 в сельском амбаре, сотрясаемом до межрайонного основания,  
 где кофточный наскок дискотечный, нейлоновая неосвоенность,  
 угрюмость в кожаных куртках, любовь исподлобья  
 Не пытающийся осмыслить отсутствие пауз как иллюзию  
 думает, с кем бы тут поцеловаться, у кого не кисло во рту  
 от кариеса или от кусочка медного провода, застрявшего  
 между зубами, с кем бы обсудить несущественность препятствий  
 Трудно поверить, каким простым может оказаться путь домой  
 Лужа расплывается по теням штакетника (тёмные полосы / просветы),  
 что мельтешат в свете раннего утра, сменяют друг друга,  
 словно кадры киноплёнки, не успевающие сложиться  
 в единую, непрерывную ограду

\*\*\*

Дворник в оранжевом жилете наклоняется к земле так, словно  
 играет в боулинг: махнёт правым рукавом – и вылетит горсть песка  
 январского, обученного вытравливать гололёд из любой речи  
 Махнёт левым рукавом – и выпорхнет стайка газонных семян,  
 прорастающих майским прозрением народным  
 Как хорошо, что буквы не свалены в кучу и у каждой  
 есть своё место под солнцем, и если нужно промакнуть  
 разогретое тело, у каждой есть индивидуальное дыхание  
 Не ропщет, не подозревает очертания стрелы ни в одном слове  
 и вообще – держится молодцом, справляется с очередным потоком  
 ножной насос, в народе называемый «лягушка»  
 Если (не) слушать просвещённых людей, можно поверить:  
 война и чиновники держатся друг за друга,  
 еле стоят на постоянно разъезжающихся ногах,  
 уже столько шишек набили и столько синяков прячут под одеждой,  
 что просьба всыпать хоть одну горсть соли им в шаги  
 слезами смешивается с далеко не стерильным библиотечным пеплом  
 Тут и там что-то рушится с кегельным грохотом, чтобы воспрять  
 любовью к незамысловатому сюжету своего возвращения к жизни  
 Дворник оранжевым жилетом приручает солнце – то самое,  
 под каким легко глубинам жаберной щелью разгадывать  
 воду, перекрученную корабельным винтом  
 Вдыхая лучи, несложно простые ответы дать на простые вопросы  
 Из пляжного песка вылепить шар, чтобы назвать его  
*сон пространства* – и, катнув шелестом в прилив, наблюдать:  
 распадается шар на золотые песчинки пробуждения: каждая  
 на отдельном шезлонге, с персональным полотенцем  
 Прохладительный коктейль – в одноразовых стаканчиках  
 Гигиена прежде всего



\*\*\*

Соловьем надиктовано отступление ветви  
в тень ритма, и если прибегнуть к солнцепёку,  
можно исчислить капельки пота на коже пейзажа  
Исчислить, но не отразиться в них  
Лучше найти кров понадежнее, чтобы думать о том,  
почему не помнят плантаций, почему цветут  
незнакомым говором, почему так горьки  
муляжи выдоха, когда скатерть влюблена  
в свои вечные складки, повторяющие периметр стола  
Фарфором обнятая вода присваивает  
сладкие трещины – в них прятался сахар,  
надеясь раствориться не полностью

\*\*\*

Местностью объяснял всё, даже внезапную наготу: мол,  
продирались вместе с блёклой соратницей сквозь партзадания  
Присвоены клочки её одежды алчными шипами,  
став цветами, что распустились в честь правителя  
Вместе с ней верили в свет приказа, но оседлали  
вороную разнарядку: смогли, справились, прорвались  
Она тогда решила, это все эти сплетения солнца с туманными  
прикосновениями, все эти соловьиные переливы из поцелуя в дымку,  
все эти безымянные единицы нежности неясного производства –  
всё это ей не походит: ей надо было, чтобы всё разложено по полочкам  
Годы прошли: теперь она сидит за кассой, прячется за  
ярко-напомаженной улыбкой, а он –  
неизменно рядом: ну и пусть, что в подсобке  
Пинает картонки, бьющие в ответ штрих-кодами  
по человеческому времени, но нет зеркал в подсобке,  
не разглядеть ровные полоски синяков, не уследить  
в их параллельности призыв замолчать  
Когда мы видим его, он  
миры, вылетающие искрами из-под копыт,  
не объясняет, но советует  
На леденцовые обломки (что сточили угловатость свою  
об эту удаль слюнную и оттого не взрежут время) –  
выменять мрамор, дабы перекачивать его  
в полости ротовой хоть какими словами  
Вообще жить так, будто рассосан гранит  
и можно произносить скрипом ветвяным:  
«тени листвы трепещут, словно этикетки  
в тот момент, когда их переклеивают  
с одного товара на другую жизнь...»  
В конце каждой смены он ждёт её у выхода

\*\*\*

Лупят четыре крыла каждую сторону света  
Отбивается стрекоза от снежинок, словно из них  
вот-вот вылепится прилагательное «межвоенная»  
и сядет на хвост этой драконьей душе, что внесена  
в список символов счастья  
Слова закутаны в глухие одежды и неизменно оказываются  
чем-то другим  
Вот и «уроборос» – это всего лишь «кольцеброс»  
Правила просты: набрасываешь кольца на торчащие штыри,  
отпихиваешь всякую метафоризацию и слишком очевидную  
образность, заставляя себя не думать о том, что есть и  
другие игры  
Например, набрасывать нимбы на головы  
Если промахнёшься мимо кого-то, то этот кто-то  
встаёт рядом с бросающим, получая  
право броска, право как следует швырнуть  
радужное кольцо  
на мир, что ошетинился  
стволами винтовок и автоматов  
Что говорила девочка, вблизи разглядевшая чешуйки,  
жарко нападавшие  
ей на бледный живот  
с надголовного воздуха  
незнакомца какого-то, произносившего  
речи о добродетели  
Кто же той девочке поверит – она маленькая ещё,  
к тому же, у неё сильный стресс: родители остались под завалами  
Но даже услышав её слова, всё равно многие сомневаются в том,  
что будущее без войны –  
единственное, чему стоит  
приобщиться  
На полной громкости звучат призывы к миру, изо всех сил  
старается стрекоза  
Внутри материи идёт снег, и солдатская куртка –  
не исключение: пробираются снежинки сквозь  
волокна, не прошедшие отбор,  
завалившие конкурс  
на место в трактатах философских

\*\*\*

Мимо спящего дома струится река цвета хаки  
Столбы трепещут объявлениями о курсах котлостроения  
Переварили прошлогоднюю коллекцию одежды  
магазины, и каждая витрина безлюдна, словно ворота  
футбольные до начала матча – хотя нет, всё же,

в них стоит пустота, защищая честь команды случайной  
Пустота, себя окружившая муляжами человека  
Мутно поблёскивают добровольцам вослед  
пластиковые бёдра манекенов  
Хлопают второкурсными ресницами предрассветные  
медички: не исчезайте, мальчики, но ещё пара мгновений –  
и единогласно вольются добровольцы  
в поток часа пик, прикладывая неимоверные усилия,  
дабы не смешаться с гражданами офисными и учебными  
Нужно ли, как в прежние времена, вписывать слова  
в графы, залитые звёздным светом, нужно ли солнцем  
воспевать человека, на котором время учится  
любить, бороться с войной, сострадать  
Нужно ли сообщать, что производство манекенов  
урезано вдвое – стране не хватает пластмассы  
на протезы военным  
Нужно ли думать, как пространство себя поедает само,  
как вонзает огненные зубы поглубже в зазевавшийся полк  
Какого цвета чернила, что разъедают бумагу актуальных  
ценников – до понятно какого: цвета застарелой язвы  
Не о подобных вопросах думают многоэтажные берега  
Окна, заплывшие глиной, слышат лишь внутренний шорох,  
с каким время протаскивает сквозь телá  
дни и ночи, прощая застревающие минуты:  
«только не примыкай, темнота, к темноте;  
только, рассвет, не подкрепляйся лучами...»  
Шорох переходит в речь тропой одноголосой

\*\*\*

В этих районах часто звучит словосочетание «свободный край»  
Казалось бы, при чём здесь Россия, когда салоны маникюрные  
заглушают радиохитами запах ацетона и зазывают прохожих  
сточить *свободный край* до гипонихия и дальше –  
до *линии улыбки*, и если покопаться в альфа-кератиновой пыли,  
найдёшь частицы сопротивления, как и везде  
Интересно, сколько микро-лоскутков мужской кожи  
стёрто в пыль вместе с возможностью расцарапать лицо  
наильнику, сколько граммов пороха собрано из  
многокилометровых ногтевых пазух всех этих женщин  
Сколько земли изъято из-под ногтей, разворотивших  
не один почвенный пласт в надежде опровергнуть похоронку  
Нужна недюжинная сила воли, чтобы просиживать часами в кресле  
ради красоты  
Но это лишь прикрытие: все они стремятся  
в условиях глобального потепления, в условиях  
вымирания ледников  
хоть как-то облегчить Нагльфара грядущее плавание

Всё-таки милосердие прежде всего  
Пусты календари, забраны цифры у гос. праздников,  
чтобы укомплектовать шкалу осадки  
До блеска вымыты сходни, и золотые поручни надёжно закреплены  
Чтобы каждый чиновник,  
отправлявший их мужей, сыновей и братьев на погибель,  
подакивающий безумию и превозносящий бессмысленность войны  
Чтобы каждый такой чиновник  
– с почестями и комфортом, подобающими их статусу –  
взошёл на борт  
Можно считать, это уже случилось, и порядок вещей  
ведёт тебя из города к солнечному побережью, где сосны  
поют попутный ветер, где свежий хлеб дышит с тобой  
одним воздухом, где лак для ногтей используют  
лишь для покраски блесен, и где  
улыбка прирастает свободным краем

\*\*\*

Речь свою пытался с общей состыковать, перебирая  
противительные узлы, словно бусины на чётках  
Просил называть его не именами, но расстоянием между  
Рассказывал про дальнего родственника  
Тот на фабрике загоняет непроглядную мглу  
в глобус, как загоняют зверя – воспламенив  
точечную горечь пятиминутного перерыва,  
дымя кондиционеру в решётчатое забрало – в знак превосходства,  
конечно же, в знак неуважения к механизму, гоняющему воздух  
из пустого в порожнее  
Удивительной казалась недвижимая поза рассказчика,  
решившего хорошенько насесть на сегодняшний день  
всей несгибаемой мудростью присвоенного света  
Из его молчания не смысл, но доступную округу извлекали,  
как выплетают ленту из косы, разбирая прядь за прядью  
Путались в местоимениях, угадывая женские очертания  
Смущались, чувствуя на себе взгляд, закованный в доспехи доброты,  
вылетающий на всём скаку из-под переходящей вуали жанра  
Кто сегодня выиграет право смотреть на людей сквозь душную дымку  
Незачем его слушать: вечно свободен тот, у кого на уме  
притяжение к телу и солнцу, и прочее, что изучает  
побочная физика смысловых перемещений  
Всю его речь досконально запомнили, слово в слово  
К благоустройству окраин вернулись, а там всё то же счастье  
Память, целующая пылью одуванчики  
Пледы, пахнущие землёй  
Люди, скрюченные пикниками

\*\*\*

В честь дыхания привозного воскурен мятежный торф,  
что дышал мглой в подошвы солдатских сапог  
всё равно каких армий  
Для подражателей нутра, т. е. для дымовых нор,  
нет навыка ценнее, чем игнорировать  
корневую систему  
Здравствуй, питьё, крутящее колёсики сушёных яблок,  
расправляй же изюминку, сжатую между указательными пальцами  
времени, разжимай пружину утоления  
Прокручивается в стакане соломинка, словно ключ без бороздок  
Гладкий ключ, не умеющий отпирать, но не способный и запереть,  
утешает донную мякоть,  
обещает награду, что маячит человеческим  
ртом в конце туннеля –  
тем самым ртом, что привык произносить вполне обыденно:  
«В бою за родину, верный воинской присяге, проявив  
геройство и мужство, был...»  
Легко узнать этого юношу – ещё бриться не начал, а уже  
норовит вскочить с места, выкрикнуть на пределе громкости:  
не хватит ли поэтам дышать в гладкий ключ,  
соревнуясь в силе и громкости  
выдоха, зауженного до предела  
Куда бы ни указывали минуты – всё равно выйдешь к винограднику,  
залитому солнцем, где каждая ягода, словно световой пузырик  
легендарного напитка, влечётся ввысь  
внутренним воздухом навсегда решённых противоречий  
Ну а пока – пение трухлявых замков, да разговоров зяблый мякиш  
и механизированный компот, что тёплым стеклом ограждён  
от сладости мира  
не в упрёк обеду по талонам

Но можно выбрать и прочее – например, в группе себе подобных  
чувствовать себя пятном на карте, словно ползёт на врага  
зелёнка, оглушённая сгибом девичьего локтя  
Прочистным самолётиком внедряться в обзор,  
верить в мощь тетрадной бумаги, в гигиеническую правду  
неразборчивых слов, что прячутся в сгибах  
Вертолёты зависают над моментом наслаждения,  
но всё глеют окраины болот, и под этот шумок,  
спешно скидывая именование «человек», бросая  
сокрушительные пожитки, забираются сквозняки  
в щель между словом и эхом

\*\*\*

Шанс восславлен – обучиться орнаменту неопределимости,  
гравийный пласт припугнуть орфографией

Что ещё за классификация времён, что ещё за пропуск, если  
 прадедов расцвет приколот к воротнику гимнастёрки  
 У подножья обновлённого вдоха, в начисто вымытой земле  
 камень о камень трётся, извлекая искру, что никак не втиснуть  
 в правописание скрипичное, обитое замшей облезлой  
 Когда ещё научится говорить дыра в муляже торгов –  
 к тому времени жгучим словом завлечена гортань  
 гранёной интуицией старших  
 Что ещё за борьба с одиночеством, что ещё за видео постыдные  
 Друг просит у друга уступить морок на вечерок, дать  
 полистать фото в смартфоне, где из пляжа вылеплен вождь  
 Не ради чего-то, а чтобы поутру проснуться  
 от покальвания песчинок, что не знали укромности скользче  
 Ради забавы думали о будущем, которое якобы наступит  
 после музыки: тогда разошедший голод пойдёт трещинами, и каждая  
 потребует называть её по имени-отчеству  
 Пришли к выводу, что ничего не изменится  
 Просили начальство сменить число на единственное, чтобы  
 понизить градус пространства, но не времени  
 Никому нет дела до прополотых ораторий и бемолей сорняковых  
 Но можно кашей и макаронами дослужиться – лягь в помощь  
 Метит столовая миска в священный алюминий  
 ракетный, видевший виды с небывалых высот  
 Кто там говорит неясные речи, кто выходит в цветущий сквер  
 Да тот, кто в уютном сумраке не силён, кто танковую утробу  
 переварил по книгам быстрее, чем она его  
 Жаркие стебли раздвигая, вникая в загорелую податливость,  
 назвавшийся другом дышит сквозь микроскопические отверстия  
 между семьей и семьей  
 Мыт-перемыт накомарник, но по-прежнему говорят  
 о застрявшем в ячейках нитье  
 Вспоминали о том, как правильно жили, как  
 заходили в столовую порционно  
 Полустёртое время различимо на ощупь  
 по звёздам погонным, примёрзшей лапше  
 По мисочному лязгу

\*\*\*

Уличный лоток запахом кофе лепит слюнные крючки  
 Надо ли говорить другие слова, когда на каждом углу  
 предлагают сделать копию священных чешуек  
 Можно замереть, как эта мама с ребёнком, утоляя летний полдень,  
 накрахмаливший рты новостями из союзного государства, или  
 прямохождение окропить ароматом дальних плантаций  
 Хотя почему это дальних – просто плантаций, не подчиненных  
 нелепому разделению на близкое и очень близкое  
 Солоноватым ветром портовым приложена к лицу возможность  
 дышать, впитывает избытки мимической мглы наследной

Так бы и стоять, наблюдая, как бесконечное плавание названий  
силы даёт всё новым мирам, так бы и слушать, что говорит мама  
Учит ребенка не бить ладонью наотмашь, а *делать культурно*  
На комариный укус пальцем нажать, как на кнопку,  
надеясь папиллярный узор оставить на мелком крыле,  
включить воспроизведение военной хроники  
Следить, чтобы ни один кадр не застрял в теле  
Вообще обходиться с собой бережно, как с дорогим  
плеером, сияющим в плену гарантийного срока  
Имена на кофейных пенках причаливают к молчанию  
Бумажные стаканчики краснеют следами помады за всю страну

\*\*\*

Усилие, чтобы поверить: всё забудет грунт, превзошедший  
бересту шершавостью, если пяточным жаром отзовется  
идея восхождения: требуются сотни лет, чтобы  
оглянулось окликнутое равенство  
Учебники не взяты на каникулы, всему есть объяснение  
Внесённая в реестры память смотрит на мир помутненным  
взором, еле на ногах стоит, держится за  
разымчивое имя ямщика, что от болот  
воспаряет раскуренным клёкотом  
Дети чертят шестиугольники на земле,  
вряд ли зная о гексагоне как символе симметрии,  
изобилия, мира, любви, гармонии и даже брака  
Дети чертят молекулу тестостерона – сами того не  
желая, и всё стерпит, не сломится  
ивовый стилос, что походя смахнул с высот  
несколько бак о давно минувшем лете  
Всё это важно, очень важно, но разве имеет значение –  
какую там ленточку несли в роддом, ожидая от неё  
ответов на вопросы ещё не возникшие: глядя на вошедших,  
Медуница неясная, *Pulmonoria obscura*, склоняется из розового в синий  
Медуница неясная отсчитывает время переходом  
из розового в синий – даже когда ни на кого не смотрит  
Стебель смиренен, пыльца чиста: медуница не призывает  
повторять слова древних: женское и мужское – это языки  
одного пламени, и прячась от ветра, никто не преуспеет  
Медуница исповедует свою идею увядания  
Что же получается, небесная синева склоняется  
в кровоток человека, наводит там порядок  
по праву старшинства, по праву незримого прилива  
Бризом дыша, легко говорить сквозь лепестки:  
центром называют любое место,  
где пространство столпилось и пытается не  
раскрошиться, словно огонь, отколотый  
от слова предков  
Огонь, живущий не временем, но немеркнущим склоном

\*\*\*

На пути к рассвету подобрана передышка в рассказе  
о человеке, которого просовывали в слово «раса»,  
как тщедушную минуту в слуховое окошко  
Просили – открой изнутри, а он заплутал  
на кухне, к банке засахаренной прилип  
Речь свою измазал вареньем черного винограда  
Обзавелся прищуром солнечному свету в ответ  
На хозяйской перине заснул белокоже  
Между делом разрастается пейзаж, где никто никому не солдат  
Себя выходили – и ладно, прямо в слово заливали  
цветочное молоко, а между делом измором карточным  
брали жару садовую, где между ветвями  
нестройный хор голосов решает, что считать седлом  
Вот-вот пегий ларёк цокнет бутылкой оземь, а уже  
узда прочерчена крылом золотая – о пусть же сердце  
поёт о том, сколько выпито копыт  
Пусть досматривает прадедовы сны разомлевший сообщник  
Всем, даже этим, кому чистота на руку  
Всем гарантирована реальность  
Жизнь меняется к лучшему или это просто гербом гаснет  
фуражка, командирские проплешины  
распробовав на вкус

\*\*\*

От сердца отставший прогрев разговорный:  
«Знаем, где пламя, и верим – в такие холода неспроста  
жмутся раскопки ближе к почвенным глубинам...»  
– берегам понятен, как листва конькобежной лепки  
Посему грозозащита в кои-то веки обретает смысл  
Любовь к родине спешащие записывать в убытки  
покусывают карандаш – один на всех –  
не это ли тренировка перегрызть  
продрогшие плотины, надеясь до предела усилить  
блеск жизни переливчатый, почти что бобриний  
Главное, со всей точностью сказать: небесное сгущение чаепитий  
Знаменем полковым размешивая лесную чащу,  
ждать, когда растворится приказ без осадка  
Закроешь глаза, утомившись потакать уподоблениям  
Слушаешь ветви, пчелиным гуденьем спелённые

\*\*\*

Произнёсший «отчизна» брошен, как монета  
в торговый автомат  
Вокруг не тьма дотошная, пахнувшая латунию, но



предлетний день, где воздух,  
кочующий между лучами,  
везёт отогревшиеся грузы  
Радио не скисает проводками, искрящими о том,  
сколько младенцев выпущено  
по излюбленному государственному страху  
обмеления человеческого  
Неизвестна планировка дыхания, и запылённый пейзаж  
оборачивается взносом в приграничную палатку – там  
копеечный пар  
целится в небо  
и отрицает кастрюлю свою  
Спой нам песню, столетняя птица, как рикошетил мир  
от перьев неприкрытых, беспричинных  
Нужна сила – изыскивать дополнительное зрение,  
изворачиваться заморозками в календаре  
Нужна сила, превосходящая ядерные угрозы  
Если это – сила любви, видимой при произносимом,  
то можно не прикасаться к ветвям нарочитым,  
сдирающим с тепла нежный ситец  
Можно жить без прицельности, ведь под платье,  
давно переросшее пляж,  
посетительница прячет крутой изгиб своих ног, будто  
была когда-то шкодливой  
рогаткой для вспотевшего школьника  
Как бы кто не начал резину тянуть, а то вылетит камнем  
прямо на фронт,  
подальше от дома,  
подальше ото всех  
нежностей этих с примесью горького реваншизма  
Это счастье – проходить между столиков, задевая тарелки,  
словно в теле застряла  
дирижабельная геометрия  
Есть время вдуматься в слово *порция*, глядя в соус,  
сгущённый из новостей ипритовых  
для наспех изложенного города  
Лампочка гаснет, оживают батареи отопления  
межрёберной негой, пока в нутре вспыхивают  
спирали лапшовые, любимицы молчального тока

\*\*\*

Смешны суеверья, но краном сплунута умывальная нить  
трижды, ведь рубероид свисает с крыши отщепенцем  
в ту эпоху, когда грядут межрайонные ливни  
Здесь и так много слишком предметов, желающих  
собой прорехи затыкать, а напишешь вот так  
– *слишком-предметов* –  
так сразу своей атомарной структуры устыдится печаль,

засобирается обратно в понятный исток  
Зря стучится в стекло ртутный паёк метеопата –  
полон беззвучными цифрами, словно чем-то неважным  
Что ещё Ра промяукает, пока не вернётся в обличье своё  
Был тут знакомый один среди командиров напора  
Куда он отбрёл – да, видимо, в совесть, ветвящую тени,  
грозящую плодов избиением всем, кто любовь переводит  
на поздний сумрак вздоха имперского, змеящего правду  
Чистой водой отлегают от сердца (что? да весь мир)  
На полстакана – столько капель латыни, сколько поэтов,  
воспевающих радость, силу, победу  
Не напрасно предок далёкий кустарной лодкой  
взялся искать потоп помоложе, с более упругими волнами:  
светом, подоткнутым под дверь, выкормленные дети,  
из всех диет выбирая всезнайство, наблюдают теперь,  
как народная гордость лишние килограммы  
сбрасывает на город  
Это что, ведь ещё предстоит округу вербовать  
в полёт велосипедный, исполняя предписанное  
каменитое лечение опустевшего пульса  
Книгу, что ли, раскрыть на странице с госштампом  
библиотечным, заползающим небесной тишиной  
на сюжет: из шерсти кошачьей свалянный сыщик  
ищет аллергика, повинного в слёзном затмении почвы

Славно, что прокашлялся кран, и можно бесконечно любить  
время, поющее жарким клубком, объявшим ладони

\*\*\*

Сквер всеми ветвями отпихивает фразу про  
разноязыких празднотлюбцев, выбирая падающий  
из громкоговорителя набор обозначений  
Вроде бы земля высветляет народ русский, да отчего же  
зябнет двухмерная желть под ногами, почему  
не согрета ролью свой глобальной эта фраза  
про потери врага, про успехи на поле войны  
О прямоте, передержанной в слёзном растворе вдовьем,  
буркнет неразборчиво травного поклона поборник  
Дескать, как славно, что танки, что все как один и т. д.  
Славно другое – то, как расцветает разъеденная жердь  
Дескать, есть чему у природы поучиться – даже стебельки  
гнут спины при виде правителя, даже листва  
скромно таит дождевые капли, дабы придворному слогу  
пересохшего рта, передвинутой ночи – подальше за щёку –  
оправданно называть осень суховерхой, когда  
над облаками ни капли не сыщешь  
Не иссякнуть столбам, пока воздух осенний  
приращению равен

\*\*\*

«Да закройте уже эту дверь» – салютует голос, и мрамор содрогается  
блеском, зябко мельчающим при очередной смене лампочек  
Мельчающим, обретающим статус экспоната: обрывки метели  
лижут экскурсионное тепло, разглаженное шарканьем бахил  
от центра в углы, где сумрак насытился перпендикулярным жаром  
и теперь отбывает себя, силуэтом напоминая случайного знакомого  
Дышит в ладони себе фотограф, только что из мавзолея  
Свобода – вещь ни маленькая, ни большая, а как быть с несвободой  
Молчат удобрения в стенах, спрессованные в кирпичи  
Без всякого полива разрастаются в объективе  
под музейным стеклом колодки крепостных

\*\*\*

Миновал планету то ли хвост кометный,  
то ли просвет истории, наглухо поименованный  
«микро-летопись» – миновал, уместился если в ладонь  
Латунные свитки жарко разматываются в теле, тычутся  
в кровоток – ты прочти нас по-крупному, разом,  
хватит крупницы переводить на воздух, довольноно  
песчинки световые перебрасывать из жизни в жизнь  
Как же, солдатик, ты не знал – ты одноклассник победе  
Всё давил и давил на педаль её швейного клёкота  
Съехал зачем с магистрали в кружавчатую тень, в стебельки  
трофейных поленных духов, прорастающих сладким  
стуком височным, но нечто вмешалось  
Сбился на нимбе, пахнул свежей землёй  
изнывающий от предвкушения калибромер  
Чутким лаком крашены ногти, и в пальцах при виде  
скорострельных частот просыпается наука услужливая  
Ерунда, но всё же: в арсенале пара приёмов – быстро  
портрет сникшего мужа поставить, как стоял  
Негоже всей правде мира лежать генеральским лицом вниз  
Нужно всей правде мира взирать на супружеское ложе  
плоским взглядом, отпечатанным за копейки в копи-центре подвальном  
В мышцах оживает лепестковая сила – в обратную сторону  
вывернуть руль, не щадить сгораний внутренних: на то есть причины  
Зоркой крупой обшарен пейзаж подсердечный,  
выявлен ливень, где слов разведанная дружность  
за каплями прячет домá, налёгшие на число этажей  
всей массой, всем противлением артобстрелу  
О чём ещё может поведать солдат, говорящий золой  
Той ли золой перемазан, покорнейше просит считать  
любые силуэты человека как прибыль –  
зной слепящий расскажет, что за обочина происходит  
с пыльными травами, с офицерскими спальнями

\*\*\*

Парковые урны, окурки, скамейки – все под дождём  
обнажают замысел: понемножку, по чуть-чуть, по шажку  
в подводную лодку эволюционировать, дабы лишь  
перископной дрёмой касаться того, как звёздный свет редет,  
как пьянеет реальность от ласки, как лепечет  
заплетающимся отрядом захватническим что-то про  
высокий прочерк, от какого покоробленная ПВО  
не находит слов: чем бы ещё свободу накликасть  
Как цифры сумели отказаться самолично от своего «я»  
Как шкала вбирает всё то, что призвана мерить  
Как смолчали о том, *что* разговором столкнули  
в порошковую изморозь на девичьих лицах  
Как сквозит глубиной (смысловой, душевной, какой там ещё)  
умение держаться на плаву, призывает: чувствуй подмышками  
спасательный круг – толстый, словно распухший градусник,  
что взялся измерить температуру, среднюю по мировой истории  
Можно выдохнуть: убережены речи, обрытые по периметру  
Это значит, потоку предписаны строгие линии, и можно расслышать:  
«Завезли пробоины надувные, пойдём разбросаем  
Пусть хлебнут свежака, да солью морской закусят –  
с печалью русской несмежные отсеки...»  
Можно расслышать

МАРКИ

*Рассказ*

– Ну и как ты собираешься десять часов сидеть в аэропорту? Что ты будешь делать? – спрашивала жена несколько раз перед самой поездкой в Ульяновск.

– Да я хрен его знает, что я там буду делать, тем более что курилки в Домодедово нет! – каждый раз с раздражением отвечал Шибов и с грустью представлял свое тоскливое ожидание обратного рейса из Москвы до его родного города, куда напрямую из Ульяновска было не улететь.

Но еще за день до возвращения, оказавшись, наконец, в гостинице, Шибов посмотрел прогноз погоды, а тот пророчил +28 по Москве и области, небольшие грозы, и стало понятно, что в аэропорт можно не заходить, когда есть возможность весело и с пользой провести ночь под открытым теплым майским небом с книжкой в руках, сигаретой в зубах и кофе в желудке.

Между Москвой и Ульяновском пассажиров возят небольшие самолетики, вроде маршруток. Ну, не маршруток, но на туристический «Икарус» салон чем-то похож изнутри. Там, так же как в автобусе, по два ряда кресел с каждой стороны. Шибову достается место у иллюминатора, не то, что в прошлый раз. Лететь сорок минут. В полете еще и кормят. Очень странно это все выглядит после двухчасовых перелетов и более дальних. Только гаснет сигнал «Застегнуть ремни», как сразу же везут еду. Только расправились люди с бутербродами, и снова нельзя вставать, потому что начинается посадка, требуется привести кресла в вертикальное положение и открыть шторки. Шибов и не думал опускать никаких шторок. Всю дорогу он только и делал, что любовался тем, как самолет маневрирует между толстыми высокими облаками, похожими на невероятной величины небоскребы, как бы шерстяные, или облепленные хлопком. Земля внизу выглядит плоской и безобидной. Будто нет там никакой творящейся истории, а есть только земледелие и немного архитектуры. Речки блестят, зеленеют леса, которых на удивление много. Шибов вспоминает, как летел над зимней тайгой, пусть и бесконечной, однако засыпанная снегом, с отстоящими друг от друга деревьями, она вызывала мысли об огромном парке, разве что без пешеходных троп. А между тем ведь жуткое место, если заблудиться.

Самолет садится. Шибов, пока другие толкаются в проходе, собирая манатки, не спешит вставать, а оценивает погоду на улице. Там вечереет, облачно, однако солнцу хватает места, из-за чего длинные тени растянуты на земле и бетоне. Шибов не спеша бредет наружу по просторным коридорам аэропорта, задерживается в холле, зачем-то смотрит на табло, где до его следующего рейса еще уйма времени, даже еще не началась регистрация. Покупает кофе с собой и, пропустив вперед себя семью из пяти человек с чемоданами на колесиках, суется за ними во вращающиеся двери с надписью «Выход».

---

*Алексей Сальников родился в 1978 году в Тарту. Публиковался в альманахе «Вавилон», журналах «Воздух», «Урал», «Уральская новь» и др., в двух выпусках антологии «Современная уральская поэзия». Автор четырех поэтических сборников, лауреат поэтической премии «ЛитератураРРентген» (2005) в главной номинации. В «Волге» опубликованы романы «Отдел» (2015), «Петровы в гриппе и вокруг него» (2016; роман получил приз критического сообщества премии «НОС» и стал лауреатом премии «Национальный бестселлер»), «Опосредованно» (2018). Все романы вышли отдельными изданиями. Живет в Екатеринбурге.*

Буквально четыре недели назад Шибов тут бывал во время другой командировки. Кругом тогда лежал лед, снег, ветер дул невыносимо, гася огонек зажигалки и вырывая сигарету изо рта, а телефон из руки. Сейчас все ходят тут чуть ли не в трусах, лбы людей, перетаскивающих багаж из такси и в такси, блестят от пота, почти у всех тусующихся перед аэропортом бутылки с водой и газировкой. Будущие и бывшие пассажиры пьют, дама в огромной белой шляпе и белом платье, сидящая напротив киоска с фастфудом, обмахивается цветным журналом. Будто вовсе и не было зимы и вообще никогда градусник не опускался в этих краях ниже нуля.

Шибов закуривает и пытается отхлебнуть из стаканчика. Это опрометчивый поступок. В стаканчике лютый кипяток. Даже того количества кофе, что успевает попасть Шибову в рот, хватает для того, чтобы спина у него взмокла и он ощутил себя как после бани. Он снимает крышку с напитка и оставляет остужаться свой раф на гранитный парапет на границе между местом для курения и стоянкой машин.

– Марк! – слышится беспокойный женский крик, и Шибов оборачивается, хотя он вовсе не Марк.

Так же делают и остальные курильщики возле Шибова. Смотрят, что происходит. А ничего не случилось, просто мимо пробегает мальчик, за ним его мама, или тетя, или кто она там ему – неизвестно. Родственница какая-нибудь. Вслед за ними, побросав окурки в урну, неспешно похватав сумки, уходят курильщики. Шибов на полминуты остается один, размышляя, доставать книгу или сначала выкурить вторую.

Его размышления прерывают два молодых парня, одетых, как кажется Шибову, под криш-наитов: в белых просторных хлопковых костюмах, с четками на руке у каждого. Еще и бритые наголо, да так притом основательно, что головы у них блестят, как паркет. Они просят у Шибова зажигалку, принимаются дымить сигариллами и начинают говорить, явно продолжая беседу, стартовавшую где-то ранее.

– Вот смотри... – говорит первый, – эти художники, которые рисуют трахающихся персонажей из мультиков, это же вот, удивительный феномен.

Второй кривится:

– Господи боже, да какой это феномен, это просто какая-то дурь, это из хулиганства делается из чистого, а ты к этому постмодерн какой-то цепляешь, какие-то разводишь вокруг этого непонятные, ненужные вообще какие-то эти... усилия.

– Нет, ты подожди, – насадет первый. – Ты посмотри на это глубже и серьезнее. Ничего не делается просто так.

– Да много делается просто так! – вспыхивает второй. – Мы, вон, едем в Стамбул с одним кошельком, просто потому что нам так захотелось!

– Вообще-то, мы едем отдохнуть, – напоминает первый, – потому что мы заслужили расслабон после тяжелых репетиций. Не забывай. Мы пока не стигматизируем курортный отдых. Не настолько мы преисполнились элитарного искусства и театральных экспериментов, чтобы, бля, отказывать себе в тупом сидении в море и ол инклюзиве. Но, возвращаясь к прошлой теме...

Второй закатывает глаза, но первый не обращает на это внимания и говорит:

– Вот смотри. Авторы мультфильма сублимируют свои самые безумные желания и мысли, превращая факт работы подсознания в приемлемые для широкого зрителя образы и сюжеты. Это истина. Так?

– Ну, допустим, – соглашается второй, явно только затем, чтобы от него отстали.

– А художник, рисующий всю эту шляпу с анальными игрищами лиса и зайчихи, демонстрирует зрителю самые простые и низменные истоки творчества...

– ...как и любой, кто слово из трех букв на стене пишет... – перебивает его второй.

– Ты, как всегда, упрощаешь! – они принимаются спорить и уходят, зачем-то кивнув Шибову на прощание.

Шибов кивает им в ответ. Пробует кофе, но тот по-прежнему горячий. С тоски он закуривает очередную сигарету и опять слышит:

– Марик!

Мимо проносится другой мальчик с плюшевой игрушкой под мышкой.

К Шибову подходят два серьезных мужчины в деловых костюмах, жестом просят зажигалку, Шибов молча копается в кармане джинсов, дает прикурить, морганием глаз обозначает «пожалуйста» на их «благодарю».

Эти не спорят, а скорее дополняют друг друга.

– Я тоже думаю, что рабы в Риме в чем-то были свободнее, чем мы сейчас, – заявляет один. – Им хотя бы еду и жилье предоставляли. Похоже и рабство-то отменено не потому, что какие-то свободы там люди захотели. А просто потому, что так кому-то просто выгоднее.

– Ну да, – поддерживает его собеседник. – Прикинь, если бы в Риме рабам сказали: «А теперь давайте арендуйте жилье и кормите себя сами. Для этого надо впахивать по двенадцать часов в день, по семь дней в неделю. Как вы будете до работы добираться – исключительно ваша проблема. Два часа туда, два часа обратно по пробкам из колесниц? Ну, извините. Можете попробовать найти работу поближе. Что? Тогда не сможете коммуналку оплачивать? Это не наши проблемы». Да там бы такое началось...

– Да, похоже дело именно в этой финансовой отдаче всей мировой системе. Думаю, и нами бы торговали и детьми бы нашими, если бы на нас был спрос. Если бы это было тупо выгоднее, чем наше теперешнее состояние потребителей и просмотрщиков рекламы. Даже вон лазейка есть для тех, кто хочет себя частично продать. Всякие подписки, всякие сервисы для клоунады и интима.

– В случае с блогерами, реакторами и стримерами мне это больше паперть напоминает с юродивыми.

– Нет, там подчас серьезная работа и подготовка видна. Это не совсем паперть.

– Как будто на паперти сидеть в любую погоду проще было! Как будто это не требовало подготовки и серьезной актерской игры!

– Не знаю, не знаю...

Эти тоже понуро удаляются, оставляя в Шибове ощущение спектакля, перформанса и нагнетаемого безумия. Он в три приема выпивает стакан, жалея, что это не кофе по-ирландски.

Шибов ждет каких-нибудь фокусов от компании мужчин в военной форме, которые заполняют место для курения.

Те просто курят, прощаются, обмениваясь рукопожатиями; один за другим садятся в такси и уезжают. У Шибова совсем вылетают из головы два предыдущих представления, он расслабляется. Думает сходить еще за стаканчиком и уже сесть где-нибудь тут неподалеку. Он стоит, почему-то один, хотя другие места для курения довольно плотно забиты людьми. «Видимо, со мной что-то не так», – думает Шибов и оглядывает одежду. Вроде бы все нормально. Еще в гостинице Ульяновска он чуть не сплошь обмазался дезодорантом, дабы не ужасать сидящих рядом, после того как проведет ночь в аэропорту.

Он делает шаг в направлении киоска, обещающего хот-доги, чай и другие напитки, но едва не столкнувшись с ним, мимо с грохотом проносится не электросамокат, а обычный. На самокате очередной мальчик, которого в очередной раз окликают:

– Марк! Я говорила: «Осторожно!».

«Сейчас начнется», – опасно оглядывается Шибов.

И точно. К нему подходят две девочки, как ему сначала чудится, лет одиннадцати-двенадцати, жестом показывают, что им нужна зажигалка. Шибов хочет спросить их, не рано ли им. Приглядывается к ним и понимает, что тем, кого он принял за детей в ситцевых сарафанах, уже где-то за двадцать, но меньше, чем его сыну, которому двадцать пять, поэтому для него эти девушки все равно что дети. Сдержав поучительные слова о вреде курения, Шибов дает им огня и говорит: «Не за что».

– Все просто, – категорически заявляет рыжая собеседнице-брюнетке, – те, кто уехали – предатели, те, кто остались – приспособленцы.

Шибов невольно чувствует себя приспособленцем.

– Допустим, – отвечает брюнетка. – А как быть с теми, кто туда-сюда катается?

– Они и предатели и приспособленцы одновременно, – уверенно говорит рыжая.

– А иноагенты, которые тут живут?

– А такие есть?

– Есть.

– Гнать их, да и все, – отвечает рыжая, подумав. – Пусть будут приспособленцами там.

– Ага, – подначивает ее брюнетка, – а здесь расстрельную статью вернуть. Правильно понимаю?

– Не помешало бы, – в тон ей отвечает рыжая и глаза ее почему-то мстительно суживаются.

– Ну, вообще-то, – напоминает ей брюнетка, – была расстрельная статья во время войны, и что-то это не помешало целым фронтам в окружение попадать, а сотням тысяч в плен. Целый генерал, вон, вообще перебежал на сторону немцев. И что-то не было у него дачи в Лондоне, а был прямо целый высокопоставленный советский гражданин.

– Все равно, – упрямится рыжая.

– Хорошо, – соглашается брюнетка. – А с финкарями что делать, по-твоему? Это предатели или приспособленцы?

– С ними нужно разбираться, – предлагает рыжая. – Есть люди, которые действуют из благих побуждений, а есть сознательные враги.

– То есть тут ты предлагаешь разбираться! – восклицает брюнетка. – Там, значит, однозначно предатели и приспособленцы, а тут не все так однозначно!

– Но если действительно не все! – вскидывает на нее глаза рыжая.

– Не все! – снова соглашается брюнетка. – И я тебя уверяю, твой Шаман еще покажет себя во всей красе!

– Во-первых, он не мой, – по слогам произносит рыжая. – Во-вторых...

Шибов так и не узнает, что там во-вторых, потому что девушки уходят.

– Марк, быстро сюда! – слышится женский голос.

«Не-не-не, – думает Шибов, направляясь в сторону входа в аэропорт, – хорош. Кажется, я уже накурился на два дня вперед».



Семён РОМАЩЕНКО

НЕ ОБ ИСКУССТВЕ

1

\*\*

сумрачно на окраинах, вишневые сады;  
сны озаряют котики и призраки красоты;

девушки в комбинациях, завтраки на траве;  
велопрогулки с чашкой на голове;

вечные развлечения, чай на веранде, плен  
неги, пустая песенка вроде Лили Марлен;

стишки детишки безделья, скучно, и не понять  
как прекратить безвременье, делом себя занять;

\*\*

Шедевры третьяковской галереи  
Иногда так хочется любви и связи

Встреча с искусством отвратна и неизбежна  
Под покровом взгляда прекрасных видеокамер

И когда мы смотрим на музейного зрителя  
Как долго мы это делаем

\*\*

вархола-вурдалак лежит на фабрике пустой  
как много крови выпил он <урод> моей простой

*но какой он теперь красивый*

---

Семён Ромашенко родился в 2000 году в Томске, с 2019 живёт и учится в Москве. Автор стихотворений, фотографий и рисунков. Публиковался в журналах «Зеркало», TextOnly, «Воздух», на порталах Sng.ma и «Полутона». Совместно с поэткой Марией Земляновой создал объединение «Академовский кружок поэтов» в томском Академгородке. Записал три кавер-альбома.

\*\*

Паникую представив  
Что мы говорим по душам

Поговорим по интернету перестуками

Образ твой – утерянный рэдимэйд фонтан

Видеосвязь интимнее преступления  
Подмосковье переливается там внизу

Какую песню мы пели когда жили весело?

Какое выражение придать твоему лицу?

2

\*\*

Инсталляция была в своё время гипнотически красива, А/  
/А сейчас доброго утра нашим пробуждающимся душам;

\*\*

Как башни близнецы /как башен близнецов  
Бессмысленными фильмами стращали  
День Уорхола и мой типичный день  
Так непохожи  
И вместе с тем

Я девушка вечной печали  
У меня много проблем

\*\*

*Мариш Земляновой*

Интересно что из неё выйдет  
[когда мы всё съедим и уйдём отсюда]  
что из неё выйдет встряхиваешь ты воздух,  
убираешь камеру ничего не сняв

плёнка кончилась и что там выйдет, кто там останется что получится  
а потом кто с нами останется что получится

\*\*

я не такая  
я жду батая (э)р.б(э).китая и хокусаия и брассая

\*\*

Всё-таки нет, у нас с тобой разные боуи  
Ты любишь, а я люблю

Это не так что флюидные пары обуви  
И ситуативные выходы в космомглу

Это не то что ты о себе рассказываешь  
Тем более не как я себя показываю

тебе не понравилась жизнь на марсе потому что ты Леди Улыбающаяся Душа  
к сожалению я Разум Аладдина но я всё равно люблю тебя!

откровения лежат не на молнии на лице  
Вообще не расстегиваются  
Вообще не раскрашиваются  
не в становлении  
на самом деле не про боуи

3

\*\*

Наша встреча будет неизгладима как  
Встреча зонтика и швейной машинки на сам знаешь чём

\*

*потому что если один из сиамских близнецов  
умирает второй должен учиться  
жить заново*

\*\*

белые ангелы не покидают фарфоровой фабрики  
у тебя дома: 1) целуются маленькие котятка  
2) награбленные книги имеют одно лицо

\*\*

В лалаленде мы проснёмся снова

Михаил ТОКАРЕВ

## ФУТ-ФЕТИШИЗМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

*Повесть*

*Настоящая повесть написана в Переделкино  
в декабре две тысячи двадцать третьего года,  
Юля, Женя, привет!*

### Глава 1

#### Оргазм неизбежен

По всему вероятно, встречать зиму, рассыпаясь ли в снежной пустыне при бледной луне, иль Витязем, размахивающим дерзновенно мечом, попугивая институток, волочащихся с вечерних занятий. Я привык в одинаковой степени безынтересно. Зачастую, встречая зиму, я говорю ей с типичным прононом: гранд мерси. И обязательно кланяюсь. Люблю я русскую зиму поболее весны, лета да осени. Сладко уснешь в троллейбусе, сомлевший такой глядишь на восточную красавицу, на эту розу, расцветающую в пустыне, на этот бальзам звездочка для нашего коллективного израненного сердца, она тебе рахат лукум протягивает, полуобнаженная, ты ей кокетливо: гражданка, уберите свою тулумбу, я вам русских блинчиков испеку, чего же сладкое на голодный желудок. Молчит плутовка, глазками своими кошачьими воздействует. И вдруг старушечьим голосом: а все-таки оргазм неизбежен. Глаза открываешь, бабуль, вы чего, не надо меня облизывать. Глянь в окно, моя остановка. Выйдешь на улицу спешно, холод невообразимый, бодрисься, мысли великие в голове туда-сюда, туда-сюда. Зимой у нас все равны, зимой у нас нету начальника, бригадира, старшего смены, поэта. Есть лишь моментец, подштанники-то наличествуют. Между тем приличествующие заведения, отделения неврологий, наркологий, так уж заведено, имеют честь выпускать меня в первых декабрьских числах. Не успевший зачерстветь душою своей, то есть являясь апологетом прекрасного и возвышенного, я попадаю в приличествующие заведения на осеннем исходе. И вот выхожу, одежды мои делаются блистающими, столь блистающими, что и белильщику не под силу осветлить их подобным образом. В спортивном костюме, безукоризненно выбритый, посвежевший, с пакетом, словно в давнишние времена школьной юности. Но вместо учебников там ватрушка с крайнего полдника, пара носков, щетка да бритва.

В будущем декабре позвали меня в писательскую резиденцию в Переделкино, с пропитанием и проживанием. Куратор Евгения Петровская говорит, приезжай, Миша, роман свой допишешь, чего ж понапрасну растрчивать потенциал. И пока ты, Миша, ищешь, чем бы таким отужинать, чтоб никого не обидеть, произведению уделяется чудовищно мало внимания твоего. У нас, говорит, Миша, две недели трехразовое питание, моцион перед сном, а сон в проветренной комнате да на свежей перине. Признаться, неделю назад по недоразумению, говорю это с определенной

---

*Михаил Токарев родился в 1996 году в Иркутске, переехал в Москву, окончил институт журналистики и литературного творчества в 2018 году, в 2020 году окончил магистратуру РГГУ. В «Волге» опубликованы рассказ и четыре романа (2021–2023).*

долей иронии, завершил работы над романом-воспитанием родителей «Папа у Федора силен в метафизике». Какая мелочь, право, подумают абоненты, примись за новый роман в Переделкине. Дело в том, уважаемые абоненты, уж не угнаться мне за молодыми, что потеряли время и нашли. Я нахожу лишь первые отзывы на папу Федора. В глаза не виданный, однако, по личному разумению, человек интеллигентный, Андрей Карелин, курортник, что лечится и поныне в санатории под названием Агафуровские дачи. По собственному признанию, не успевший вдоволь наесться, помолиться и полюбить, прежде чем его госпитализировали. Известил о собственных впечатлениях касательно произведения о сыне внебрачном, о внуке внебрачном, об отце довольно-таки брачном. Первое письмо, присланное Андреем Карелиным, было написано в телеграфной манере: душевное дерьмо, братец. Тем не менее, читательская телеграмма стремительно поменяла тональность. «Привет, Миша Токарев, за присутствующих в твоём тексте дам я поднимаю свой стакан с клубничным компотом, что же касается мужских персонажей, сына Федора, отца его, внука Эдуарда, мне они видятся настолько фактурными, что пестрый бисер твоего лексикона меня ослепил, как не ослепляли кварцевые лампы во времена далекие».

Не перевелись в нашей губернии граждане, вспоминающие литератора Мишу Токарева, представьте себе, они задаются иной раз вопросом. Когда читают, допустим, новости об очередном глубоко травмированном человеке, что в порыве рецидива спасает котиков, проникая в чужое окно, голенькой, да по карнизу. Или же весть о товарище из Владивостока, ругающего трамвай, плюющего вослед транспорту, однажды он пришиб кондуктора, ложно приняв того за inferнального проводника. А как там, живой ли, новости шибко тревожные, вспоминается литератор культурным читателям. Имея глубоко личную нужду изъясниться в романной форме, совершенно не произвожу рассказов, по прочтению которых кой-чего станет известно о последних свершениях, акадизии, общении с девчонками. Для произведения рассказов не имею, так сказать необходимой физической формы. Рассказ, по признанию одного культуролога, есть боксерский поединок в лифте, разминуться, а также замахнуть для точного удара совершенно нет места. Читатель, он видит, читатель, он чувствует, где автор недоговаривает, может быть, даже халтурит. В продолжительном тексте пространства для маневров несколько больше. В продолжительном тексте прячутся такие несостыковки, увы и ах. Помнится, у Александра Дюма Констанция явлена лет двадцати пяти, темноволосою, однако миледи видит ее с белокурыми волосами. Стоит ли говорить, пероксид водорода появился в конце девятнадцатого века. По временам абоненты знакомятся лишь с верлибрами Миши Токарева. Хотелось бы вам, абоненты, чего-нибудь прозаического, впрочем, не ромашки, впрочем, каких-нибудь, скажем, записей регулярных подать. Также замечу, тексты мои никем не финансируются, а могли бы очень даже финансироваться, как говорят, в приличном обществе, на ход ноги. Хлебопеки какие, портные со своею маркой одежды, имели б нужду заказать рекламу своего производства. Я же в свою очередь на полученные денежные средства приобрел сухофруктов, что восточная красавица из троллейбуса позабыла мне передать. А о вашем хлебушке, курточке обстоятельно поведаю со всеми контактами в сочиненья грядущем.

Осенью, читая «Каширское шоссе» Андрея Монастырского, произведение, которому уделено преступно мало внимания. Измыслил о том, что история о похождениях в восьмидесятых годах Андрея Монастырского, художника, теоретика искусств, родоначальника московского концептуализма. Нуждается в скорейшем переиздании на русском языке. Музей современного искусства и английский перевод, что Музей современного искусства издал, крайне ограничивает, видится мне, граждан, изучавших в школе немецкий или французский, а не английский. Товарищи книгопечатники, вы издаете «По ту сторону Тулы» Николаева, прекрасные записные книжки Константина Вагинова. Отчего бы вам не обратиться к Андрею Монастырскому, живому и посюстороннему, в общем-то, эпикурейцу. По точному определению Игоря Кириенкова, русское психо, получившееся у Андрея Викторовича, есть эстетическая акция, а также творческий поиск. Православная аскеза, упорные молитвы, походы в церковь даровали в восьмидесятых годах Монастырскому, что называется, сумасшествие. Художнику виделись знаки порядка духовного, художник употребляет

в своем тексте, к примеру, слова эйдос, мыслеформы. А тело его физическое в некоторых случаях оставалось на земле, в то время как сознание отлетало. Не припомню сейчас, до третьего ли неба, о котором упоминает Павел, не до третьего. Автором предисловия будущего издания «Каширского шоссе» на русском языке отчего-то мне видится Эдуард Лукоянов. Его научный язык знаком с каждым изгибом литературного тела. Его научный язык способен доставить многим культурным читателям немалое удовольствие. И все-таки мемуары Андрея Монастырского показали мне, прежде всего, рассказом о странной любви. Странной, как любовь Оскара Кокошки с куклой Альмы Малер, походы в театр с нею, обеды в кафе, удивленные взгляды прохожих. Впрочем, когда есть любовь, ямочки от оспы так же прекрасны, как ямочки на щеках, дорогие мои. Я же осенней порой, перед самой поездкой в писательские резиденции Переделкино, занялся звуком, с чем и погорел.

Всерьез увлекся радиостанцией УВБ-76, вещающей двадцать четыре часа в сутки вот уж пятьдесят лет. На частоте четыре тысячи шестьсот двадцать пять килогерц. По слухам, из-под Наро-Фоминска. В простонародье Жужжалка транслирует в эфирное пространство короткие, повторяющиеся сигналы, временами передача сигнала прерывается, происходит воспроизведение голоса на русском языке. К примеру: офицер дежурного узла связи Дебют, прапорщик Успенская, получила контрольный звонок от Надежды, поняла. Нечастые разговоры, где упоминаются коды связи Судак, Вулкан. Однажды мне удалось расслышать мужской голос: Анна, Николай, Иван, Татьяна, Роман. В статье за авторством ВВС выдвигается гипотеза о том, что ретранслятор подключен к нашей с вами, уважаемые читатели, российской ракетной системе Периметр, а непосредственно сигнал именуется сигналом Мертвой руки. В случае нападения на нас, уважаемые читатели, сигнал тот вызовет ответный ядерный удар. При условии прерывания работы этой самой Мертвой руки в результате вражеской ядерной атаки. В сущности, симпатии к белому шуму из утробы матери сменились на трансляции УВБ-76 этой осенью. Я непрерывно слушал сигнал, дослушавшись, таким образом, до того, что стал принимать его самостоятельно, не используя репродуктор. Вероятно, звуковые аттракционы стали для меня своеобразным зеленым фонарем, приятной иллюзией, никаких отклонений. Осенняя, можно сказать, забава со звуковыми штучками. Однако вот по аналогии с Андреем Викторовичем получилось несколько шизотипично, подобно тому, как отсталый ребенок читает книжку от конца к началу, то есть анекдотично.

Словом, наступила пора моего увлечения физикой, с трепетом подумалось мне. Одухотворенный, скачал учебник по радиоэлектронике за авторством Мамзелава И.А. Решил прикупить также хорошую аппаратуру, а именно колонки Эстония 35 АС-021. Продавала их самодостаточная, как вода после пельменей, дама. С фотографии на меня глядела несомненная Кармен. Три вещи у ней были черные: глаза, веки и брови. Три тонкие: пальцы, губы и волосы. Медная кожа, угольные волосы с голубоватым, словно крыло ворона, отливом. Короткая, обтягивающая юбка янтарного оттенка, белые шелковые чулки, пушистая кислотная кофта. Мы с ней некоторое время трещали по телефону, представьте, сделал ей комплимент. Кажется, назвал ее трифтазином без корректора. Смутившись, она сказала: спасибо, конечно, все может быть. Раздумывала мгновенно, называть ли адрес, назвала. Признаться, начиная с октября, не на шутку увлекся романтизмами по переписке, особенно мне запомнилось наше уруру с одной премией поэтессой, преподающей физику. Столь премилый, что я, признаться, подышал бы с нею над одной кастрюлей с горячей картошкой, наши головы накрыло бы вафельное полотенце. По нашим щекам бежали б жемчужинки пота. Но продавщице колонок было явно меньше пятидесяти, поэтому в значении, что называется, флирта был весьма чопорен. Проехав на троллейбусе три остановки, вышел у дома шестнадцать по улице Персиковой.

У подъезда дежурила скорая, милицейский бобик, три человека в халатах, два в серых кителях решительно окружали шуплого полуобнаженного дядьку с изящным ножом для резки и шинковки, сантоку. – Мужчина, мужчина, отпустите меня, – забился тот воробушком в руках плечистого сотрудника правопорядка с глиняно-красным лицом. – Я не мужчина, я сотрудник милиции, – отнекивался мужчина, выкручивая, как белье после стирки, руку брыкающегося гражданина. –

Товарищ Дудикофф, прекратите размахивать ножом, вы не сможете скрыться даже в Латинской Америке, – пожурил его моложавый медбрат со скуластым калмыцким лицом. На фасаде дома была мозаика, биполярники плывут на льдинах в красных пуховиках, в отдалении виднеется силуэт ледокола. Проходя мимо честной компании, услышал впервые этот вопрос. Пойманный Дудикофф обратился ко мне с какой-то почти детской игривостью: а кто тобой управляет? Нежные хлопья снега мягко ложились на короткие русые волосы дебошира.

Сообразно вопросу отвечивал: кто надо, тот и это самое, однако предпочитаю не распространяться на сей счет с малознакомыми людьми. Остановившись в нерешительности, не преминул несильно пнуть гражданина в коленку. Его жилистое тело, покрытое тонкой вязью черных наколок, озябло. Древние письмена, причудливые узоры могли быть приняты необразованным Токаревым за Сак Янт, санскритские слова, пришедшие к нам из Ведической культуры. Токарев поглупее мог отнестись рисунки к традиции ритуальных татуировок, наделивших владельца особыми мистическими силами. Всполошившийся белообрый сержант на всякий случай спросил, все ли с головой ладно у меня. Ну, конечно же, ладно, горячо заверил его. И наши взгляды, словно хозяйкина пряжа в лапах кота, переплелись. Вошел в дом, поднялся на третий этаж, постучал в дверь. Повевало сыростью, стоило лишь переступить порог. Хозяйка колонок чрезвычайно походила на Барби Бриджес, в девичестве Мелисса Скотт. То была не Кармен, что привиделась мне на фотографии. Полупрозрачный кислотный купальник с блестками напоминал сброшенную змеиную кожу. Когда она улыбнулась, эта эроцентричная тетенька лет сорока. Я быстро отвел глаза от лобка, поросшего буйными черными волосками. Запутанность между ног барышни была созвучна речам участников двадцатого съезда, какой-то культ личности, какие-то вопросы народного хозяйства. Ее улыбка понравилась мне, по всему вероятно, в отсутствующем переднем резце я разглядел нечто родное. Порядком устав от напускной сексуальной порочности, мне отчаянно не хватало вот этой, обезоруживающей простоты.

– Вы не думали, какого цвета чеховское ружье, вставленное нам всем в глотку? – начала она издалека. Кажется, пребывая под влиянием алкоголя, маслянисто блестели ее черные, точно смородина, глаза. Расслабленная, тягучая речь завораживала. Должно быть, тетенька приняла меня за кого-то, кого-то, способного всерьез рассудить, чья же актерская школа самая лучшая: Чехова, Мейерхольда, может быть, Станиславского. Сказал ей, прикусив губу: я за колонками, желаю купить у вас колонки, по объявлению. Из глубины квартиры доносились шумные звуки любви, кого-то порол. Так звучит порнушка восьмидесятых, еще не лишенная изящества, обаяния, жизни. Тетенька сказала с некоторым сожалением: колонки, ах да, колонки. Застучали каблучки черных лодочек, дама скрылась в пучине жилища. Полумгла придавала обыкновенным вещам некую многозначительность. Малахитовый зонтик в углу принял облик экстравагантной змеи. Злоуханная плешивая шуба, траченная неведомыми телами, угрожающе зарычала. Бейсболки на вешалке, судорожно забив крыльями-козырьками, были не в силах взлететь. Хозяйка зоопарка вскоре принесла мне колонки в клетчатой турецкой сумке. Голубой пеньюар с драконами, за которым она скрыла собственную наготу, высунутый коралловый кончик языка. Она не стремилась более заводить со мною диковинные беседы. Спросила лишь дежурное: тебе как обычно? И мне, дорогой читатель, совершенно не надо было как обычно. Ведь как обычно требовало недюжинного здоровья, повторной остановки сердца я мог и не пережить. Впрочем, продавщица колонок могла иметь в виду нечто иное. Расплавившись за эстонское чудо техники, спешно покинул квартиру.

По приезду домой я стал оказывать некоторое влияние на разум соседней. Производил своего рода воздействие на бессознательном уровне, шалости, достойные поведения ребятишек из республики ШКИД. Разработанная в ялтинском санатории «Энергетик» кандидатами медицинских наук И.А. Кулаковым, В.Я. Ткаченко на излете восьмидесятых годов аутогенная тренировка. Дословный текст аутогенной тренировки следует далее. Размеренный голос, прекрасная дикция, пленительность гипнотизера; представьте, будьте любезны, данные обстоятельства. Включил запись на новых колонках. «Мои слова вы слышите хорошо. Подчиняйтесь моим словам. Водка вам безразлична. Нет потребности выпивать. Остатки алкоголя ушли из вашего организма. Вы

убеждены в своей трезвости и сделали это по собственному желанию. Трезвость это ваше нормальное состояние. Вы спокойно отгоняете мысли о выпивке. Вам приятно пить соки, компоты, минеральные воды. При неприятных ситуациях в семье или на работе вы сохраняете спокойствие. Вы убежденный трезвенник. У вас появилось непреодолимое желание хорошо работать на производстве, работать в саду, на огороде, ловить рыбу, читать, заниматься физической культурой и любимыми делами. В компаниях, во время застолья, вы спокойно смотрите на бутылки с горячительными напитками. Вы помолодели, окрепли. Наладились отношения в семье, с родителями, с товарищами по работе. Вы стали уважаемым человеком. У вас золотые руки и светлая трезвая голова. К алкоголю вы испытываете безразличие и отвращение. Вы добровольно приняли решение лечиться. Вы достигнете поставленной цели. Мои слова вы хорошо слышите, подчиняйтесь моим словам. Это необходимо для вашего выздоровления».

В комнату стремительной львицей вошла матушка и настоятельно посоветовала уделить внимание психике. Матушки ревностны чрезвычайно, радуют о нашем душевном спокойствии. Сходи-ка, милый друг, за антипсихотиками, а вообще я горжусь, что тебя зовут в разные резиденции, добавила она с некоторым опасением. Пусть я и снялся с динамического учета, однако бывают в жизни моменты, когда хочется простой региональной грусти. Нынче это общее место, подобная грусть с элементами бреда. Немало девчонок, немало мальчишек, а уж родителей и по-давно, немало, грустит исключительно, томится с нескрываемым наслаждением. Как сказал Николай Бердяев об Андрее Белом: русский до глубины существа, в нем русский хаос шевелится. В ряде случаев, трясясь в метро, трапезничая в социальной столовой, примечаю в глазах сограждан подобное шевеление русского хаоса. И это прекрасно. Эксплуатация образа приличествующих заведений, вот что поистине вызывает у меня скуку. Читаешь иной раз художественный дневник нашей с вами современницы, а у нее сплошное расстройство пищевого поведения на уме, или еще какая-нибудь гадость. Современница, хотелось бы к ней обратиться, видала ли ты картину Ивана Шишкина «На севере диком». Ты обязательно ее посмотри, эту картину, в ней притаились удивительные смыслы. В ней на голой снежной вершине сосна дремлет, качаясь, одета, как ризой, она. Только вздумайся, современница, одета, как ризой. Что же ты скажешь об этом, обыкновенная сосна, однако, какова экспрессия!

Возникнув на пороге лечебницы, с удивлением обнаружил отсутствие Ольги Богначевой, а также целого ряда врачей, с коими состоял в отношениях. В кабинете сидела незнакомая обширная дамочка, с вплетенной в русые волосы лилией. Мы с нею кратко переговорили, ничего особенного. Вышел в коридор. Однако кое о чем вспомнил. Возвратившись без стука, попытался прояснить некоторые вопросы. – Одновременно с этим, Маргарина Павловна, прошу вас дать себе труд выписать мне габапентину! – решительно попросил тетеньку, в глазах которой читалось легкое смятение. Как смеет литератор земли русской повышать свой голос, у него же больное сердце от всех этих переживаний за персонажей, неровен час опоссумом прям тут он упадет и более не встанет. Вероятно, дамочка не предполагала ничего выписывать сверх меры. – Я сказала, пошел нахер отсюда, я тебе уже выписала твои пилюльки! – Она именно так и сказала пятью минутами ранее своими сиреневыми губами, когда я опрометчиво клянчил у ней габапентин. – А я бы настойчиво попросил вас предоставить мне компетентных ветеринаров, что лечили меня некогда, быть может, вы имели наглость их слопать? – рвал и метал я. Стоя в дверях, очевидно, мешал войти прочим людям, коих терзали подселенцы, за спиной недовольно бурчала старушка: тыр-тыр-тыр. Повинуясь императиву, сообщающему, что старости у нас везде дорога, посторонился. В конце очереди сидел мой давнишний знакомый, служащий канцелярии в министерстве криминалистики.

Черненькой такой гражданин лет сорока, с поседевшими висками, аккуратной щеточкой рыжих усов, одетый в синий костюм, в таких школьники в перестройку ходили. Его звали Григорий Племянник. И он в своем отделе такого насмотрелся, в этом архиве, что количество молока, выдаваемое за вредность. Однажды совершенно перестало уместаться в холодильник. Пришлось им с женой заняться предпринимательством, сбывали товар соседям. Об этом прознало выпренное



начальство, статью за спекуляцию вот-вот должны были ввести. Стали Григорию в отместку давать в производство делишки о серийных убийствах, что, согласитесь, несколько экстравагантней убийств бытовых. А он чего, с покорностью ласковой коровы анализирует паттерны поведения, систематизирует портреты преступников. И решает, значит, однажды на месть. Гриша, этот маленький человек взрослым голосом говорит: дяденька, как воткну я тебе в горло отвертку, так и купишь мне сигарет. Образно говоря. Племянник проникает в кабинет своего руководителя, вливает по целому пузырьку валерьянки в ботинки Карабаса-Барабаса. И за Карабасом-Барбасом открывается самая настоящая кошачья охота. По рассказам служащего архива, коты растерзали начальника с особым цинизмом весной. А новый руководитель, прознав о проделках Григория, стал отправлять в архив самые страшные дела. Дела, в которых замешана любовь. Племянник на этой почве и повредился рассудком. Теперь вынужден раз в два месяца сюда приходить на консультации.

Помнится, в нашей недолгой беседе Григорий произнес премилую фразу: в детстве я хотел стать гардеробщиком и управлять страной, а сейчас хотелось бы не потерять окончательно здравый смысл. Ох, Гриша, мы все потеряем его, подумал я, однако вслух ничего не сказал, чтобы не пугать раньше времени человека. Помнится, в том разговоре Племянник поведал о крайних преступлениях, с которыми имел честь поработать. Одно меня совершенно не заинтересовало. О пожилом господине, убивавшем своих возлюбленных. Господин тот сбрасывал тела прямо соседям с четвертого этажа на балкон, в свою очередь, негодник проживал на пятом этаже. Милиционеры вынужденно арестовывали жильцов квартиры на четвертом. Через полгода въезжала новая семья, этот Александр Солоник из народа совершал повторное преступление, сбрасывал тело. И никому почему-то не могло прийти в голову, а не взглянуть ли нам вверх, быть может, нам следует поменять угол зрения, посмотреть на дело иным образом. Примерно месяц назад произошли форменные чистки, неблагонадежных сотрудников списали в запас. На их места пришли вчерашние студенты, целеустремленные, голодные до правоохранительной работы. И семидесятилетнего учителя биологии, что лишал жизни собственных студенток за незнание медицинских аспектов генной инженерии, удалось благополучно задержать. В общем-то, рядовой случай. В общем-то, подобные дела встречаются повсеместно, в том числе и в моей практике.

Что же касается второй истории, рассказанной Гришей, она мне настолько запала в сердечко. Что захотелось мне в стихах ее запечатлеть. Безусловно, подобные стихи о неподцензурной любви достойны пера поэтессы Алины Витухновской. Изящной девы, как балясина, девы-декадентки. И на фоне пера Витухновской Алины, этого нефритового стержня, а не пера, я всего лишь пописываю на кустики современности, образно выражаясь. Рассказ о запретной страсти, свидетелем которой, благодаря снимкам с места преступления, протоколу допроса, я стал. Нуждался в скорейшем увековечивании. Рассказ о запретной страсти в очередной раз показывал нам, дорогие читатели, как скоротечно все вокруг. И песенка короткая, как жизнь сома. И срок выплат пособия по безработице. Однако не из честолюбия написал я следующий поэтический текст, озаглавленный: лазоревая бухгалтерша в норковой шапке. Вовсе нет. А написал следующий поэтический текст с тем, чтобы предупредить отстающее поколение, не убий на большой перемене восставшего среди тебя пророка, явившего чудо, подстрекателя этого, что молвит: пойдём вслед богов иных, которых ты не знаешь, будем служить им! О, мое бедное, отстающее поколение, не убивай в этом случае завуча. И одноклассницу, что предпочла физрука, не убивай.

Чарующий помпадур,  
Сокрытый норковой шапкой,  
Глаза египетской девы,  
Раскосые, миндалеобразные,  
Лапидарные красные губы,  
Обороноспособные,  
Всегда крепко сжатые,

Бухгалтерша из универмага  
Сидела вот здесь,  
За свою конторкой,  
Подойдя к ней, покаялся  
В своих личных симпатиях.  
Опишите реакцию,  
Только короче, поменьше эпитетов.  
Але машир, але машир,  
И замахала руками,  
Вероятно, смутившись  
Столь очевидному интересу,  
Столь безотчетному страху  
Хоть на мгновение выйти  
За рамки кредита.  
Говорите яснее,  
Не надо додумывать.  
Оказывая знаки внимания,  
Будучи глубоко убежденным  
В собственной правоте,  
Судимостей не имеющий,  
Явился в указанный час,  
Что значился в графике  
Нашей бухгалтерши,  
Как окончание рабочего дня,  
Вероятно, желая,  
Перестать вдовствовать,  
Вероятно, в поисках,  
Как вы сказали, личной выгоды.  
О чем вы ее попросили,  
Только давайте яснее.  
Доставьте блезир,  
Пропросту говоря удовольствие  
Своим только присутствием  
Вечеру в доме культуры,  
Сегодня вечер качучи.  
Прошу уточнить, что за качуча,  
Возраст, социальный статус.  
Речь об испанском,  
Испанском народном танце,  
Я пригласил, она отказала,  
Имела полное право,  
Но почему отказала.  
И что же вы сделали,  
Когда она вам отказала.  
Я оторвал сосулю,  
Да прямо, знаете, наваждение,  
Вместе с недавним взысканием,  
Все перепуталось,  
Я нанес удар в область глаза,  
Она упала, задергалась.

Подпись, число.  
Нижеподписавшийся  
Работник склада такого-то,  
Свершивший деяние,  
С целью вступить в близость,  
Активно содействую  
Нашему следствию.

## Глава 2

### Ученица Чуковского

Приснившийся композитор Эдуард Артемьев крайне озадачил своеобразной просьбой. Пребывая, по-видимому, на незнакомой мне даче, я весьма подивился предлагаемым обстоятельствам. Откуда-то поддувало, на улице кружились снежинки. Стало быть, зимней порой повстречался с великим композитором Эдуардом Артемьевым. Перед окном сугробы высоченные, в таких сугробах по весне, должно быть, обнаружится поезд с пионерами, что пропал в пятьдесят втором году. Елочки, напоминающие строй женщин в темно-зеленых бушлатах, опасных и сексуальных, затянувших туманную песнь. На стене лыжи висят пластиковые. На диванчике сию скрипучем, сквозь подштанники колется одеяло в зеленый квадратик. Композитор, этот курьер из космоса, этот свой среди чужих, чужой среди своих, был взвинчен. Он тряс меня за плечо, возбужденно говоря, чтобы я основательно запомнил, где находятся его дневники. Представьте, назвал точный адрес коммунальной квартиры, сообщил, какую стенку мне следует разобрать по кирпичику. Не совсем понимая, к чему Эдуарду Артемьеву понадобилась помощь откровенно нелепого юнца, не сочинившего даже элементарного: жил-был у бабушки серенький козлик. Я пламенно заверил его: не беспокойтесь, все будет исполнено в лучшем виде. Музыкант подошел к окну, сказав, как будто не мне: вы и представить не можете, сколько эти дневники стоят в данное время. Помнится, тоже подошел к окну. Там два мальчика, два тихих обормотика, по признанию Александра Кушнера, проваливаясь по пояс в сугробы, устремились в сторону леса. Один из них тащил на веревочке желтые санки. А я проснулся, благополучно позабыв адрес коммунальной квартиры, ведь с памятью моею произошли существенные изменения, вызванные плохой экологией. Вообразите, не мог вспомнить даже, кто проживал в моем теле до меня.

Решившись отзавтракать куриным супом, имел наглость обнародовать скрытый от посторонних рык, потянулся. В оконце меланхолично дымили трубы ТЭЦ, в потемках прыгали огоньки проезжающих по нашей крученной трассе на Ленинград машин и автобусов. Куриный суп, что стоял на балконе, заволокло тоненькой ледяной корочкой. К середине ноября температура опустилась до минус двенадцати, внутренне требовал: погода, погода, сотвори минус тридцать, чтоб скрипели носы, а все дурные мысли у сограждан повылетали напрочь из головы. Завтракать позволил себе при свечах, в семь часов утра световое наполнение несколько куце, редкие фонари картавили. Внеся кастрюлю на кухню, зажег поочередно три умильные свечи-ангелочка. Проломил веслом, ложкой, если угодно, наледь. В ушах слабо жужжало, интенсивность сигнала сделалась меньше, однако я по-прежнему мог улавливать этот совершенно невообразимый, чудесный звук. Вглядевшись в куриную гладь, заметил, как морковное бревно скользит по куриному льду, как заросли брокколи дрожат на ветру, как полупрозрачные рыбки-макароны юрко плывут стайкой куда-то. Зачерпнув поварешкой миллиграмм триста похлебки, обрушил этот нескончаемый, потревоженный речной массив в жестяной карьер миски, которую тут же поставил на плитку. И, глядя на подогреваемый супчик, я распознал в нем известное кипящее озеро в Доминике, чья

температура стремится к восьмидесяти градусам. Напоминающий едва различимый звук корабельных сирен, сигнал изменил тональность. Теперь в голове звучал крохотный саксофон Чарли Паркера, Паркер извлекал крайне занимательные ноты, композиция называлась, если мне не изменяет память: время пришло. Грешным делом подумалось, уж не Голос ли Америки вторгся в мои ушные просторы. Уж не Сева ли Новгородцев тому виной, виной этому совершенно взеземному явлению.

На кухню стремительным леопардом вошла матушка. Живо поинтересовалась, к чему ж в такую ранину вскочил. А я не вскочил, храбро отвечал ей, а всего лишь принял иное агрегатное состояние, что в определенной степени равнозначно моему, что называется, желанию построить нормальный режим сна. – Не нравится мне твоя решительность, – сказала родственница. Попыхивая электрической сигаретой, ничего ей не говорил, покачиваясь у плиты, вглядывался в это суровое бурлящее озеро. – Помнишь, в последний раз, когда ты стал таким решительным и написал слово нюанс, да с мягким знаком, что вышло, – сонно промурлыкала женщина, удалившись в свою комнату. И я в очередной раз отметил, сколь умна матушка. Она знала, допустим, что первый всесоюзный съезд советских писателей состоялся в тысяча девятьсот тридцать четвертом году. Откровенно говоря, она знала многое, ведь училась в Иркутском лингвистическом университете аж в восьмидесятых годах. И слово гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин она талантливо произносила, не переводя дыхание.

И она вышла из кухни, эта до безобразия сообразительная матушка. А я предощутил звонок. На скатерти в крупный зеленый горох лежал мой кнопочный телефонный аппарат. И он как будто бы стал испускать волны определенной длины, само собой, не видимые простому глазу. Однако я услышал едва слышное шуршание. И в следующую секунду трубка захлебнулась, «Сказки Венского леса» стояли у меня на рингтоне. Звонок принадлежал моей бывшей коллеге, журналистке Лидии Снеговой. Лидия сказала, ерничая: Миша, с тем ли я сейчас говорю Мишей, что верит в принципы независимой журналистики? Ответил бывшей коллеге следующим образом: о, Снеговая, я доверяю только тебе и седой ночи. Девушка, довольная моим ответом, предложила сделать интервью с одной бабушкой-литературоведом, любимой ученицей Корнея Ивановича Чуковского. Отчего-то мне подумалось в тот момент о Виталии Пуханове, который в свою очередь любил сочинять стихи об одном мальчике, у него даже целая книга об одном мальчике, повстречавшемся с волшебником, имелась. Правда, для кого-то одна бабушка звучит совершенно не сексуально. То есть, понятное дело, мои читатели люди понимающие, что называется, джохан-похан мои читатели. И красоты престарелых женских тел способны вместить. И хочется нам с уважаемыми читателями потерять пемзой из Йошкар-Олы пяточки Вассы Железновой порой. И хочется нам с уважаемыми читателями Анне Федотовне, графине, вычесать посеребренные волосы порой. Мы с вами, уважаемые читатели, не со всеми, конечно же, носим гордое звание геронтофил. Читательницы в свою очередь, полагаю, отдадут предпочтение тем самым пресловутым мальчикам, о коих любит сочинять стихи Виталий Пуханов.

О, Лидия, что мы знали о Лидии. Достаточно вспомнить роман вашего покорного слуги, Хрущёвка нашей любви. Внешность, образ жизни, страсть Снеговой я подарил главной героине произведения, Плаксиной Евгении. Лидочку также не интересовала икра, но интересовала вся рыба. Когда она входила в редакцию, в этот чинный, чопорный мир как будто врывалось свежее дыхание жизни. На третьем взводе, то есть изрядно пьяной. Ей позволялось таковою быть, ибо главный редактор высоко ценил тексты Снеговой. Ах, какие невообразимые лонгриды о наркоманах она писала, сколь фактурные криминальные расследования она подавала в газету. Даже сам Пулитцер, бывало, звонил в редакцию и с большим воодушевлением хвалил эту сильную девушку, что победила канцелярское удушье. Года два назад Снеговая начала заниматься собственным изданием. Кажется, у нее трудились сплошь суфражистки. Я уважал нашу Лидию прежде всего за ее

позицию. Пусть и не знал, что за позицией она обладает, однако был уверен, еще как обладает. И готова была за нее терпеть лишения, а по временам и внимание рокопков.

Лидочка Снеговая великодушно пообещала мне за интервью к девяностопятилетию заслуженного литературоведа Оксаны Витальевны Бибигон: пять шишек и три кленовых листика. Данные денежные средства были ей как нужны. Приблизился очередной две тысячи двенадцатый год, не подкрепленный ни честным словом, ни монетами в целлофановом пакетице, что используется мною в качестве кошелька. Не хотелось также бытовать в роли лауреата премии Андрея Белого, где выдают вместе денежек яблоко и бутылку водки. До поездки в писательские резиденции оставалась неделя. Поэтому предложение Лидии было рассмотрено мною в особом порядке. Впрочем, недавнее беспрецедентное увольнение, о нем расскажу несколько позже, к чему нам спешить. И не продленная пенсия по шизофрении. Словом, обстоятельства, вынуждающие порядочного человека, теряя портки, бежать по тротуарам и аллеям на биржу труда. Это вот недавнее увольнение и подорожавшие сухофрукты заставили сказать Снеговой: крошка, я в деле, мои авторские знаки ничто без тебя, ничто без твоего прогрессивного издания.

Самое время сообщить об увольнении. Мои читатели, вскормленные черным снегом равнодушия со стороны социальных служб, прекрасно знают, что я работал последние два года в маленьком, словно жизнь тутовых шелкопрядов, издательстве. Работая три дня в неделю, имел возможность сочинять литературу. Дежурил. Отвечал на звонки с присущей мне обаятельной хтонью. Нынче, как понимаете, временно не работал. За два года службы в издательстве были написаны такие выдающиеся тексты, как: «Солнышки, это чума!». «Плохие мальчики попадают в Сибирь». «Хрущевка нашей любви». «Папа у Федора силен в метафизике». Получая двадцать четыре тысячи рублей, я не ощущал себя дешевой проституткой лишь потому, что понимал, странное время, отведенное мне для жизни, занято написанием исключительно великих произведений. Тем не менее, минимальный размер оплаты труда безотчетно повысился до двадцати тысяч. И цены на продукты также повысились. А проституировать за сумму, равную тремстам двадцати восьми пачкам амитриптилина, значило поставить собственную репутацию под удар. Стоит заметить, делишки у издательства шли плохо, арендная плата скакнула в два раза, главный контрагент был близок к банкротству, отказавшись платить за три месяца. Начальник-буржуа стал уговаривать дежурствовать в нерабочие дни. Должно быть, он напрочь слетел с катушек. В порыве гнева престарелый мужчина сообщал, что высокие зарплаты это навязанный стереотип Запада. Его седая борода топорщилась, сам он, разодетый в ярко-красный камзол, устаивался от меня неизменного дикого крика, означающего желание вступить в профсоюз, которого нет. Не первой свежести буржуа, безотчетно возлюбивший денежки. На косогоре лба этого представительного мужчины семидесяти лет росло два уродливых кактуса, не знавших ножниц садовника. Носил он полотенце в желто-оранжевую полоску на манер шарфа. Бывало, во вторник, в единственный день, когда всем сотрудникам надлежало присутствовать на своих рабочих местах. Бывало, во вторник за обедом начальник в высшей степени горделиво рассказывал нам о своем полотенце, что заменяло ему шарф. Целых два года за каждым долбаным обедом пожилой буржуа рассказывал нам о своем проживании в конце девяностых в подмосковной гостинице, где собирались разные писатели-фантазеры. О том, как один из трех братьев Стругацких, какой именно, не уточнял, окрестил нашего начальника надеждой российской фантастики. А это вот полотенце, которым один из четырех братьев Стругацких, какой именно, не уточнял, вытирал свои ноги в конце девяностых на слете фантастических сочинителей в подмосковном пансионате, сохранившем убранство советского благолепия, начальник носил в память о временах былого величия. Прощайте, Изяслав Флорентинович!

Тем утром после разговора с Лидией Снеговой. Отзавтракав супом, наскоро влез в скользкую шкуру журналистской амфибии. Некоторые навыки, приобретенные мною в былые годы,

в годы моей службы корреспондентом, были полезны. Немотивированная сентиментальность могла помешать, от нее стремглав отказался, выпив тридцать миллиграмм либриума. Не лишним показалось вспомнить также основные правила проведения интервью. А именно: проверить работоспособность техники, диктофона. Не у родственника ли предстоит брать интервью, крепко задумался, утвердился в собственных мыслях, в роду не было учениц Чуковского. Свободно ли ориентируюсь в вопросах, Лида прислала вопросы, свободно. Смогу ли поощрять рассказ улыбками, кивками, восторженными восклицаниями. Наверное, смогу. А не вмешиваться у тебя получится, Токарев. Вы только попросите, я не вмешаюсь. Да так не вмешаюсь, что невмешательство Лондона в дела фашистской Германии, когда та коварно захватывала Испанию, покажется детским лепетом. Погладил рубашку, побрился, порезавшись, улыбнулся, глядя на свое отражение в овале зеркала. Спелые плоды шиповника застучали по раковине. Некоторое время в задумчивости постоял, прежде чем обработать бритвенный поцелуй перекисью водорода. Наконец обработал травму, удалился в кладовку. Решил разыскать свой пиджак, незначительная мелочь могла помешать проведению интервью. Мужчина в пиджаке и отглаженной рубашке воспринимается населением как человек, заслуживающий доверия, по меньшей мере, как представитель жульнической фирмы «Хопер-Иинвест» или же сотрудник районной администрации.

По заснеженным дорогам нашей коллективной матушки, точно стаи, безусловно, волков, брели вереницы немые плененных германских полков. Хлопя снега приставали к каракулевым шапкам, нахмуренным бровям граждан, волочащихся на работы около девяти часов утра. Понурые люди напоминали ломовых лошадок, что неотвратимо тащат на телегах мусор великих сражений, части броневигов, самолетов, орудий. Выйдя из дому, в очередной раз отметил, сколь тоскливы их взгляды. Разве что дворник, обрушившая свой грандиозный лом, делал это вдохновенно. У туберкулезного диспансера грациозно скользил паренек в клетчатом пальто, с застенчивой порослью у основания вздернутого носа, взмахивал кожаным портфелем, балансируя. В его павлиньих, круглых глазах плясали безумные огоньки, кажется, школяр был влюблен. Узкие кофейные брюки, осенние туфли. Мне подумалось вдруг о своих читателях-мальчишках. Мои читатели-мальчишки, разбросанные по школам, университетам, лагерям и воинским частям. Безусловно, хотят быть любимы, хотят любить. Желая, чтоб каждый читающий меня мальчишка однажды услышал от понравившейся девчонки: ждала тебя, как ждут совестливые граждане шамана Габышева из психушки. Оксана Витальевна, у которой предстояло взять интервью, проживала через три остановки от моего дома. Напротив семейного кафе «Лимпопо», что держали бандиты. Утренний морозец приятно покусывал за поясницу. Я шел вдоль хозяйственного магазина, ларька ремонт бытовой техники, ломбарда. Примерно на пересечении Довженко и Кириенко в голову пришла исполненная обаяния строчка, спешно достав блокнот, зафиксировал выражение: я опознаю тебя по отпечаткам твоих зубов на своей руке. Одобрительно хмыкнул, чем вызвал приступ мигрени. По спине пробежал холодок, тело нехстати ослабло. В шее, плечах и лопатках стало покалывать. Онемение рук не на шутку встревожило. Проницательный читатель безошибочно рассудит: да у вас, батенька, остеохондроз позвоночника. И будет справедливым в своих суждениях. А метрах в пяти от меня с веселым звоном разбилась сосулька, ни разу меня не убив.

Подходя к медицинскому техникуму, увидел ватагу студентов, облаченных в празднично-белые халаты, будущие ангелы смерти, придумал для них утонченный эпитет. Девы в торжественных синих, зеленых колготках, девы, накрашенные, как на юбилей генсека. Плечистые юноши дрожали, озябшие в двух выдохах от нового года. Дым их сигарет стелился над крышами обветшалых машин. В моем детстве у ребят, приезжающих в детский садик на собственном, пусть и неказистом, дедушкином автомобиле, появлялись не иллюзорные шансы схлопотать поцелуечик воспитательницы, что любила надевать тонкую кофточку без бюстгалтера. И когда своенравные коммунальщики забывали включить отопление, мы все с нескрываемым любопытством глядели

на отвердевшие соски воспитательницы. Была красива та воспитательница, была красива. И белая стрекоза любви жалила, бывало, нас по несколько раз на дню. Замедлив шаг, я прислушался к разговорчикам, пылающим в курилке медицинского техникума, склонился к развязавшемуся шнуру. Студенты с придыханием обсуждали предстоящие экзамены, их голоса давали петухов. Они много матерились, реже признавались в любви к Родине. Парень обещал томный вечер подружке, только бы удалось сдать гистологию. Девчонка с глазами чуть раскосыми, зелеными, в оправе темных ресниц, с белой, как лепесток магнолии, кожей. Девчонка, в чьем лице сочетались тонченные черты матери, быть может, аристократки французского происхождения. Сочетались с крупными, выразительными чертами отца, быть может, пышущего здоровьем ирландца. В иных обстоятельствах она могла быть Скарлетт, унесенной ветром из-за собственной худобы. И она ответила юноше, потушив свою тонкую сигаретку, перепачканную красной помадой, о кирпичную стену: ладно.

Существенно позже, когда я редактировал настоящую повесть, этот случай со студентами, волнующимися понапрасну. Мною был несколько переосмыслен. Да, читатели постарше ожидаемо скажут, было бы масло и курочка, стогов и дурочка. Или еще кратче, пусть тренируют мозжечок, пусть не расплескивают на вечеринках серое вещество, учиться это вам не это. На первый взгляд может показаться, тревога завтрашних медиков есть тревога пустая. Может показаться, отчаянно беспокоиться перед экзаменами – что беспокоиться по поводу опавших листьев. Но согласитесь, до чего нежное и поэтичное действие было явлено нам. Ведь, как сказал Валентин Голубев, написать стихотворение это в определенном смысле поставить два слова так, как стоят под венцом жених и невеста, как стоят отец и сын на краю вырытой ямы перед расстрелом. Весьма точное наблюдение, Валентин, весьма точное. Подобные слова мне довелось поставить рядышком, когда я редактировал настоящую повесть. И слова эти посвящены тому безымянному студенту с малиновым экзотическим ирокезом, его переживаниям, его страстям.

Проживающие там-то и там-то  
Под ласковым взором всевышнего,  
По временам обращаясь:  
Прибежище наше,  
На тебя уповаем,  
Да избави нас от паутины ловца,  
Не убоимся ужасей ночи,  
Ветрянки, ОРВИ, гайморита,  
Снаряда, что рассекает  
Бровь нашего старосты  
В разгар понедельника,  
На исходе лабораторной,  
За нашу любовь к тебе,  
За наше познание имени твоего  
Избави нас от каши манной  
С толченым стеклом,  
Сваренной со злым умыслом,  
Избави от взглядов аспид  
В спортивных костюмах  
В сумерках актовых залов.  
Боже, мы твои воробьи,  
Неразумные, неуголимые,  
Вожделенно глядящие  
На мальчика с булкой хлеба,



Мальчика, что нашел пулемет,  
 И сократил популяцию голубятни,  
 Боже, мы твои воробьи,  
 Не ставшие голубьями,  
 Не сдавшие орнитолога,  
 Что наряжается ночью  
 В одеяние птицы,  
 Влезая в приоткрытые окна.  
 Мы ли это, шагающие  
 Меж пиlóрам,  
 Шагаем уже пополам,  
 Да по магнитному полю,  
 Пугая наших родителей,  
 Что нас размагнитят,  
 Конечно же, размагнитят,  
 Когда вернутся со службы.  
 Спроси, что в моем кулаке,  
 Известное дело, кузнечик,  
 Я сию на горшке,  
 Обжигающе ледяном,  
 Эмалированном,  
 С дурацким рисунком,  
 Слушая жалобный писк,  
 Боже, я тот кузнечик  
 В твоём кулаке.  
 Прости нас за все прегрешения,  
 За каждое слово,  
 Оброненное впопыхах,  
 Очисти наш разум  
 Для анатомии, гистологии,  
 Цитологии, латинского языка.  
 Сессия напоминает  
 Охоту на воробьев.

В детском кафе «Лимпопо» происходило безудержное веселье. В длинных, до самой земли витринах малолетние гангстеры в кожаных куртках, коротко стриженные, танцевали медляк. Их спутницам, дамочкам в блестящих облегающих платьях, напоминающих рыбью чешую, приходилось согнуться в три погибели, чтобы соответствовать уровню кавалеров. В глубине заведения виднелись сутуловатые спины родителей, мамы и папы сдержанно явствовало за общим столом. Разбросанные по полу конфетти были родственны гильзам, оставленным клоуном-убийцей, салатные шарики, содержащие дыхание участкового, у которого планы на карапузов в кожанках, тоскливо летали по залу. Синяя панелька с проживающей в ней ученицей Чуковского навевала мысли апокалиптического характера. Оконное стекло на первом этаже отсутствовало, вместо него там наличествовали полиэтиленовые пакеты. Кто не жил в двадцатом веке, тот вообще не жил; подобным образом я бы прокомментировал эти пакеты. Во дворе дома худощавая девица в бархатном спортивном костюме с пантерой на груди и клетчатых тапочках детской пластмассовой лопаткой долбила промерзшую землю у самого подъезда. Беспреданно девушка отвлекалась на чесавшееся лицо, археология занятия добровольное, как и наркомания. Напряженно всматриваясь в окно третьего этажа, с горечью отметил, не стоит. На подоконнике Оксаны Витальевны



совсем не стоял пилосоцереус пахикладус, в простонародье голубой кактус. Лидия предупредила, Оксана Витальевна только в том случае принимает гостей, если столь дивный цветок выставлен у нее на подоконник, в иных случаях не принимает.

Лавируя меж каруселей-корабликов на детской площадке, черно-белый одноглазый кот устремился к подвалу, во рту он держал серую ливерную колбасу. Наконец, штора в окне третьего этажа пришла в движение, я увидел, на подоконник робко выставили кактус. У девушки-археолога вырвалось непроизвольное ять, ее щеки цвета финского сервелата горели. Блестящие капельки пота, горькая роса, выступили на покато лбу. Зима была не в силах пленить деву-следопыта, не в силах заморозить ее куриную тушку, накачанную химическими финтифлюшками. Синий кактус, о, синий кактус, я поднялся со скамьи, перешагивая через мышинное тело, распластанное на мерзлой земле, зашагал к подъезду. И снежные ландыши во мху, как серебристый колокольчик, звенели. Или две бутылки водки в пакете у пухлого усатого гражданина в синей спецовке звенели. У Оксаны Витальевны в любую минуту мог произойти культурный инсульт, как у прочих пожилых тетюшек нашего трансцендентального Подмосковья. Представьте, в библиотеки попали экземпляры книг Андрея Бадина «Дюймовочка и Терминатор», этот юноша своим чтивом умудрился попортить нам невообразимое количество старух. На пути к подъезду размышлял, успела ли Бибигон прочесть данный Некрономикон. Мне было важно сделать с нею интервью как у литературоведа здравомыслящего, а не литературоведа поломанного. Я уже представлял, как покупаю сушеный инжир, представлял, как Лидия Снеговая кричит в телефонную трубку слова благодарности за столь изощренное интервью. Дверь с желтыми рекламными листиками, попискивая, открылась. На крыльце показалась ученица Чуковского собственной персоной. Прекрасная дама катила объемную сумку на колесиках. – Почему же вы так долго, вы что, разве не видите мой кактус? – спросила она манерно. Черная кокетливая вуаль, крупная изумрудная брошь Мухи-Цокотухи, лиловое пальто с рыжим пушистым воротничком, шляпка. Вся такая хорошенькая и девяностопятилетняя. С изящными седыми усиками, однако назвать ее тараканищем я бы не посмел, воспитание, знаете ли.

Немедленно, повинувшись профессиональным рефлексам, запустил свой высокоточный диктофон, который с готовностью принялся фиксировать каждый старческий чих этой грандиозной женщины. – Что это у вас на носу? – спросил у нее, целуя ручку, пахнущую ленинградскими духами «Северное сияние». – Что, неужели сопля? – Оксана Витальевна с опасением потрогала свой античный орган с горбинкой. – Новый год, – невозмутимо пояснил я. Стоя на крыльце, мы по своему интеллигентному обыкновению не могли найти нужных слов, каким образом продолжить интервью, чтобы никого не обидеть, такие уж мы интеллигенты. Закурив свою электрическую сигарету, поинтересовался: а зачем вам такая большая сумка на колесиках? Бибигон была выше на полторы головы, она снисходительно погладила мою шапку-ушанку с завязанными на манер зайца ушами, отчего я замурычал по своему интеллигентному обыкновению. – Вы понимаете, Мишенька, нужда толкает распродавать свою библиотеку, – женщина не казалась расстроенной, наоборот, в медово-капустных глазах плясали задорные искорки. Мандариновый клёст-еловик издал свое непревзойденное: кле-кле-кле. Вспорхнул с ветки боярышника, чьи замёрзшие плоды напоминали красные шарики на елке. Дыхание зимы, свежее, словно зелень озимая на оттаявшем поле, кружило голову. Во дворике для прогулок, огороженном сетчатым забором, группа неопознанных детей в каштановых тулупах, скрипя снегом, прогуливалась после завтрака. Воспитательница в черной дубленке, вязаной белой шапке флегматично покрикивала на них. Ученица Чуковского неожиданно попросила о помощи. Я обладал знанием, снегопад, снегопад, если женщина просит, бабье лето ее торопить не спешит. Поэтому ответствовал, целуя повторно ручку Бибигон, пахнущую на этот раз «Ландышем серебристым»: пойдемте продавать вашу библиотеку, что ж делать.

Мы направлялись с Оксаной Витальевной на блошинный рынок и невинно болтали. – А вы знаете, козлик, что Юрий Арабов покинет нас в канун рождества, – внезапно произнесла она. Диктофон беспристрастно зафиксировал эту крамольную реплику. – Да что вы такое говорите, Юрии Арабовы не могут нас покинуть, Юрии Арабовы, чтоб вы знали, живут вечно, – не сдержался. – Ну, смотрите, смотрите, – ее ноги в коричневых шерстяных колготках были свободны от ревматизма. Тетушка шла как породистая лошадь, почти гарцуя. Мне же приходилось тащить эту сумку. Одно колесико крутилось чудовищным образом, я отставал. После слов Бибигон совершенно поник, Юрия Арабова терять категорически не хотелось, мы виделись однажды с этим удивительным писателем в коридорах института кинематографии, я всегда ждал с нетерпением его новых книжек. Так ждут арстанты в колонии полярный волк родственных на свидания. Несмелые снежинки кружились вокруг, не успели потухнуть уличные фонари. Утренний морозец стискивал недвижимый воздух. Рождественский отсвет угадывался в мельтешащих в окнах гирляндах. Откуда-то веяло ладаном, смирной. На блошином рынке было не протолкнуться. Волхвы, укутанные в тысячи тряпок, весьма доброжелательно беседовали друг с дружкой. Пили кофе из термосов, потчевали коллег хот-догами. Вдруг дамочка сказала: на Коктебель, ах, на Коктебель коплю денежку. И мы рассмеялись, влекомые бессознательными смыслами.

Разложившись на пластиковом столике, продолжили наше интервью. Слева расположились два близнеца с непропорционально большими головами, прозванные мною Тотошей и Кокосшей, торговали они самоварами и трофейными находками Второй мировой войны, фашистскими медальками, марками. Справа же тетушка-гиппопотам в розовом длинном пуховике предлагала цветные высокие бокалы, посуду, расписанную под гжель, ежиков из выдувного стекла, старинные брошки, разную кухонную мелочевку. Оксана Витальевна спросила, поправляя стопку детских книжек пятидесятых и шестидесятых годов: Мишенька, вам хочется чего-нибудь погорячее услышать обо мне? Я взглянул на эти детские книжки пятидесятых, шестидесятых годов. – О, горячее, чем беляши вон в том ларьке, – глупо пошутил. Тетушка-гиппопотам закашлялась, близнецы продавали дедушке кортик. Неспешно я стал перебирать наши книги. Юрий Корольков, «Партизан Леня Голиков», на обложке сугробы, хворые березки, мальчик в шубе, за спиной у мальчика винтовка, тонкая, как зубочистка. Пожелтевшая книжка «Улица младшего сына», Лев Кассиль, Крымиздат, пятьдесят первый год. Цвета рябины фолиант Э. Выгодской, «Опасный беглец», «Пламя гнева», на обложке кострище, силуэт человека в этом кострище, вдалеке виднеются очертания куполов. Кремовая книга П. Капицы, «В открытом море». Два гражданина нелепо толкаются на палубе. Мне показалось симпатичным оформление произведения Николая Шундика, «На севере диком». Азиатские ребятишки в национальных кафтанах столпились подле мальчика славянской внешности с красным пионерским галстуком, повязанным на шею. Все улыбаются, жмут пионеру руки. А там, вдали, деревенские домики, снег, дым из печных труб.

Тотошка с лицом нежным, припухлым, спросил, его бабий, визгливый голос вызвал у меня приступ неконтролируемых мурашек: а вы любите похотливых немок? – Не имею интереса, сынок, – ответил ему, поморщившись. – Жаль, – сказал Кокоса, парень с мечтательной, лунатической улыбкой, протягивая старенькие фотографии полуголых девушек с автоматами МП-40. Я помотал головой, призвав не впутывать в политические игры. Наконец Оксана Витальевна закончила выкладывать книжечки по цветам. – Вы знаете, у меня есть одна детская история, может быть, вам она пригодится для вашего интервью, это история исключительного мужества в нечеловеческих условиях, – ученица Чуковского примолкла. К нашему столику подошла местная достопримечательность, мать аистов. То была барышня сорока лет, со впалыми голубыми глазами, льняными бровями, востреньким носом. Полы ее цигейковой светло-коричневой шубы развевались от ветра. Черная шляпа без полей, быть может, клош, нет, не клош. Причудливая конструкция, которую венчало самое настоящее гнездо. Два желтовато-белых яйца притягивали жадные

взгляды граждан. О, цены на яйца, всюду виделись нам диверсии, всюду виделся голод. Уверенная в себе дамочка приобрела книгу Михаила Пришвина о птичках под снегом с дарственной подписью. Сумма была внушительна, полторы тысячи рублей, или же пять килограмм куриного мяса, если переводить на человеческий язык. Мать аистов не проронила ни звука, едва кивнув головой, скрылась в толпе зевак. Довольная свершившейся сделкой, Оксана Витальевна принялась рассказывать о своем детстве. Пальцы мои замерзли, рукавички были не в силах согреть утонченные длинные пальцы, то небольшое прекрасное во мне, помимо израненной души. Литературные критики, знаете ли, могут быть жестоки необычайно.

Свой рассказ ученица Чуковского начала виртуозно. На севере диком, впрочем, патетику в сторону, север как север, это тридцатые годы, истощенные люди, в общем, тяжелое время. Диктофон беспристрастно фиксировал. Мне не к чему жаловаться на детство, мой отец служил в органах, поэтому нам полагался усиленный паек. А вот кому-то не полагался. О чем это я, мое детство пришлось на тридцатые годы, Мишенька. Я росла любознательной девочкой, много читала, тогда же искренне любила сказки Чуковского. Мой отец излишне меня опекал, так мне казалось тогда, но, Мишенька, почитайте, чудовищный голод, случаи краж детенышей человека. Как-то раз я напросилась, не знаю, как мне удалось. Словом, я напросилась пойти с отцом на задание. Кажется, по донесению, какой-то диссидент, какая-то запрещенная литература. Правда, приехали мы на четырех автомобилях. Знаете, нетипично, чтобы за диссидентом вот так. Дверь нам открыл пожилой господин в больших очках, я еще удивилась, какие поразительно бездонные глаза у этого сухонького, горбатенького мужчины с залысиной-озером. Войдя в жилище, взрослые засуетились, хозяина приковали наручником к батарее на кухне. То ли в шутку, то ли всерьез попросили меня присмотреть. А сами, слышу, открыли подвал, топают, ищут чего-то. Чувствую взгляд того господина. Нас разделяет буквально два метра. Он смотрел на меня, не мигая, в уголках рта проступила слюна. А потом он обнажил свои зубы, Мишенька, обнажил. Что я тогда натерпелась, вы и представить не можете. Зубы подпилены, словно напильником, острые. Чувствую, теряю сознание, лицо его близко. И мой отец вбегает на кухню, меня выгоняет, прекращая издевательство надо мною. Выстрел. Я в ужасе куда-то бегу, оказываюсь у раскрытой подвальной двери. Ох, лучше бы я туда не смотрела. Чудовищно, Миша, просто чудовищно, да к тому же дети, ой. Вы знаете, там, в этом отвратительном доме, конечно же, никакого не диссидента, обыкновенного Бармалея, мне попал в руки его дневник. Где он подробно описывал свои кулинарные опыты, рецепты, методы засолки, закваски, разное прочее. И этот дневник сейчас лежит у меня дома, не хотели бы вы проследовать ко мне домой, чтобы утолить свое любопытство?

Оксана Витальевна смотрела на меня в упор, глаза ее поблескивали, щеки ее, напоминающие шкурку печеного яблока, зарумянились, она как-то особенно неудачно раскрыла свой рот, вставная челюсть выпала на стол. И я уверяю, за то мгновение, пока ученица Чуковского вставляла столь интимную деталь организма на свое законное место. Мною были замечены, как будто у маленькой акулы, треугольные, землястые зубки. Повинуясь инстинктам, заложенным в нас предками, я решительно развернулся и зашагал прочь, чуть не плача от досады. Маленькое ранье женщины обернулось испорченным к ней отношением. Диктофон продолжал записывать, хрум-хрум-хрум, шаги по снегу. – Пойдите, рыбка, вы куда, – кричала она вослед, чрезмерно картавя. Совершенно не желая пасть в эту эсхатологическую бездну, покидал блошинный рынок. Мое лицо, отмеченное печатью внутреннего достоинства, надолго врезалось в память тем, кто видел его мельком, глаза были мамыны, все остальное папино, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах в возрасте тридцати лет. Прохожие сторонились, гражданка сменила тон: сейчас же вернись к бабушке, вы посмотрите, каков подлец! И все-таки целый вечер мне не давала покоя эта упущенная возможность ознакомиться с дневником истового людоеда. Может быть, старушка его выдумала, может, на старости лет она все-таки прочитала книжку неизвестного в узких

кругах Андрея Бадина «Дюймовочка и Терминатор». И в связи с этим повредилась рассудком, подпилила напильником зубы. Расшифровывая интервью, на моменте с пророчеством женщины о скорой кончине Юрия Арабова предался региональной тоске. Потом обстоятельно отредактировал получившийся текст, отправил его Снеговой. Достал с антресолей рюкзак и начал собирать вещи. На следующее утро я отчаливал в писательские резиденции.

### Глава 3

#### Школьница с дробовиком

Феноменально-глухая ширь взвыла, будто ей прищемили хвостик. Одевшись претепло, я вышел на улицу. Лыжный фиолетовый комбинезон, тяжелые ботинки, черный тулуп из овчины, рюкзак средних размеров. Опять мороз и ветер жгли отвыкнущие щеки. Воскресная лень, бредущая по моему телу, мешала сосредоточиться. До автобуса, что шел в Переделкино, было три версты, однако по такой жутчайшей погоде самый распоследний приبلудный пес носа не высунет из подвала. И вьюга дымилась факелами над головами редких микролюдей из микрорайона. Белесая крупа застилала глаза. Самый настоящий буран терзал меня, стоящего на крыльце тем утром, плавно переходящим в сумерки. Кстати, о псах и о холоде, как заметил довольно-таки сообразительный малый: был хвост прост, мил, свис вниз, врос пес в лед, стыл. И тут же подумалось отвлеченно. Хорошенькое дело, десяток яиц подорожал до двухсот рублей. Добропорядочные филологи назвали слово нейросеть словом года. А в сериале, который с воодушевлением и придыханием обсуждали мои коллеги-литераторы, не глухие, в общем-то, люди, я отчетливо разглядел гомозеротический подтекст. Осталось ококоветь в такую погоду для полного счастья на крыльце собственного дома. Воротившись в подъезд, услышал голос нашей консьержки: эй, литература, куда собрался-то в такой хиус?

Голос принадлежал женщине Алле Геннадьевне Цвигун. Тетушке фанатичной, тетушке догматичной. Падкой до всякого рода учений. Прелюбопытных учений, учений порою смертельных. В девяностых Алла Геннадьевна состояла в ныне запрещенной Аум синрикё. Когда руководитель секты Асахара приехал в Москву, Цвигун удалась даже пожать тому руку. Женщина с гордостью рассказывала, что такой чести удостоился только Юрий Лужков и она. Чрезмерно подвижная, с короткими рыжими волосами, по обыкновению торчашими в разные стороны. Неизменно на шее амулеты какие-то, перья, колечки, куриные лапки. Все это звенит, перестукивается. А эти глаза, невообразимо дикие, один голубой, другой зелененькой. Посмотришь в них, заикаться непроизвольно начнешь. Консьержка обратилась ко мне: что сказать имену, Токарев, девчонка у нас тут из шестого дома была, лет двадцать всего. Мы прошли к почтовым ящикам, там стояли хорошенькие румынские кресла, три штуки. Спросил тетеньку, присаживаясь в зеленое, словно микстура от кашля, в которой уж не сыскать гликодина, кресло: и по какой же причине юная особа нас покинула? Алла рассмеялась, усевшись рядом: захлебнулась собственными слезами. На елочной гирлянде, протянутой вдоль стены, горела каждая вторая лампочка, каждая первая не горела. Консьержка заговорщицки понизила голос: а в кармане брюк, представь себе, нашли твою поэму, ну, ту; конец света в ее постели. Прикрыв глаза, откинулся в кресле. – Теперь даже не знаю, как тебя читать, вот у тебя цитата была, она про что, глядишь, пойму ее неправильно, мало ли чего случится со мною, – женщина отчаянно выпрашивала светскую беседу, на которую у меня была аллергия. – Половые органы подобны ранам, чьи перемежающиеся излияния обрекают мужчину и женщину на нежнейшую пытку, – Алла Геннадьевна шумно нюхнула понюшку вишневого табаку. Ответствовал ей обескураженно, приоткрывая глаза: пф, это цитата Марселя Жуандо, который тоже откуда-то тиснул ее.

Лифт ожил. Электродвигатель лебедки загудел. Тросы завибрировали. Я затянулся электрической сигаретой, словно кит, выпустил носом струйку пара. Из кабины вышло семейство Иудовых в полном составе. Они прожигали на тринадцатом этаже, однако официально у нас в доме отсутствовал тринадцатый этаж, знаете ли, поверья. Иудовы имели при себе добротные пластиковые лыжи «Карелия», видно, собрались на прогулку. Мне вспомнились строчки: вдруг по реке пронесся кто-то на металлических крючках, я побежал скорее к речке, а он бегом пустился в лес, к ногам приделал две дощечки, куда-то потом исчез. Одетые в дутые цветные куртки, Иудовы напоминали совершеннейших модников из начала нулевых. Винтажный стиль, знаете ли. Отец Марк Иванович, педиатр по профессии, мужчина с подкрученными усами, сказал своей жене с удивлением: дорогая, чего-то солнце сегодня с запада поднялось, ты не заметила? Имя супруги от меня всегда ускользало, гражданка являлась не родной матерью дочери Марка. Пухлой и капризной девчонки с налипшими вокруг рта крошками, она постоянно жрала булочки, запиная их лимонадом. По временам, когда мы вскользь виделись на общей лестничной клетке, из ее огромных ноздрей бежали ручейки липкой газировки. А в ушах у нее водились пчелы и муравьи, известные любители сахара. Мачеха, барышня с глазами удивительной красоты, не глаза у нее были, но тревожные желтые цветы. Узкое лицо, высокие скулы. Извечно загорелая кожа. Мягкие каштановые волосы. Любила изящные платья с венецианским гипюром, пошитые на заказ, шарман. Кажется, она была младше меня года на два, порою ее стоны, доносящиеся из-за стены, начинали волновать безмерно. В такие мгновенья уверенно стучал в их красно-дубовую дверь, обнаженный, являя собою словечко желание. Марк Иванович, чуть ли не плача, просил прощения за столь громкие шепоты и крики. Я неизменно просил его пустить меня хотя бы взглянуть на действо. Педиатр спешно закрывал дверь, трогательно умолял меня уйти, все же, спустя, должно быть, минут пять, возвращался с горячим молоком и печеньями. На глазах выступали слезинки, тронутый до глубины души, Миша возвращался домой.

Марк Иванович, когда они вышли из лифта, сказал нам с консьержкой, восседающим в пресвосходных креслах, как будто оправдываясь: а мы вот на лыжах решили до лесу сходить, одну нашу Машеньку не отпустишь, поговаривают, полоумную школьницу с дробовиком еще не поймали. Алла Геннадьевна взвилась со своего места, вязаное черное платье на секундочку задралось, разоблачив пресвосходные ноги, покрытые миленькими синими венками. Она с готовностью подхватила разговор: упала мораль, ой, упала, так и звезды скоро благородные начнут с неба падать, как падает лист с виноградной лозы. Педиатр мелко закивал, не желая никого обидеть. Его супруга с похотливыми ушами, отчего-то мне захотелось назвать их таковыми, отчего, не имею ни малейшего представления. Произнесла недовольно, глядя на падчерицу, чавкающую очередной ромовой бабой: вот уж родили себе госпожу, я устала уже с ней воевать, Маша, тебя опять раздует! Девчонка по-взрослому, с некоторой философичностью сказала, бросив свои лыжи на кафельный пол: и как было во дни Ноя, так будет и в пришествие сына человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, так не случится уже никогда. Мачеха закатила глаза: а недавно заявила, хочу то, чего нет на свете, представляете. Жена Марка ретиво распахнула входную дверь, ее ожидаемо сбило с ног нахлынувшим ветром. Я же в свою очередь понимал, непогода утихнет, вероятно, нескоро, от скуки ввязался в скучную беседу: моя няня, бывало, как напелась брусничной настойки, такая смешная, такая смешная делается, посадит к себе на спину, по квартире ходит со мною, ту-ту, говорит, чух-чух. Консьержка с воодушевлением поддержала: именно так, чух-чух, я могу быть вашей няней. Служительница дома приобняла педиатра. – А что, дорогая, давай найдем Аллу Геннадьевну, в самом деле, – проямлил стеснительный Марк. Поднимаясь, как президент неназванной страны с пола, жена Иванова недовольно сказала: сейчас няни пошли, я бы им джинсу не доверила варить, не то что за ребенком присматривать. Цвигун с ненавистью процедила: ох, и змея, что за гадюку вы пригрели, Марк Иванович, говорит не своей речью. Пожилая тетенька обратилась к молодой особе: ты зачем не своей речью говоришь, знаешь, лукавый меняет личины, кто же тобой управляет.

Дочурка Машенька предотвратила превосходный бытовой конфликт. Кои происходят ежедневно, ежеминутно, по праздникам, в рабочие дни, без перерыва на обед. Малолетка убедительно, словно лейтенантская проза, полюбившаяся Токареву, сказала: ненависть пробуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. – Верно, милая, к чему нам ссориться из-за ерунды, – ухватился за спасительную травинку педиатр. Человеком он был, как вы понимаете, крайне сговорчивым. В подъезде мигнул свет, мне доставляло немалое удовольствие слушать разговоры соседей, завывания ветра напоминали полубезумный старушечий шепот, я расстегнул тулуп, откинулся в кресле. – А мы братика тебе родим, будете в одной комнате жить, – внезапно произнесла мачеха, она стояла у подножия лестницы, потирая ушибленную ногу. Девочка в ответ изрекла: горе тем, кто спит в Сионе и находит себе покой на горе Самарии. – Это еще что значит? – спросила крестиническая жена Марка. Консьержка пояснила, повторно вдохнув своего вишневого табаку: ваша Мария говорит, воспитайте для начала одного ребенка, а потом уже воспроизведите второго. – Хм, Алла Геннадьевна права, – задумчиво сказал педиатр, протирая замшевой черной тряпочкой стекла своих очков. На мой телефонный аппарат поступил звонок, это был куратор писательской резиденции, очаровательная Евгения Петровская. Вынужденно призвал соседей к тишине: закрыли пасти! Женечка радостно заявила: время, отведенное на заселение в гостиницу, продлено в связи с последними погодными событиями. Что ж, подумал обстоятельно, а не подняться ли в апартаменты, не подкрепиться ли рыбными котлетками. Воскресенье было посвящено в нашей семье рыбе. Когда-то мама желала назвать меня Ихтис. По ее признанию, я был таким сладеньким, что она всерьез подумывала меня съесть. Мысль о косточках сдерживала эту великую женщину.

Однако мое решение – составить компанию матери – оспорили убедительно, консьержка предложила педиатру воспитать жену поленом. От подобного хамства у загорелой, не привыкшей к труду девушки отошли воды, хотел бы сказать, но не скажу. Воды вовсе не отошли, младшая соседка, театрально взмахнув руками, медленно завалилась на лестнице. Выяснились некоторые обстоятельства ее тайной жизни, жизни, что называется, на стороне. Вокруг нее столпились граждане, даже Алла Геннадьевна, будто чувствуя вину, шумно дула ей на лицо. – Я беременна, – жеманно призналась потерпевшая. Марк Иванович, пораженный и растерявшийся, только и смог, что сказать дежурное ура, по всему вероятию, робеющий употребить иное слово, по всему вероятию, скромничающий чересчур. Дочка Маша откуда-то извлекла тульский пряник, весьма недовольно сказала: убейте всех детей мужского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. В очередной раз мне подумалось, сколь увлекательны легенды нашего подъезда. Подъезд наш не уступал по мистическим явлениям городу Обнинску. В котором частенько встречаются лжепророки, у нас одна Машенька чего стоит. Марк Иванович, сняв пуховик, зачем-то бросил его на пол. Оставшись в идиотском красном свитере с оленями, в круглых очках, с закрученными усами, он стал поразительно напоминать песенника Егора Древлянина. – Милая, да ведь это чудо, как же так, мы же всегда предохранялись, – поразился педиатр.

– Изменила, – категорично постановила консьержка. Я тоже стал активно валять дурака: вино льстивых речей вашей супруги стало уксусом шизофазии. Алла Геннадьевна с обожанием посмотрела в мою сторону. – Эх, литература, литература и есть, – подмигнула она. Мачеха пришла в себя окончательно, стала ругаться: а еще пожилая женщина, да как вы смеете, да чтоб вы знали, да обвинять меня, меня. Ее щеки сделались пунцовыми, она в очередной раз отворила подъездную дверь, ритмически ветер перестал напоминать гекзамер. Помните, слепой писатель Гомер, вслушиваясь в чередование волн морского прибоя, сочинял стихи сообразно. Жена Марка Ивановича бросилась в молочную бездну, снега поглотили ее стройное тело. – И не приходи к нам больше, блудница, – с чувством сказала Машенька, причмокнув липкими губами. На глазах педиатра вы-



ступили преждевременные слезы. Поднявшись из румынского кресла, основательно потянулся, размяв затекшие члены свои, обратился к Алле Геннадьевне: Алла Геннадьевна, позаботьтесь о Машеньке, сдастся мне, Марк Иванович на какое-то время недееспособен, а его суженая, можно сказать, аферистка. – Ах, Миша, еще какая, – согласилась женщина. Дочь педиатра подошла к отцу, который сидел на последней ступени, отрешенно глядя на гирлянду. И спросила родственника: пап, можно я вокруг дома на лыжах погуляю? Тот кивнул: конечно, только далеко не уходи. И девчонка тоже бросилась в молочную бездну, девчонку тоже поглотили снега. – Миша, пока не ушли, вы надолго в эти свои писательские Валенсии? – в зеленом глазу консьержки я уловил грусть, голубой глаз был по-прежнему дик. – Две недели, ягодка, две недели, – ласково произнес Токарев. Структурно ветер нынче уподобился белому стихотворению. В этом ветре улавливался некрасовский трехстопный ямб. Из погребенных под молокой небесных рыб автомобилями, доносилось: кому на Руси жить хорошо, кому, кому.

На улице снегов немую белизну прожгли два глаза из тумана. Сосед безуспешно заводил свою копейку, стоило мотору проснуться, он тут же глох, спустя краткое мгновение. Вдруг ощутимо затрясло землю, у многострадальной копейки отвалился бампер. Откуда-то потянуло гарью, горело нечто вон там, за гаражами. Сквозь завывания ветра мне удалось расслышать крик, исполненный довременной меланхолии: хочу жрать, Саша, накорми меня уже! Прямо на припорошенные снегом ступени подъезда опало помойное одеяло воды, которое тут же обернулось коричневым хрусталем. В нашем доме ценились французские традиции, гады соседи, бывало, выливали нечистоты прямо в окна. Подавшись вперед телом, чтоб не сдуло к праотцам, чтоб не стать жертвой бесстыжего циклона Вани. Я миновал злополучную лестницу. Кухтой покрылись ветви деревьев, этот мохнатый иней напоминал белый грибок. Видимость была кошмарна. Ноги норовили развешаться. Пригибаясь к земле, шел в сторону пустыря. В огромную, на половину дороги лужу вмерз, к великому сожалению, сизый кот. Животное было удивительно авантажно. Остановившись, чтобы хорошенько рассмотреть, я существенно рисковал не добраться до автобусной остановки. Однако мне хотелось почтить память этого лучезарного, с пушистым хвостом, котика. Невозмутимый янтарь вечной зимы, значительный, точно охотники Брейгеля, подумал. Подъемок уж не пугал, я всей душой любил мерзлоту, и тут отсутствует мальчишеская бравада. Понимаете ли, не в том возрасте, впечатлять никого нету нужды. Да чтоб вы знали, по мне созывали комиссию два раза ученые мужи, а также их ученые жены, решали чего-то, пораженные моей способностью вглядываться в ничто.

Ощущая себя стационарным зрителем, что вышел в метель, услышав пугающий выстрел. Ощущая себя стационарным зрителем, что вышел в метель в смешанных чувствах, ведь возлюбленная барышня-крестьянка предпочла ему гробовщика. Я, право слово, услышал выстрел крупнокалиберного ружья. Оглушительный взрыв порохового заряда вспугнул ворон, развешанных на ветках сосны, задержались птицы, однако прочно пристыли. Черные тельца, словно стеклянные игрушки, стучаясь между собою, звенели. По глубоко личным впечатлениям, выстрел произошел в районе пункта приема цветного металла. Это была она, школьница с дробовиком, вероятно, ей хотелось новых сережек. Не зная, устроит ли ее никель, медь, цинк или олово. Проверять даже не собирался. Спешно стал улепетывать из тех мест. Навстречу, взрыхляя снег, брели спортсмены, закутанные в десятки шарфов, за спинами хоккейные клюшки, сумки с коньками. Обогнув пустырь по дуге, вышел к супермаркету. Из-за стеклянных дверей на меня грустно установились десятки пар глаз, дверь замело, или заклинило. Граждане обреченно следили за мною, автобусная остановка была через дорогу, по дороге почти не проезжали машины, видно, в такую погоду попугивались даже водители. Всегда чувствовал трепет пред своими согражданами, что в здравом уме и трезвой памяти садятся за руль своей самобеглой коляски, паромобиля, дилижанса. О, нет, нет, что вы, позапрошлым летом в собственной квартире я не вписался в поворот и сломал мизинец на правой ноге. А ведь шел рассказать невинный анекдот своей матери. Представьте,

сколько честолюбия должно наличествовать в водителе, чтоб он взял на себя ответственность за жизнь постороннего человека. Порой сомневаешься, брать ли ответственность за себя, нет, решительно не понимаю подобного расточительства.

Рейсовый автобус, лимонно-горчичный, четыреста десятый, кем-то прозванный луноходом. Водитель не манкировал своими обязанностями, по-джентльменски не раскулачил старуху, чья сутулая фигура проступила внезапно в снежной дымке на проезжей части. Вопль клаксона вспорол тишину, кто-то в очереди справа от меня настоятельно попросил увести детей, убрать от экрана кормящих грудью. Послышались восклицания, не видные в этом фригидном тумане граждане узнали конкретную старуху. – Ой, это наша соседка Клавдия, она же того, – поразилась тетенька густым голосом. – Та ли Клавдия, что пролежала одна в квартире два года? – деловито уточнил дяденька. – Та, та, мумифицировалась, – по слогам произнесла сложное слово мальшика пяти лет. – И что же, вот она ходит по району? – отчаянно пугался молодой человек. – Бросьте, абсурд, просто похожая бабка, воспитали поколение идиотов, призраки, призраки, а вы попробуйте перестать быть проклятыми и убитыми, – принялся увещевать пожилой господин. – Правы, товарищ, их еще называют снежинки, слышали такое? – поддержала некая женщина. – Причем тут снежинки, я говорю, у нас бабка два года в квартире сверху пролежала, ни гугу, воняло знаете как? – говорила дамочка, узнавшая Клавдию. Меж тем автобус подошел к остановке, сограждане чинно проследовали в салон. Челюсти их стучали, словно кастаньеты, ноги выбивали чечетку. Изъеденные зеленоватым светом люминесцентных ламп лица казались изможденными. Водитель, грузный седовласый индеец, спешно закрыл двери, не желая выстуживать нутро автобуса более. Я положил пятьдесят рублей одной бумажкой в соломенную шляпу, что лежала подле кучера с бордовым лицом, орлиным носом и високосными глазами, вмещающими, будто восьмой день недели, видевшими, как будто тонкие миры. Четыре одиночных сидения, семь парных, оскальзываясь, побрел в самый конец. Обтянутое гладким кожаном кресло закрипело под моей задницей. Стекла, покрытые толстым слоем инея, были не в силах показать места памяти, нас везли в неизвестном направлении.

Передо мной уселась пожилая чета. Она надела узкую, короткую юбку, чтоб казаться еще стройней, однако существовала вероятность подцепить цистит, эта барышня с химической завивкой, синими веками могла подцепить цистит. Я опознал в ней Валентину Толкунову, кабы не было зимы, должна была сказать она своему спутнику. Но вместо этого фыркнула недовольно. – Сережа, это не та планета, ты опять ошибся, – только и произнесла. Вероятно, Сергей, гражданин с черешневыми губами, дряхло-растленным, аристократичным лицом, в кашемировом пальто цвета медвежьего ушка, снял темно-синюю шапку-петушка. Импозантно промолчал. По длине пауз в их разговоре я понял, что жили они вместе лет двадцать, не меньше. Полуотвернувшись друг от друга, они обиженно безмолвствовали. Воспоследовавший путь в Переделкино сопровождался пространными размышлениями. О том, как в экосистеме ротовой полости размножается кариес. Думал также о скрипе колес, запрятанном в толщу снега. Думал о том, сколько частиц дурдомов, наших квартир мы переносим на своей коже и волосах. Значит ли это, что мы улитки, раз переносим на себе частично наши квартиры, дурдома и работы. Подышав на стекло, мне удалось организовать амбразуру. В которой мело, мело по всей земле, желтые огоньки волчьих глаз провожали автобус. Свирепствующий буран пограл вещественность, уступая место мечтаниям. Одолевшая меня дремота могла обернуться летаргическим сном. Приняв клопиксол по рекомендации лечащего врача, чтобы избавиться от этого стойкого ощущения не той планеты, вольготно вытянул ноги, да к тому же зевнул. Прельщенный ароматом касторки, разлившимся по салону. Ненавязчиво пела радиоло: я хочу найти сама себя, я хочу разобраться, в чем дело, помоги мне, помоги мне, я хочу, чтоб моя душа тоже пела. Одишенек на последнем ряду, теряясь в снегах республики комы, уснул.



Совсем скоро транспортное средство приостановилось. Индеец не спешил открывать двери, пассажиры молча сидели, где-то завывали волки. Раздался уверенный стук, от которого вздрогнула женщина, сидящая передо мной. Водитель шумно вздохнул, распахнул переднюю дверь, куда немедленно вошла девушка. В салоне зашептались, кто-то даже перекрестился. Вот так встреча, говорят в мыльных операх. Свекольные щечки гражданки, должно быть, отличались особенной сладостью, однако никто не решился бы их опробовать, в миг бы лишился своего языка. Барышня была опасна. Она воспитывалась на французских романах Габриэль Виткоп, Пьера Гийота, а следовательно, ненавидела мещанские проявления жизни. Ее улыбка по воздействию на людей была подобна вдыханию нашатырного спирта. В этой улыбке сочетались величие россомахи, способной убить добычу, превышающую собственный размер в пять раз. И депрессивный Бердяев. Деревянный крест на груди, крест, вспотевший от огня. Черный платок на голове, не менее черная шубка. Небезызвестная Лавиния Ворон вошла в автобус, прошла до самого конца салона, села рядом со мной. Поговаривали, что она вольный каменщик и принадлежит к старейшему русскому масонскому ложу, глупости, конечно. Язык дом бытия, у нее бытие было готическим, как Нотр-Дам де Пари. Бывало, мы беседовали в приемном покое наркологической клиники, застигнутые врасплох этим капиталистическим миром. Слушая размышления Лавинии, мне становилось несколько тошно. В самой оптимистичной новости она видела крошечную тьму. Кошка спасла охотника, сбежав из дому, привлекла внимание спасателей, два дня он кушал одни ягоды да грибы. Дева сказала бы: но ведь он все равно умрет, какой в этом смысл.

Подышав на стекло, заметил: мы ехали по Минскому шоссе, вот-вот должна была наступить писательская резиденция. – Здравствуй, – сказала Лавиния голосом бархатным, голосом одноцветным. Нехотя повернулся к ней и вынужденно поздоровался. Моя ровесница, но выглядит лет на семнадцать. Эти литературные критики, эти подонки существенно меня потрепали. Ворон была дочерью зажиточного гробовщика, отсюда, полагаю, увлечение и бесконечное любование потусторонними штучками. Помнится, два года назад она желала венчаться с одним патологоанатомом, гражданином схожих взглядов. Подобной холодной зимой ехала в часоулку, хлопотала метель. Жених, застигнутый непогодой, добраться не смог, потом он воевал где-то в Африке, там же где-то пропал. – Он живет на Марсе и медленно исчезает, пока люди сжигают его книги, – несла околесицу Лавиния, хотя, откровенно говоря, по паспорту она была самой настоящей Олей Морковкиной, а в школе Олю Морковкину дразнили тышкой в связи с полнотой. Однажды она принесла черную курицу на урок ОБЖ, потом принесла белую курицу на рукоделие. Одноклассники не могли взять в толк, чего же добивается эта замкнутая, всегда в черной одежде Мария Лаво нашего класса, слухи о так называемых практиках вуду были эфемерны и ничем не подкреплены. Преимущественно наши ребята тяготели к гуманитарным наукам. И образованная не по годам девчонка, прекрасно разбирающаяся в анатомии, не на шутку пугала. Впрочем, переходный возраст штука прекрасная, даже Ольга Морковкина, полагаю, вспоминает те времена с улыбкой, хотя и не признается себе.

– А я снова выхожу замуж, – оповестила Ворон. Подпрыгнув, автобус начал стремительно заноситься вправо. Граждане слетели со своих мест, точно курицы с насестов. Ойкали сдержанно. Влекомое силой притяжения, мое тело было брошено на алтарь истории. Сограждане были беззащитны, словно инвалиды детства, перед этими транспортными неурядицами, чекистами, Микки-Маусом, вредной пищей, телевизионным магазином, где продавали ерундистику. Придя в себя на полу под сидением, ощутил дыхание Лавинии на своей щеке, горячее девчачье дыхание обожгло мою щеку. – Мы можем обсудить мое предстоящее венчание, я думаю, тебе любопытны обстоятельства, – насадала Ольга Морковкина. Ребра подвывали псом, которого пнул тяжелой кроссовкой, потому что был не в духе, подросток. Тяжело поднявшись, обратился к нашему водителю: уважаемый водитель, подскажите, далеко ли до писательского городка? Бывшая одноклассница с разбитым о поручень носом не желала отставать: наверное, мы умрем с ним в один день,

наверное, я счастлива. – Лучше живите здорово и вечно, Морковкина, следите за зубами, а также коленями, – поучал я, перешагивая через тела своих соплеменников. – Но ведь это противоречит концепции забвения как абсолютного смысла. – Морковкина, не допускай халатности по отношению к собственной жизни, она у тебя двухколесная, не потеряй колесо, – упорно соскакивал с разговора. Распластавшаяся бабушка в сером пуховике ухватилась за мою ногу, ее пальцы напоминали коренья петрушки, сельдерея. Позади важно шагала Ворон, безуспешно пытаюсь нагнать. Что ж ей так захотелось побеседовать, девчонке со сложным характером. Индеец водитель произнес, прикуривая сигарету: километра два до писательского городка, вон, выйдите на шоссе, не потеряйтесь. – Увидимся! – вскричал я, прыгая в открывшуюся дверь. Позади почти рыдала Ольга: когда увидимся? О, с какой ностальгией она вспоминала школьные годы, а теперь кусает локти, не в силах найти толкового собеседника, надеюсь, с женьбой у нее в этот раз получится. Однажды она покусала целую учительскую собаку, потому что та отказывалась сожрать стопку тетрадок с нашими домашними заданиями. Дикая женщина, Лавиния Ворон.

Разразившись снегопадом, погода расписалась в собственной полноценности. Помнится, позапрошлой зимой была слякоть, и позапозапрошлой зимой была слякоть. А теперь наша земля, слившись с небосводом, стала неотличима от иных экзопланет, покрытых беспросветными льдами. Подумалось, именно на той, нужной планете я сошел с автобуса четыреста десятого. А семейная чета, оставшись в салоне, даже не знаю, довольна ли выбором. Верно подметил некогда писатель-фантаст Иван Ефремов: крупные хлопья снега из замерзшего аммиака или углекислоты, медленно падая сверху, придавали окрестности тихий покой земного снегопада. В отдалении чернели сарайчики, утробно гудела электричка. А прямо через овраг – там в церквушке зеленел колокол. Прекрасная иллюстрация услышанной молитвы, метель, на время которой закрывают школы в день экзаменов, а потом забывают открыть. Я побрел нетвердой походкой в сторону шоссе, размышляя о чем-то незаурядном.

## Глава 4

### Лошки

Слезки жгли и терзали мое сердце, то были слезы мнимого исцеления. Я плакал в редчайших случаях. И чтобы добиться от меня столь искреннего признания в психической нестабильности, вам необходимо было дать мне довольно-таки серьезный повод. Проваливаясь по колено в сугробы, шел мимо переделкинского кладбища, где упокоилась добрая половина наших отечественных писателей. Черные, куцые деревья были зловещи, впрочем, какими они могли еще быть. Что за поводы вы мне дали, каким образом вам удалось извлечь из меня эту солоноватую, девчачью влагу. Поводы дали не вы, отчего-то приемник в моей голове настроился на Елену Камбурову. Все, все уснули до рассвета, лишь зеленая карета, лишь зеленая карета мчит, мчит в вышине, в серебристой тишине. Звучали стихи Генриха Сапгира в исполнении Елены Камбуровой. По обыкновению, когда звучат стихи Генриха Сапгира в исполнении Елены Камбуровой, я безудержно рыдаю, парадоксально. Сиротливый грузовик, расслаивая светом габаритных огней снежную мглу, вальяжно проехал по дороге. Наконец я смог различить метрах в трехстах горящие окна гостиницы. Из трубы приземистой будки охраны валил дым. Серые губки дыма стремительно рассеивало. От ветра закладывало уши, ветер напоминал бормашину. В моих лобных пазухах словно танцевали агрессивные подростки в тяжелых ботинках с металлическими мысками. Снег, набившийся в сапоги, жалил габонской гадюкой. Впрочем, пусть уж зеленая карета, пусть уж слезы. Самое главное, не вражеские радиостанции. Войдя в резные ворота, неуверенно пошел по направлению трехэтажного, с упрощенными архитектурными формами,

кирпичного мотеля. У добротного зеленого домика, где некогда повесился поэт и сценарист Геннадий Шпаликов. Синий трактор, взрезая своим ковшем снежные пласты, расчищал дорогу. Интенсивное свечение, испускаемое фарами, очертило беседку с двумя креслами-качалками, в них сидели голубоватые дворники, важно курили трубки. По узкой тропинке, которую прямо на глазах заметало очередными снегами, рысью бежал черный пес. Его тело, словно капля чернил, стремительно поглотила еще большая тьма. Несколько сот метров ковылял, подсвечивая путь фонариком телефонного аппарата. И, кажется, искренне улыбался добросовестной зиме.

Тяжелая металлическая дверь, толстое стекло, исписанное изморозью, читалось с трудом, как будто бы по слогам. Я был все тем же отсталым парнишкой, не сумевшим вовремя поменять картину мира, как наиболее сообразительные одноклассники. Механика Ньютона, не теория относительности. Насилие, не пацифизм. Сняв красные варежки, схватился за удивительно ледяную дверную скобу. Влажная, потная кожа, словно коллективный детский язык, не разумеющий, отчего это страшно умные тети, дяди не позволяют на морозе нам качели лизнуть. Пальцы прочно приклеились. За мгновение до того, как открыть дверь писательской гостиницы, кое о чем вспомнилось. Глядя на изморозь на толстом стекле. Вспомнилось об инее на голубых казенных стенах комнаты для свиданий в ангарской колонии для малолетних отступников. Куда меня привела бабушка для встречи с другом, Павлом Джемом. Ему исполнилось четырнадцать, мне исполнилось только десять. Мы воровали старушек на улицах. Несмотря на столь юный возраст, я понимал ценность женщин пенсионной эпохи. Убедив Павла в том, что пожилые барышни, современницы Сахарова и Курчатова, поведают нам нечто великое, способное навсегда перевернуть наши фрарерские жизни. Мы организовали самую настоящую банду, однако ничего принципиально нового об устройстве вселенной так и не прознали. Дверь писательской гостиницы со скрипом открылась. На дверной скобе теперь значились кусочки моей литераторской кожи. Этакое болезненное послание для Павла, которого несправедливо закололи в пьяной драке.

Внутри расправили световые перышки хрустальные люстры «Спутники», скорее, люстры напоминали одуванчики. Теплый, приглушенный свет как будто лепил из предметов церковную утварь. Просторный холл вмещал будку с надписью: эклеры, эклеров нет, режим работы с десяти до пятнадцати. Несколько журнальных столиков с фотографиями Константина Паустовского, Анатолия Рыбакова, Булата Окуджавы. Похрипывала светло-каштановая радиолы, черная пластинка с голубой сердцевинкой крутилась с лентой. Бордовые бархатные занавески причудливым образом рифмовались с девятью гвоздиками, что стояли в бежевой вазе на стойке регистрации. Длинный зеленый ковер, по которому шел, пружинил. В узоре ковра опознал птиц, оскал гепарда, цветочки. Меня стало укачивать на печальных звуковых ухабах. Тут уж не в силах вам подсказать, что за ковер, чье производство, Карабах, Казах, Куба, азербайджанский, болгарский. Шульженко предлагала невообразимые вещи, желала, чтобы мы с нею закурили по одной. Но я отчетливо видел синюю надпись возле входной двери: в номере не курить. И все шел и шел к стойке регистрации, она как будто удалялась соразмерно шагам. На гранитной стене висела картина на спиле дерева, вероятно, ручная роспись: березки, озерцо. Несколько капелек моих кровавых упали на ковер. Разлапистая пальма едва не явилась причиной падения. Девушка приветливо закричала, ее расплывчатый силуэт маячил вдаль: добрый вечер, а вы заселяться? Мы заселяться, добродушно подумал, продолжая упорно шагать. Предчувствуя новый приступ невообразимой хандры, остановился у рыжеватого стола с начертанной на нем шахматной доской, расставленные фигуры, были готовы к войне, мы еще не были готовы к войне. Глубоко вдохнул, резко выдохнул. Закрыв глаза, досчитал до десяти. Едва слышался запах эвкалипта, куриных котлет, вишневого компота, бытовой химии. Жаба в груди расслабила челюсти, сердце забилось в ритме танго.

Девушка в красном пиджачке, белой блузке за стойкой регистрации, улыбнувшись, представилась Ольгой Глебски. – Вы полька? – спросил я, дзынькнув звоночком. – О, мой дедушка по

маминой линии был поляк, занимался частным сыском, – ответила задорно барышня. И тоже зачем-то дзынькнула. Прищурился глаза, смог разглядеть ее как следует. Блондинка лет двадцати пяти, голубые глаза, как будто изобличающие необыкновенно холодную душу. Впрочем, эта крупная дева не переставала благожелательно улыбаться. Придвинув к ней паспорт, увидел кровавый след, алая борозда пересекла темно-коралловую столешницу. Барышня как будто этого не заметила. Ее пальчики лихорадочно застучали по клавишам. – Вы знаете, у нас всего два постояльца на данный момент, один писатель и поэтесса, – между делом сказала Ольга Глебски. – Хм, – сказал я, – надеюсь, мы не поубиваем друг друга. – А вообще, у нас тут Борис Пастернак все вдохновение выпил, – залиvisto рассмеялась барышня. – Простите? – спросил, облизав сухие, официальные, что ли, губы. – Пацаны не извиняются, – озорничала девушка. Господи, прогони дурь из голов моих сограждан, подумалось с грустью. – У вас номер сто семь, это в самом конце коридора направо, там, где бильярдный стол, – Глебски протянула ключ-карту в конвертике канаречного цвета. – Благодарю, – проявил галантность я. Собрался было уходить, как услышал протестующий голосок девы: постойте, постойте, понимаете, у нас для постояльцев-писателей традиция есть. Ольга нырнула под стойку, вынырнула со стаканом и блюдцем, на котором лежали три шпротины. – Вы знаете, мы тут все восстановили, каждый номер нашего пансионата выглядит так же, как выглядел в семидесятые годы, когда сюда приезжали великие литераторы, – тарыхтела она. – Хм, – сказал я. Ольга Глебски поставила передо мной блюдо и стакан, одобрительно кивнув. Однако, видя замешательство Токарева, произнесла: позвольте в память о бесчинствах и веселье, случавшихся в писательском городке, предложить вам это скромное угощение. По инструкции, сделав два глубоких выдоха, на последнем выдохе задержал дыхание. Не выдыхая воздух, опрокинул содержимое стакана в себя. Ощувив нестерпимый жар в своем желудке, резко выдохнул через рот. А потом степенно закусил сразу двумя шпротинами, галантно высказавшись: мерси.

Побрел по этому нескончаемому фойе в сторону бильярдного стола. Сомнений в том, что я выпил чистый спирт, не было. Когда же мне довелось пить алкогольные напитки в последний раз, вероятно, больше года не пивал, не пивал, нет. Вот за такими нехитрыми размышлениями приметил одну выразительную деталь. Тело мое будто бы воспарило, мысль сделалась чиста и прозрачна. Добрый херес, ударяя нам в голову, разгоняет витающие в мозгу пары грубости, глупости, делает ум живым, пылким, полным игривых образов. Славный херес, он согревает кровь, ведь, если кровь холодна и неподвижна, то печень ваша бледна, что служит признаком трусости и малодушия. Я с интересом взглянул на черную печатную машинку «Москва», у нее запала литера Б, и стояла она на низком подоконнике. У моей машинки частенько западала литера альфа. Если продолжать странные метафоры с арифметическими задачками. То мой лыжник, вышедший из пункта Б в далеком две тысячи третьем году, до сих пор не пришел в пункт А, где о нем благополучно забыли. В груди разлилось тепло, но я не был излишне пьян. Оказывается, барбитураты несколько сдерживают опьянение, дорогие читатели. Миновал двери первого коридора. Оригинальная система корпусов писательской гостиницы выдавала в архитекторе Эрнсте Мае человека, не следующего по пути пуританства. В бесконечном фойе, пока мы шли, нам повстречались такие коридоры, как бы сказали мои образованные сограждане, le couloir. Так вот, помнится, четыре коридора, каждый из которых начинался площадкой с двумя нумерами, затем шла лестница. Иными словами, Эрнст Май решил не делать уличные подъезды, он решил разместить корпуса таким образом, чтобы писатели не имели нужды лишний раз выходить на мороз.

Напротив третьего корпуса за стеклами навесной витрины углядел пожелтевшие письма. Сощурившись, прочитал. «Весной 1932 года Максим Горький писал Константину Федину: в Москву еду с проектом; отобрать человек 20–25 наиболее талантливых литераторов, поставить их в условия полнейшей материальной независимости, предоставить право изучения любого материала, и пусть они попробуют написать книги, которые отвечали бы солидности вопросов времени».

Вопросы времени мы прекрасно позабыли, Максим Горький, пройдя курс электросудорожной терапии, правда, разыскали ответы, но кому они теперь нужны, в самом деле. До бильярдного стола, что напоминал полуденную лужайку, вытопанную сотнями детских ножек, оставались считанные километры. Глубоко затянулся электрической сигаретой, позади пела Ирма Сохадзе, пластинка безбожно шипела, быть может, это джаз на костях. Темно-зеленое бархатное полотно на ощупь напомнило голову одной девочки, гордой носительницы стриженного лишая, а также приверженки куртизанских взглядов. Испещренные трещинами шары из слоновой кости, вдруг медленно покатались. Мистические вещи творились вокруг, пластинку заело, Ирма Сохадзе угрожающе повторяла: зачем кричат попугаи, зачем, зачем, попугаи, зачем, кричат. Форточку распахнул ветер. Прижигающий мои раны сквозняк вольготно понесся по холлу. Меньше пить или же меньше закусывать, от сомнения и поверхностного атеизма подумалось некстати. Левое ухо заложило, мысль продолжала набирать высоту. Взлетая под самые облака.

Последний, четвертый корпус, корпус, где предположительно мне следовало провести две недели, был совсем близок. На стене возле распахнутой двери с окном висела памятная табличка. Фрагмент повести Инны Лиснянской. «В начале семидесятых переделкинский дом творчества состоял из трех коттеджей и главного корпуса, построенного в 1955 году в стиле сталинского ампира. На каждом этаже, а их всего два – общие душевые, общие уборные (мужская и женская), однокочные номера и двухкочные (если писатель приезжал с женой, и наоборот). Одноместные комнаты похожи на пеналы, высокие потолки только подчеркивали пенальность, делали номер еще более узким. В пенале помещались письменный стол перед окном, полутораспальная кровать, тумбочка, платяной шкаф, кресло для отдыха – большое, плюшевое, по-домашнему уютное, и два стула. Если постараться, то между креслом и шкафом можно было втиснуть раскладушку или узенькую оттоманку, что я и делала. Рядом с дверью, с двух сторон обитой дерматином, – раковина, и над ней кран-елочка, и выше – зеркало. Увы, не всем приезжающим в дом творчества охота среди ночи ходить в уборную, и часто, когда я въезжала, от раковины подолгу несло мочой. Не помню, кто из нас, Арсений Александрович или я, так называли наши номера, находившиеся друг против друга, но откуда бы мы ни возвращались втроем, за рулем, естественно, – его Татьяна, Тарковский неизменно с тоскливой усмешкой повторял: “Возвращаемся в родные пеналы?”»

На втором этаже меня встретила беспризорная тележка, груженная бутылками воды «Байкал», пакетиками кофе и чая, аккуратно сложенными белыми полотенцами. Мне вспомнился балагур Бальзак и его пятьдесят порций кофе, выпитых за день. Бывало, я тоже злоупотреблял кофе, бывало, становился таким дурным, что показывал неприличные жесты воробьям. Ученики спрашивали, кому вы, Миша, грозитесь. А воробьям, вон, полетели, сосредоточенно говорил. Но ведь, Миша, в классе нет воробьев, тут лишь мы, дети с поразительными особенностями. Ну, знаете, возражал им, ничего-то вы не знаете, а Саша Николаенко, между прочим, получила премию Ясной поляны. Позвольте, недопонимали детишки, это же чудесно, ритмически одаренная проза, почти поэзия, имеет право на жизнь, а вы, Миша, из этих. О, мои многозначительные дети, эти не подпустят меня к своим премиям и на выстрел из водяного пистолета. Пышный персиковый ковер шуршал, отзываясь на мои шаги. Сто седьмой номер, третий этаж, два номера на одной лестничной клетке. К электрическому замку приложил ключ-карту, пискнуло интеллигентно, так пищат мышки в библиотеках, пи-пи-пи, число пи. Ручка не поддавалась, электрический замок принялся вопить, как будто пожарная сигнализация. Приложил пластиковый квадратик повторно, потянул скобу вниз, дверь в апартаменты открылась вовнутрь. Оказавшись в прихожей, увидел узенький коридор, оканчивающийся каштановой дверью. Слева вешалка, справа начинается спальня. Развоплотившись, нет, нет, что-то не то, плоти я не терял. Только сбросил тулуп, разулся, влез в белые гостевые тапочки.

Мельхиоровые подстаканники, электрический чайник на писательской конторке, но в отличие от конторки, конторки, где плоскость расположена под углом, вы могли видеть такую на черно-белом снимке, там Алексей Николаевич вынужден делать записи в положении стоя. Моя конторка могла похвастать плоскостью, расположенной обыкновенно. Плотно задернутые бордовые шторы. У окна клетчатое кресло, такое же красивое, как румынское из нашего подъезда, у кресла торшер. Постель на двух человек застелена серым покрывалом, пышные подушки, словно разжиревшие лебеди. Прикроватные столики, две штуки. Из рюкзака вынул увесистую стопку оборотных листов для заметок, бросил на кровать, гелевые ручки тоже бросил. Взял одну из двух бутылок «Байкал», что была на столе, влил все содержимое в чайник, включил. Присел в кресло, чехословацкое, не меньше, подумал одобрительно. Встал. Белые гостевые тапочки скользили по паркету-елочке. Выключил люстру, зажег торшер, стремительно чайник вскипел. Словно через капли смолы глядел на комнату, длинная тень кружки напоминала дом на набережной, о котором писал Трифонов. Там литературовед Вадим Глебов прямо сейчас доблестно предает любимую девушку и отца этой девушки предает, чтобы сохранить свою карьеру. Подойдя к столу, заварил себе чаю, сразу же два пакетика опустил. Увидел книжную полку, подошел к ней. Световое щупальце не доставало до корешков, поставив кружку на комод, вчитался в названия. Там были Астафьев, Хемингуэй, порнографический роман Потемкина, на обложке вульгарная девка, восседающая на огромной улитке-фаллосе, журналы «Вокруг света». Кажется, книги выбирали на вкус проживающих в номерах писателей. Едва слышно лопата скребла снег. Мое хриплое дыхание нарушало заведенный порядок, посторонних звуков, что транслировались бы напрямую в голову, не было. УВБ-76 прекратило вещание. Поразительное безмолвие окружало Токарева.

Внезапно я ощутил присутствие незнакомца в своем номере. В душевой кто-то настойчиво мылся. Немало усилий приложил, но все-таки вышел в коридор с зажатым в руке туристическим ножом. Способным вспороть плоть свиньи для рождественского ужина. Из-под тонкой полоски в самом низу двери выходил пар, он клубился, белесым туманом стелился по полу. Медленно шел, считая от десяти до нуля. Некто напевал полонез Огинского, блестяще имитируя струнно-клавишный музыкальный инструмент клавесин. Мой нож был готов разобрать, точно утку, незваного гостя. Глубоко вдохнув, я с ужасом понял: не помыл руки. Самое страшное свершилось. Ведь смыть ваксу и чернила с лица это наше человеческое предназначение. Чтобы не сойти с ума от мыслей о собственной греховности и нечистоплотности, отворил дверь. Представшее предо мною действо совершенно сбило с толку. Обнаженный полнотелый мужчина предприимчиво натирался желтой мочалкой. Стеклопанель душевой была распахнута. Бренная пена морская, дробясь о гранитные, в сетке сосудов, ноги, пенилась. Пахло фиалками волн и гиацинтами пены, гель для душа выбран с особенным вниманием к деталям, пронеслось в голове. Стоя ко мне спиной, он даже не подозревал, как близко подобралась холодная сталь клинка. Непредвиденно мужчина запел рокочущим голосом: хорошо быть чистой каплей и таить в себе миры! На полу стопка одежды: белые плавки, синие носки, джинсы, оранжевая футболка. Вздрогнув, я по нелепой случайности опрокинул металлический баллон освежителя воздуха. Дзынь.

Медленно повернувшись, гражданин пятидесяти лет воскликнул: вот уж алмазный свой венец надеть я не успел, до чего неловко вышло! На змеевике висело большое темно-синее полотенце с чайками, облаками, белым парусом вдали. На своем веку я видал голых людей, поэтому не особенно впечатлился данным происшествием. Однако близкое присутствие человека со столь изысканными манерами вызвало во мне одновременно восхищение и какое-то опасение. – Мы тут с коллегами выбирали мэра комнаты, в общем, так вышло, меня попросили подать в отставку, – паясничал он, заворачиваясь в полотенце. Я сверлил незнакомца взглядом, по-прежнему не убирая выставленный ножик. – Да вы не переживайте, вас нет, душ у меня барахлит, а ключик подходит, – он сделал поспешный шаг, острый, ледяной кончик уперся в широкую грудь. Ситуация была поистине выдающейся и пикантной. Гражданин отступил, подняв руки, как будто сда-



ваясь. – Меня зовут Константин Алтаев, я писатель, а вас как зовут? – спросил он почти жалобно, почти по слогам, точно разговаривал с отсталым ребенком, очень опасным отсталым ребенком, коим, в сущности, являлся Токарев. – И что же, хороший писатель? – задал ему наводящий вопрос, убирая клинок в карман. Мужчина одевался поспешно. – С переменным успехом, – ответил он, застегивая ремень. Представился ему: Миша Токарев, дали вы, конечно, маху, вспугнули меня, как американцы жителей Никарагуа в восьмидесятых. Гость рассмеялся, мы проследовали в коридор. – А вы страстный молодой человек, мне довелось прочесть эти ваши романы, стильно, хотя и страшно временами, почему-то мне на ум приходил умирающий от голода Хармс, когда я читал эти ваши романы, – новый знакомый льстил. Однако я не спешил его останавливать, самое драгоценное качество художника есть полная, бесстрашная независимость его суждений. Суждения Константина напоминали мне то самое драгоценное качество художника. Мы стояли в дверях, когда я спохватился: что же мы, два литератора земли русский, не выпьем даже чайку.

Константин Алтаев, разублаившись, вежливо отказался: ах, мало у меня глаголов, больше, знаете, существительных, выпить мы с вами всегда успеем, но кровать в моем номере зажалась писателя, пишущего с переменным успехом. Мужчина вышел на лестничную клетку, я же расположился в дверном проеме. Коллега не спешил прощаться, мялся чего-то. – А вы не знаете, тут поблизости есть аптека? – спросил у него, поглаживая гладкий пластиковый электрический замок на двери, словно это была грудь робота. Все так же, не переставая загадочно улыбаться, он отвечал: нас окружает больше предметов, чем это необходимо для существования. Его сощуренные, воспаленные от недавнего купания глаза не моргали. Пауза излишне затянулась. Алтаев поспешил заполнить ее буквами: ближайшая аптека на станции, а вообще, молодой человек, не поймите меня неправильно... Пальцы в кожаных сандалиях писателя зашевелились. Я отметил про себя, носит сандалии без носков, не наш человек, кто ж без носков-то. – Что же я могу понять неправильно после того, как вы своевольно помылись в моем душе? – спросил у него, теряя интерес к беседе. – Да так, показалось, к слову, над чем вы работаете в данное время? – Константин переходил границы дозволенного, наверное, переходил, спрашивать, над чем работает литератор, в самом деле, над чем. – Сначала сами скажите, над чем работаете вы, – стал плести паутину из психологизмов я. – Пожалуйста, повесть для детей и юношей, рабочее название: завтра я вступлю в десант, а в кармане у меня будет антидепрессант. – Хм, – сказал я, – тема любопытна, любопытна, да. – Снизу послышался хлесткий удар кия по шарам, незамедлительно покатились. Шипела радиолы, слов было не разобрать. – А предыдущий сборник мемуарной прозы носил название: русское инородное, – Алтаев почесал грудь, обтянутую оранжевой футболкой с надписью «кино», литера О явлена в образе солнца. – Что ж, Константин Алтаев, на чай вы не решились, разрешите откланяться, – сказал ему. – Да-да-да, доброй вам ночи, – произнес коллега, спустился на один лестничный пролет. Закрывая дверь, услышал: Миша, я живу под вами, вы, если что, не теряйтесь. Дробно хлопнули двери, Алтаева и моя.

Балконная дверь открыта, кресло придвинуто к окну. В оцепенелом беспокойстве застыл на границе комнаты. Я смотрю на писательские дачи, преимущественно двухэтажные, сразу за ними начинается густой лес. Зима в Обломовке нынче безветренна. По узкой улице Серафимовича медленно едет, пробуксовывая, тонированная девятка. Свет ее фар выхватывает памятные таблички на заборах. Дом В.П. Катаева, музей К.И. Чуковского, здесь в июле сорок первого года Константин Симонов написал «Жди меня», на этой улице, в этом доме Льва Кассиля, в комнате на втором этаже. Здесь жила Мариэтта Шагинян, а здесь останавливался Рождественский. А вот в спальне дачи номер четыре застрелился Александр Фадеев, литературный министр, автор двух романов. А тут Евгений Андреевич Пермяк в пятидесятых годах сочинил своего чижика-пыжика. Борис Пастернак именно в этом доме отказался в тридцать седьмом году подписывать коллективное письмо по сфабрикованному делу маршала Тухачевского и прочих военачальников, которых вскорости расстреляли. А во дворе этой дачи Константина Федина осенью сорок первого года

вырыли траншеи, а потом люди использовали их в качестве бомбоубежища. Уличный указатель: здесь начинаются дачи, каждую из которых закрепили за определенным писателем пожизненно и бесплатно. И свет фар этой тонированной девятки, пока она ехала, пробуксовывая, осветил подобные памятные таблички, номера, заборчики, разное прочее осветил.

Елки, облачившись в белые платья, зимой пошитые на заказ, не используя иголки, выстроились у самого забора, коим была огорожена территория резиденции. Трактор гудит, лопаты скребут. Во дворе желтой дачи Корнея Чуковского растет причудливое башмачное дерево. Детские босоножки, кроссовки, ботинки, розовые и голубые ленточки висят на ветвях. Я глубоко затягиваюсь электрической сигаретой, на подоконнике дымится чашка с тремя пакетиками кофе. Во мне бытует некоторое количество фармакологической нежности. Бесчинствующее воображение старательно подсовывает образы детства. Шкафчики с носорогом-строителем, волком-волшебником, зайчиками на велосипеде. Садясь в кресло, вытягиваю ноги, теперь они на балконе, в то время как туловище в помещении, втиснуто в помещение. Башмачное величавое дерево во дворе желтой дачи Корнея Чуковского в некотором смысле пугает своей вещественной многозначностью. Впотьмах лишь заискивающий, несмелый свет фонаря слегка подсвечивает обувь малого размера, смотрю. В писательских домах по улице Серафимовича все спят. По крайней мере, внучка Валентина Катаева, что живет в дедушкином доме до сих пор, спит. Окна дома Валентина Катаева умолкли. Впервые за долгое время мне хочется написать стихотворение о детях. Явление столь редкое, требующее определенной внутренней работы по деконструкции себя взрослого. И я пишу такое стихотворение о детях, назвав его ласковым словом: лошки.

А не испить ли нам крамбамбули,  
 Настоянной на корице, гвоздике,  
 Вишневых костях  
 По случаю встречи  
 Таких бонвиванов, как мы.  
 Вы хотите дерябнуть,  
 Что ж, похвальное дело,  
 Однако скоро обед,  
 Боюсь перебить аппетит,  
 Не сочтите мои эживоки  
 За дерзость,  
 Впрочем, коллега,  
 Моя застарелая травма  
 Дает о себе знать,  
 С возрастом язва желудка  
 Особенно портит застолья.  
 Кстати, вы помните нашу Фифи,  
 Ту самую, что некогда  
 Подавала вам знаки внимания.  
 Конечно же, помню,  
 И что с ней случилось.  
 Видите ли, нагуляла живот,  
 Спуталась с черномазым,  
 Бедняжка фрустрировала,  
 Да, полнейший цугцванг  
 Наступил в ее жизни,  
 Еще бы чуть-чуть,  
 И привет дом скорби.



И что же тот Мавр,  
Должно быть, богат.  
Что вы, беден, церковная мышь,  
Говоря откровенно,  
К тому же, судим,  
Представьте, вилочкой заколол  
Своего господина.  
Да что вы, коллега,  
Неужто столовою вилкой,  
Той самой вилкой «Антошка»,  
Да прям-таки заколол.  
Истинно вам говорю,  
Вилкой «Антошка», с зайчиком.  
А не прописать ли нам ижицу  
Строптивому Мавру,  
При всем уваженье, коллега.  
Да как вам сказать,  
Поговаривают,  
Его порешили крестьяне.  
Саша и Петя, нам долго,  
Долго вас ждать,  
Вся группа вас ждет,  
Что за дети такие,  
Сейчас же встали с горшков,  
Я сказала, встали с горшков,  
Бог ты мой, опять все в говне,  
Не дети, а катастрофа.

## Глава 5

### У меня была жена поэтесса

Пробуждение выдалось очень даже хорошим, я бы сказал замечательным. Кожа моя источала удивительный аромат лука. Токарев, или мсье Чиполлино, свесился с грандиозной двуспальной кровати. Приоткрытая балконная дверь за ночь впустила так много снега, так много снега. Заструги, оформленные ветром узкие, оледенелые гребни виднелись у плитуса. Стаканы покрылись инеем. Медленно встал, включил чайник, припал к полу, принялся отжиматься. И пока Аркадий Драгомощенко считал Богов, как месяцы, по косточкам рук, я не совсем понимал, сколько здесь нахожусь. Время могло идти, как ему вздумается, по прямой, по диагонали, зигзагом, наискосок. Быть может, проведенное мною время в писательской резиденции равнялось недели, быть может, одной ночи. Выпил утреннюю половинку кветиапина, запив стаканом кипятка. Воспитанные мальчики пьют в день половинку кветиапина, воспитанным мальчикам не чужда забота о собственном здоровье. Стал размышлять, высунув кончик языка: по-прежнему ли в состоянии сочинить седьмую повесть для господина Белкина, не потеряна ли сноровка в писательском деле. Времени было девять, завтрак начинался в девять тридцать. За окном лишь поземка. Неприступная, холодная красавица зима выдержит ли свой характер до узаконенной поры тепла. Мне бы хотелось, чтобы выдержала. Кстати сказать, у нас две зимы в году, весны, лета, осени нет. Правда, позапрошлые декабрь, январь и февраль выдались особенно слякотны, и я не написал ни строч-

ки. Вспомнились подробности сна, пока делал махи ногами. Стремглав бросился к писательской конторке, к своим оборотным листочкам.

А снилась мне целая повесть. Понятное дело, необходимо быть Павлом Пепперштейном, по меньшей мере, чтобы проворачивать такие дела. И записывать собственные сновидения, как что-то действительно заслуживающее внимание. Павел Пепперштейн, обратившись к нейросети, написал книгу рассказов. Видится мне, этот опыт созвучен опыту осознанных сновидений. Так вот, Арнольды Шварценегеры работают в поле, плугами вспахивают землю, солнце печет, воздух переливается бабочками среди чудного изобилия ромашек, скабиоз и все такое прочее. И, представьте себе, происходит форменное безобразия. Чужие, или же ксеноморфы, жуткие инопланетные чудовища с продолговатыми черепами, двумя парами челюстей, острыми хвостами, кислотной кровью. Без объявления войны нападают. Мотив пришельцев не до конца ясен, известно лишь, не по обмену опытом они прилетели. Силы неравны, в деревне бушует пожар. Бабы бегают, отбиваясь коромыслами, визжат: Арнольдик, Арнольдик! Шварценегеры, обвешанные патронташами, у кого в руках ТОЗ-БМ, у кого ИЖ-54, они доблестно сражаются с ксеноморфами, стреляют. Но, к сожалению, силы неравны. Во второй главе мужественные Арнольды обращаются за помощью к трактористам из соседнего села. Трактористы, в свою очередь, Сильвестры Сталлоне, вооружившись арматурами, топорами. Вступают в этот неравный бой. Примерно на второй главе детали сновидения рассеялись. Отложив ручку, бумагу, поспешил умыться.

Мое временное жилище было чрезвычайно комфортно, комфортно словно камера норвежского преступника Андерса Брейвика. В комментариях к очередной новости о том, как этот подлец жалуется на старую модель игровой приставки, а также на одиночество. Мои сограждане негодовали, в шутку ли, спрашивали, как им попасть в тюрьму Норвегии с такими прекрасными условиями содержания. Я прошествовал в ванну. Ванная комната напоминала ванную комнату отеля «Оверлук». Белой ромбовидной плиткой были покрыты стены, пол, кажется, даже потолок, вы как будто находились внутри большого яйца, вы как будто птенец, вы чистили зубы. Миша Токарев чистил зубы, не обделяя вниманием дальний ряд, моляры, премоляры и даже зубы мудрости. А еще размышлял, неплохо бы дать непохожие концовки для разных регионов. То есть повесть для библиотеки Норильской школы окончится, например, иначе, нежели повесть для библиотеки кожно-венерологического диспансера где-нибудь в Ставрополе. Впрочем, от идеи с двумя, а то и с тремя уникальными эпилогами пришлось отказаться. Итак, завершение приснившейся повести: Арнольд Шварценеггер возлежит в шезлонге на границе Узбекистана и Казахстана, на море Аральском попивает прохладный кумыс. Конец восьмидесятых. Его подруга, кудрявая Луиза Рипли в бирюзовом купальнике на соседнем шезлонге одухотворенно смотрит вдаль, затем пальчиком с красным ноготком поглаживает грудь своего кавалера. Приговаривая: Арнольдик, должна признаться тебе, к несчастью, я изменила тебе с агрономом Джеки Чаном, к тому же я беременна, от кого неизвестно. Шварценеггер, пораженный до глубины души, отвечает Луизе оплеуху, отчего девушка слетает с шезлонга. Гражданин искреннее негодует, на его глазах выступают солоноватые слезы: да как же так, нам ведь на свадьбу тетка нагадала долгую, счастливую жизнь, а ты, а ты. Довольный произведенным на себя эффектом, намылил душистым, с календулой, мылом лицо. И предпочел поразмышлять о концовке героической повести при иных обстоятельствах, поразмышлять над повестью под рабочим названием: женщина терминатора; несколько позже.

От гостиничного корпуса до столовой было всего ничего, метров четыреста. Синий трактор одинокой притих у беседки. Склонившие макушки березы сделались кружевными арками. Погода стояла безветренная. Тетерев смольный с красными, пышными бровями вылез из-под снега, переночевал там, в тепле, шумно взлетел, улетел, улетел. Сугробы, переливаясь розово-голубым, высились до самого горизонта. Глебски, когда проходил мимо стойки регистрации, вручила мне

крем для рук, видно, вчерашний инцидент с кровавыми следами вызвал в девичьем сердце щемящую тоску, пожалела. Термометр на стволе дуба показывал минус пятнадцать. Хрустящий наст под ногами напоминал глазурь на куличе, пошло я сравнил хрустящий наст с глазурью, а что поделаеть, дефицит идей. Вблизи трапезная оказалась местом футуристическим, местом из стекла и бетона, как будто бы руку к ее созданию приложили отъявленные конструктивисты. Скользкое мраморное крыльцо, в предбаннике постелен искусственный газон. Школьные вешалки в нашей коррекционной школе были такие, мой тулуп единственная верхняя одежда в этом гардеробе, вы можете пробежать своими пальцами по карманам, не ошибетесь. Иду, оскальзываясь, по коридору мимо музейных витрин, в которых томятся реликвии, цветастый пиджак Евгения Евтушенко, кожаный пиджак Булата Окуджавы, пожелтевшие книжки с дарственными надписями. Еще одна печатная машинка, на этот раз «Украина», у нее запала литера У. Едва слышалась музыка.

Получившееся БУ вызывает грустную усмешку, я прохожу мимо зеркала во всю стену. И не вижу своего отражения.

Шершавый голос Эллы Фитцджеральд, пианино. Голос Эллы Фитцджеральд, затопивший пространный зал. С десяток овальных столов, а вокруг панорамные окна, за ними видны котельная, снежное поле, аллея. Поскрипывающий паркет, мое хриплое дыхание. Весьма бледный азиат в черном пиджаке, белой сорочке, алый платок повязан на шее, кивнул: доброе утро. – Доброе утро, – киваю в ответ. Сколь хмурый официант, подумалось. Смольные волосы, посередине пробор. Он указал на шведский стол в противоположном конце зала. Предупредив, что меда нет, но завтра он будет. В этой столовой литераторам предназначался самый шведский из всех шведских стол, выданный мною в заграничных сериалах. Прочие же посетители, коих, впрочем, и не было, вынуждены были платить по счетам, чтоб отведать чего-нибудь. Вскользь глянул на меню и на цены. Бог ты мой, мне бы не хватило накоплений на сберкнижке даже на оплату завтрака. Там, в гражданской жизни, по нечетным воскресеньям продавцы выносили продукты с истекающим сроком годности на задний дворик ресторана, особенно были удачны сырники, привык, в общем-то, завтракать, чем пошлет бог. Я подошел, в пузатом котле манная каша, в салатнице, имеющей силуэт рыбы, нарезанные овощи. Металлическое, глубокое блюдо, в нем квадратики запеканки. В графине апельсиновый сок. В термосе чай, в ином термосе кофе. Бананы, яблоки, груши лежит в зеленой фруктошнице. Щипчиками накладываю омлет, два сырных бутерброда, пучок лука, дольки зеленого перца, несколько помидоров, отношу к ближайшему столику, возвращаюсь. Наливаю полную чашку кофе, возвращаюсь. Накладываю кашу, добавляю в нее кусочек сливочного масла, добавляю в нее две чайные ложки варенья клубничного, возвращаюсь.

Руки лежат на стеклянной столешнице, Элла Фитцджеральд поет: устрой себе маленькое рождество, мой голодный дружок, устрой его. Благодарю за пищу, прикрыв глаза, хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь от лукавого. В зал вошла женщина лет сорока в платье-рубашке с короткими рукавами, платье у ней наполовину белое, наполовину оно черное. Лицо у незнакомки лисье, синие стрелки на глазах, она прищурилась и стала напоминать прекрасного удмурта. Волосы пепельные, короткие, прическа паж, как у Мирей Матье. Распустившийся голубой цветочек папоротника в июньскую полночь, такую метафору мог бы подобрать пылко влюбленный старшеклассник. Однако гражданка не интересовала никоим образом, впрочем, окружающие люди предпочитали делить мои слова на два. Дамочка о чем-то переговорила с официантом, направилась к столику с нами. Пораженный столь вкусной манной кашей, разомлел. И сердце мое сделалось будто бы хлебным мякишем, из которого можно было лепить все, что угодно. – Вы позволите отзавтракать с вами? – спросила она томно. Утренняя пора совершенно не располагала к подобной томности. – У России нету границ, у меня тоже, – ответил ей с некоторым недоумением. Женщина принесла себе кофе, сосиски, круассан и салатик. Мы безмолвно потребляли пищу. И вдруг она произнесла: меня зовут Элла Одинцова, вы, должны быть, читали мои стихи.

Сделал вид, что не читал, помотав головой. – Ну, как же, посрамленное молоко убежало, а грибы зашагали на юг, я стояла, ждала у вокзала, что приедешь ко мне ты, мой друг, – она кончила декламировать. – Да, – сказал я, – когда река встает, а облака плывут, и лед между двумя людьми тронулся, любые слова бесполезны.

После каши наступила очередь омлета, чей несравненный аромат вскружил мне голову. – Уже рассвет темнеет с трех сторон, а все руке недостает отваги, – патетично сказала Одинцова, подливая из фляжки коньяк в свой кофе. – А ведь любовь зубная это боль в сердце, не правда ли? – поинтересовалась она. – И в печени, – поделился наблюдениями я. Отвлечшись от омлета. Элла сходила за новым круассаном, вместо кофе взяла стакан апельсинового сока. И вновь принялась донимать разговорами, где не было победителя, любая сторона в таких разговорах в проигрыше. Витийствующий зануда понесет невосполнимый кармический удар, а слушатель испортит себе аппетит. – Как вас зовут, вы лирик? – спросила. – Миша Токарев, – скупо произнес, не прожевывая проглотив кусочек хлеба. – Но вам лет двадцать семь, почему же вы Миша, почему не Михаил, вот если бы вы, как Евгений Баратынский или Николай Гумилев, отслужили в армии, вы бы перестали быть Мишей, – складно щебетала поэтесса. А я был абсолютно нем, поглядывая на гардероб. Одинцова, не стесняясь официанта, который, подбоченясь, смотрел на нее, выпила прямо из фляжки. – Может быть, вы пишете для подростков, тогда понятно, почему Миша, какое ваше любимое произведение для подростков? – я покончил с омлетом, бутербродами. – «Сигнальщики и горнисты», – напряженно сказал. – Это многое о вас говорит, – Элла подарила многозначительный воздушный поцелуй. – А что вы тут пишете, Элла? – вынужденно спросил. Подумал еще, в скором времени мне исполнялось двадцать восемь, а я совершенно не представлял, в моем возрасте каких девочек следует окучивать, двадцатилетних, или же тех, которым около сорока. – В данный момент я занята написанием поэмы о женщине на грани нервного срыва, – ответила поэтесса, надкусывая круассан. Продолжила, растягивая слова: предыдущий мой сборник, минное поле любви, возымел небывалый успех среди членов союза писателей. Я инстинктивно поморщился, делая краткий глоток горького кофе. – А что это вы нос воротите, между прочим, потомки творческих людей видны по организации сознания, и когда вы морщитесь, это выдает в вас типичного пролетария. – Чем же вам не угодил пролетарий? – зачем-то продолжил этот скучный диалог. Дамочка перевела тему, увидав мои деликатные шрамы от кошачьих когтей, схватила за руку зачем-то. – Вы не из тех мазохистов, которые берут лед, берут соль, – поэтесса не успела договорить, к нам подошел официант с подносом, он забрал грязную посуду.

Покончив с завтраком, поднялся из-за стола, картинно поклонившись. Одинцова совершенно захмелела, сказав: я, кажется, читала ваш роман, там, где мальчик ехал к своей бабушке, как у Павла Санаева прямо, ничего своего. – Да постойте же, вы знакомы с Ниной Берберовой, вам необходимо с ней познакомиться, она на вас напишет чудную рецензию, – Элла держалась как непослушный ребенок, за карман моего пиджака. – Послушайте, дамочка, мы хорошо провели время, но любой суп несколько ограничивают мухи, так и литераторов ограничивают женщины, – поспешно прошался. Послышался звук отрываемой ткани, карман льняного серого пиджака остался в руке собеседницы. – Какая неловкая тебе попалась хищница, – сказала она, прильнув ко мне, окатив своим алкогольным дыханием. – Теперь мне, что же, необходимо заглядить вину, пришить вас нитками страсти, – договорить Элла не успела. Я перебил: не стоит ходить глаголем и свататься ко мне, вы, кажется, перебрали сегодня. – Ну, тогда хоть проводите меня, – сказала, отступая. И вот мы идем в гардероб. Она надевает черную тяжелую дубленку, какие носили в нулевых. Повязывает песочный шерстяной платок на голову. Она напоминает мне автобус «Икарус», которого боялся Виктор Цой. И далее размышляю, литератору не стыдно бояться женщин. – Спасибо, что не убежали, а дождались, я тронута, – смеется Одинцова, нагоняя меня в стеклянных дверях столовой, шуршит искусственным газоном.

Проходя мимо старого корпуса, белого двухэтажного здания с колоннами, увидели принаряженную елочку, красивую, точно слово жоjobа. – Вы посмотрите, какие шарики, красное пламя наших грехов, – сообщила поэтесса. – А вот Елена Шварц говорила, что когда-то крестилась в огне, вы бы не хотели попробовать так же? – съязвил я. По узкой тропинке шла группа азиатских туристов, слушая в наушниках экскурсовода, мы с тетенькой попали под обстрел вспышек их фотоаппаратов. – Вы женаты? – спросила, икнув, она. – В разводе, – ответил. – А где вы с ней познакомились? – Элла оскальзывалась, приходилось поддерживать ее за локоть. – Мы познакомились во время следственных мероприятий, мое племя с теплотрассы породнилось с ее племенем, что проживало в злчном подвале, на почве преступной деятельности, – пошутил я. – Поговаривают, что, замерзая, ничуть не чувствуешь боли, слабеешь, тихонько засыпаешь, блекнет все вокруг, а потом проваливаешься в реку теплого молока, в мир и покой, – произнесла глубокомысленно. Мы шли с ней к гостинице, словно два обморока, каждый погруженный в собственные пучины творческого хаоса. Поскрипывал снег. – Пойдемте ко мне в номер, будем пить бром и читать Апокалипсис, – она почти завалилась, с трудом удерживал Одинцову от полного краха. – Встретимся на обеде, Элла, – отнекивался, почти затаскивая безвольное женское тело по ступеням. Ольга Глебски приветливо закричала нам со стойки регистрации: аккуратней, она же ударяется головой! И вправду, поэтесса особенно неудачно стукнулась о витрину. – Вы не можете мне дотащить, в каком номере она остановилась? – спросил служительницу гостиницы. Внезапно Элла трезво сказала, поднимаясь с пола: в сто шестнадцатом, и вовсе я не пьяна, знаете ли, профессиональное, необычайно быстро пьянею и так же необычайно быстро трезвею. Довольная произведенным эффектом, она погладила меня по щеке, походкой вальжной направилась ко второму подъезду. – Вы уже познакомились со второй нашей постоялицей, как я рада! – произнесла Глебски, зачем-то дзынькнув колокольчиком. Я же поспешил к бильярдному столу, поднялся в свой номер, заварил очень крепкий чай, открыл балкон.

Поэтессы виделись мне Валаамскими ослицами, по временам они закатывали глазки, бились в падучей, всем своим видом показывая, о, сколь загадочная романтичность первенствует в нас, постоянных авторах журнала «Полутона». Но, позвольте, размышляя, прогуливаясь по комнате, семь шагов в длину, пять в ширину. А какое у вас отношение к женскому поэтическому алкоголизму, Токарев, об этом нам расскажите. Что ж, алкоголизм поэтесс, пишущих поперек в разноланной тетради, не признающих никаких авторитетов, будь то литературовед Марк Липовецкий с рассказами о неоромантизме в русской поэзии двадцатого, двадцать первого века. Или же размышления Ильи Кукулина о лирике советской субъективности. Явление, способное всерьез пошатнуть психическое здоровье мальчишек, окружающих данных Сапфо. Правда, иной раз читаешь неизвестную тебе мастерицу, восторгаешься, как восторгается мать первому слову ребенка. А потом живо интересуешься, уважает ли мадмуазель литературоведа Марка Липовецкого с его неоромантизмом двадцатого и двадцать первого века. Знает ли, кто такой Кукулин Илья. Не знаю таких, говорит. Не знаете, ну, слава богу, значит, ваш взор не затуманен затейливыми речами белых мужчин. Давайте тогда вместе разрушать Карфаген, а восстановим потом. Вы знаете, говорит поэтесса, хочется мне стать всем и ничем даже не пожертвовать, такое возможно, Токарев? Молчу, не в состоянии подсказать ничего дельного. В номере пахло хвойными, старой мебелью, едва уловимо апельсиновой кожей. Сажусь за конторку, пишу чего-то.

Некогда у меня была жена поэтесса. Познакомились мы с нею на группах анонимных невротиков. Малышка Абигейл, где ты сейчас, ужель ты не видала, что происходит с разведенными женщинами, какому разврату они предаются, стоит им только вырваться из ежовых рукавичек своих мужей. Она пришла туда впервые, перед ее слезами стояли полуденные глаза. На пушистых ресницах лежала пыльца. Вздернутый нос всхлипывал, я протянул платок хлопковый, с рыжим котом. Увлечшись гречишным медом, барышня была не в силах перестать любить сладкое. Ловушка Винни-Пуха захлопнулась, недостижимая ремиссия, словно потерянный хвостик Иа,

утратилась в лесу Эшдаун. Мы с нею быстро сошлись, снимали комнату. Работал на каком-то предприятии, не помню каком, съехал от родителей. Она познакомилась с поэзией Ольги Горпенко, ставшей позднее второй любимой поэтессой, Елена Шварц да Ольга Горпенко. Какие же чудные строки, читатели, какие же чудные строки, какая тяжелая судьба, Ольга: имена и фамилии недоказуемы, и друзья не восстанут на голос судьбы, эта музыка, молча, в себе унесу ее, улыбаясь загадочно, как в забыты. В комнате становится душно, расстегиваю рубашку, решаю снять ее вовсе. Сажу за столом в одной белой майке, в клетчатых красных брючках. Чай допит, включаю чайник. Вспоминаются иные строки Горпенко, записываю, чтобы не забыть: это просто понять, это знают смысленные, эту чашу должно в одиночку нести, ненасытную, полную, неразделенную ни раздать, ни испить, ни пролить, ни спасти. Завариваю еще чай, предаюсь меланхолическим размышлениям. Веером разложенные на столе оборотные листы с пометками, схемами: так легче пишется, думается. Хожу по комнате, припоминаю речь, речь Абигейл. Чрезвычайно волнуясь, голос у нее дрожал, я глядел на нее пристально. Подобным образом глядит ребенок на котенка в приюте. Значительно позже, когда мы жили вдвоем, меня посещало чувство. Знаете, читатели, агенты Штази некогда проникали в дома диссидентов, переставляли там вещицы с места на место, потом уходили незамеченными. Так они воздействовали на неугодных, психологически. Абигейл проникала в мою голову и переставляла мысли, путала.

Позвонила милой куратор Евгения, поинтересовалась, все ли у меня хорошо, спросила также, как назову произведение, над которым работаю. Призадумавшись на мгновение, ответил: жгучий дембельский поцелуй Токарева. – Ох, – произнесла она, – что-то социальное? – Не исключено, – рассмеялся, она робко рассмеялась в ответ. Отчего-то пришло на память, как в разгар очередной ссоры сообщил Абигейл о своем решении отправиться в армию. Жена чванливо известила о собственном равнодушии относительно военного дела. Граждане в военкомате категорически запретили связывать судьбу с оружием, твое оружие блокнот да цветные карандаши, рассказали они. Вечером того же дня, вернувшись дембелем домой, был встречен женою не очень-то и радушно. – А если бы ты не вернулся, как бы я воспитывала нашего предполагаемого ребенка? – спросила она. Потом неожиданно заговорила о Януше Корчаке, который мог не поехать в лагерь смерти, потому что немецкий офицер в детстве читал короля Матиуша, был тронут подобной встречей и разрешил не ехать. Однако польский писатель, глядя на детей в вагонах, отказался, отправился с ними. Абигейл, но ведь ты ненавидишь деток, возразил я. Как будто не слыша, она продолжила проводить эту странную параллель. Газовая камера, Корчак идет вместе с ребятами, подадут газ, тела ребятшек, обнимающих Януша. Абигейл, ты спятила, какая газовая камера, нервничал, призывал жену расшифровать метафору. Она грустно вздохнула, как вздыхала тысячи раз до этого, допила из высокого бокала свой апельсиновый ликер с веточками хвои. Сбросила свой васильковый халат, вошла в ванную. Нерпой занырнула в пучину, вынырнула, закурила. По обыкновению, она сочиняла стихи, плескаясь в ванне. В тот раз, когда я вернулся дембелем, жена не оценила мой кантик, данное происшествие расстроило больше всего. Приятное, словно кошачье покусывание за ухо поутру, воспоминание о семейной жизни. Шумно пролетел самолет, затряслись стаканы и кружки. Кажется, писательские жены просили некогда руководство перенести аэродром, ведь мужья, работающие над произведениями в этой самой гостиной, отвлекаются на шум. Не помню, в каких годах они просили. Мне удается ухватить речь своей бывшей жены, услышанную на нашем первом свидании на группах анонимных невротиков.

На основании преобладающего,  
 Во мне такого воздушного,  
 Словно термин безе,  
 Словно ночь в складках плиссе,  
 Иными словами, ведь иные,  
 Иные воззрения

Ошеломляюще тихие, разные,  
Можно сказать, контрапункты,  
Можно даже привести факты,  
Когда ощутила себя поэтессой,  
Что подавали на завтрак,  
В какого цвета тетради  
Одноклассник мой Тео,  
В которого была влюблена,  
Рисовал выходы из Освенцима,  
И как в графских развалинах  
Соседки по парте,  
Чья мать была парикмахером,  
Завелись вши.  
На основании этого чувства,  
Весьма зыбкого чувства  
Я и построила свою идентичность.  
А потом позабыла,  
Позабыла на долгие годы  
Аксельбанты созвучий,  
Анафоры сладких стонов,  
Неудачно прыгнула замуж,  
И ножка моя подвернулась.  
Уходя, уходи без всякого исключения,  
Говорила ему  
На фоне гибнущих яйцеклеток,  
Запретов, запретов,  
Я и не помню, как это случилось.  
От реальности к употреблению,  
От употребляемых до употребленных,  
От стихотворения,  
Разбившего окна  
До стихотворения в ложке,  
Растопленного с первым снегом.  
Тут можно же анонимно,  
Не называя фамилии, имени,  
Что-то заговорила?  
Можно, похлопаем  
Нашей сегодняшней гостье,  
А еще у нас печенье и кофе,  
Все это бесплатно,  
Желает кто-нибудь высказаться?

Накануне ужина, между шестью и шестью тридцатью я наконец отвлекся от работы. Пропущенный обед ни в коей мере не расстроил. Торшера свет голубкой бился в моих руках. Спертый воздух в комнате, одышка, как после прогулки на лыжах. Писанина способна изрядно вымотать. Когда пишешь всерьез, ощущаешь себя институтом семьи в Афганистане, существует ли он, кто же скажет. Внезапно послышался крик. Неизвестная женщина, не совестясь, извлекла этот совершенно невообразимый вопль. Что за бездонные недра у гражданки, подумалось. Она закричала повторно, стихла. В затекшей спине покалывало, руки тряслись, а легкое возбуждение сменилось опустошением. Я направился к входной двери, накинув на плечи тулуп, вышел на лестничную



клетку, рассмеявшись неведомому. Спустившись в фойе, был встречен коллегами, настоящее столпотворение царило у стойки регистрации. Константин и Одинцова о чем-то спорили, Глебски не было на посту. – Что же произошло, пирожочки? – спросил у них, скривив лицо, непроизвольные, односторонние тонические сокращения поразили меня. – Ааааа! – закричала поэтесса, появление Токарева застало ее врасплох. – Ольгу Глебски кто-то зашиб, милый друг, – весьма импозантно произнес Алтаев. Радиола молчала, где-то едва слышно жужжала муха, должно быть, некстати проснувшись посреди этой вечной зимы. – Чудовищно, просто чудовищно, – частила Элла, на ней было джинсовое платье с большими карманами, губы, покрашенные черной помадой, напоминали два тела бабочек траурниц. Новость, преподнесенная коллегами, оказалась проявлением очередных несправедливостей жизни. Ольга, кто бы мог подумать, такая улыбочивая, надо же.

Константин прошел за стойку регистрации, спросил: вы не хотите взглянуть, вас это может заинтересовать, как тонкого знатока? – Вы отвратительны, зачем вы фотографировали бедняжку, что вы понаписали в своем ничтожном блокнотике? – пристыдила Алтаева поэтесса. Я встал на носки, упершись руками в столешницу, однако кроме длинных женских ног в чулках ничего не увидел. – Послушайте, это же фактура, это не значит, что у меня какие-то там отклонения, – оправдывался за собственный интерес к танатосу коллега. – В самом деле, бремя страстей человеческих особенно не чуждо хорошим литераторам, – поддержал Константина я. Одинцова фыркнула. И вдруг выключился свет. Фойе погрузилось в крошечную тьму. Последнее, что увидел, премилая картина, скакун в доспехах на рыжем коне. Картина висела рядом с белыми круглыми часами на двери комнаты для персонала. – Мне это совсем не нравится, мальчики, – послышался голос Эллы. – Идите на звук, господа, – откуда-то слева говорил коллега. Выставив руки, сделал пару шагов, пока нечаянно не обнял Одинцову. – Добрый вечер, гражданка поэтесса, – произнес я. Женщина придвинулась вплотную. Нежно зашептала: вы напоминаете мне крошку Цахеса, пусть ваши умственные способности оставляют желать лучшего, надо признать, вы обаятельны. Мы замолчали. Вспыхнул огонек зажигалки. К нам подошел Константин. Алтаев сказал: я тут нашел туалетную бумагу. Он стал поджигать кусочки туалетной бумаги, вспыхивая, как Джордано Бруно, кусочки падали на паркет, прогорали. Порочный свет успевал осветить наши ноги. Зеленые лакированные ботинки, синие колготки Одинцовой. Кожаные сандалии, мохнатые ноги в оливковых шортах писателя. Красные клетчатые брючки, белые тапочки вашего покорного докладчика. – Какая-то ерунда происходит, – поделилась наблюдениями Элла, не переставая обнимать. Ее любознательные руки скользили по моему телу. Стоит признать, приятное чувство, подобным образом ошупывают любимых детей, где болит у тебя, милый ребенок, где бо-бо.

– Господа, предлагаю нам с этой минуты не сметь разделяться, предлагаю нам, господа, воспоследовать ко мне в номер и держать круговую оборону, печать распада, что лежит на Ольге Глебски, имеет насильственный характер, – стал чрезвычайно словоохотлив Константин. За логическими речами он не сумел спрятать волнения, не сумел спрятать страх. Голос его напоминал голос нашкодившего мальчугана, который держит ответ пред участковым. Он циркал колесиком зажигалки, которая беспрепятственно гасла. Пожалуй, размышляя я, Элла Одинцова принадлежит тем удивительным женщинам, перешагнувшим сорокалетний порог. Пожалуй, за напускной развязностью может скрываться материнская забота, принимаемая самой Эллой за слабость. Я крепче прижал к себе поэтессу, ее реснички, словно паучьи лапки, щекотали мою щеку. От порывов сильнее ветра скрипела дверь. Послышались уверенные, словно мальчик, расчехивший манту, шаги по снегу. Мы замерли в напряжении, снедаемые неизвестностью. Свистящее дыхание Одинцовой закладывало левое ухо. Животные инстинкты, присущие нам, были немы. Американский психолог Уолтер Кэннон верно заметил: столкнувшись с чем-то угрожающим, литераторы могут лишь замереть, или бежать, в редких случаях бить; такие вот защитные реакции организма. Входная дверь стала зловеще открываться, не зловеще она открываться и не могла.



## Глава 6

### Интеллектуальный китч

Сражения стихий напоминали первозданный пожар. В ревущем потоке можно было различить пронзительный собачий лай. И треск ломающихся деревьев, что в ледяных лучах полярной звезды покидали мир живых, заставил непроизвольно воскликнуть: божечки! Полночный ветер в сгустившейся мгле являл собою образ неподвластной нянечки, от которой нету спасения, от которой нету защиты, ненавистный горошек иль кукурузу, кому как не нравится, дело вкуса, нянечка насильно впихнет. Осиротелый дух, трепещущий за дверьми писательской гостиницы, кашлянул. И кашель его, что разнесся по улице безлунной, заставил пронзительно воскричать коллегу мою, Эллу Одинцову: ооооо! А уж Константина Алтаева и подавно, схватившегося за сердце, крикнуть уткой. Телефонный фонарик поэтессы прекрасным образом освещал данную нелюбезную сцену. Алтаев, поддавшись этому сильному, словно пивной напиток «Охота», страху, оседал на пол. В мутном дверном стекле показался угрожающий силуэт. И будь то силуэт котенка, он все равно не растерял бы признаки угрозы. Ибо в сложившейся обстановке, когда утрачена связь, вышибло пробки, а тело служащей дамы безвольной марионеткой – вот оно. Мы замерли в шаге от, казалось бы, неслыханной дикости. Дикости, подобной той, когда скифы и азиаты с раскосыми глазами, для которых век есть всего лишь час, встретились с нашими предками. Впрочем, допускал я, у меня тоже глаза узковаты, а дедушка по маминой линии был монголом. Вздор, сие от них не зависит, скажет читатель, принакрывшись пледом, читая с замиранием сердца о приключениях литераторов, застигнутых страшным бураном. Тем временем дверь отворилась, а мы перестали дышать.

То был гражданин в черном шотландском берете. В руках он держал невообразимых размеров фонарь-прожектор, осветивший добрую половину фойе. Обезумевшие глаза его, бирюзовые, глядели осоловело на нас, писателей земли русской. Клетчатый, бордово-зеленый шерстяной шарф, желтая Аляска, куцый мех на капюшоне. И безгранично талантливые усы, покрытые превосходным инеем. Усы его, позвольте такое сравнение, были соломенными усами пограничника, левый ус указывал путь на восток, а правый, соответственно, на запад. Его рыжие унты, теплые сапоги мехом наружу, привлекли мое внимание, до чего стильно. – Меня зовут Виктор, я сторож, мы жили здесь продолжительное время с моей супругой Лизой, пока она не уехала к матери, не пугайтесь, – сказал он, покашляв в свой кулачище. Алтаев рассмеялся, он больше не держался за сердце, спросил: Виктор, а что со светом? Элла подошла к сторожу вплотную, кажется, готовая броситься на того с объятиями. – У нас вопиющий случай убийства, спасите нас немедленно, – зачастила она. И все-таки бросилась на несчастного сторожа с объятиями. Тот сконфуженно произнес: так пробки повышибало, теперь в подвал нужно, генератор запускать. Свет фонаря-прожектора плясал. Я не выдержал и подал голос: в общем-то, не произошло ничего необычного, кто-то укокошил Ольгу Глебски, полагаю, в деле замешаны хулиганы. – Полагает он, еще с буйнопомешанным не хватало делить ночь, – совершенно некультурно сказал Константин. Коллега-писатель оторвал прильнувшую к груди Виктора Одинцову. Произнес: Элла, не надо вот этого, вы сейчас человека с ума сведете, можно ли заказать такси, чтобы нас увезли сию же минуту, телефон стационарный работает? – Боюсь, это невозможно, все подступы занесло снегом, а единственный стационарный телефон вторую неделю отключен, – совершенно расстроил нас Виктор.

Я же в тот момент подумал вот о чем. И мировые войны, наркомания, безработица были совершенно безразличны в сравнении с вопросом, а почему же мне уже вторые сутки не звонит матушка. Ведь всегда, запомни, дорогой читатель, всегда, где-то далеко, где падал туман, там обязательно веет пением наших мам. – Господа, как же прискорбно, моя милая мать наверняка

ждет вестей, а я не в силах ей звякнуть, какой непорядок, непорядок, – трогательно сказал. Но меня никто не слушал. Раздавались обиженные восклицания Одинцовой: как замело, дайте мне лопату, я сама выкопаю нам путь, я немедленно желаю покинуть это место! – Поймите, лопату найдем, но если даже вы начнете копать сейчас, то к завтрашнему полудню окажетесь лишь на шоссе, а в такое время там ни машин, ни людей, – объяснял сторож. – В таком случае мы все будем копать, а на шоссе разожжем костер, нас должны заметить с вертолета, – рассуждал Константин. О бедной Ольге Глебски, кажется, все позабыли. – Я не хотел вам говорить, но рядом лес, а вчера возле нашей территории видели стаю волков, этот поход крайне небезопасен, – говорил Виктор. – И что же вы предлагаете, запустить генератор, а как быть с убийцей, он среди нас, может быть, это официант? – Элла ходила вдоль стойки регистрации, на которой лежал фонарь и светил на стену. – Исключено, весь персонал уехал сегодня, как только объявили о надвигающемся циклоне, – сторож расстегнул Аляску. Под нею обнаружилась премиальный зеленый свитер со снеговиками. – А как же родственники, наши родственники должны забеспокоиться через какое-то время, – Алтаев предполагал. – У меня только бывший муж, а еще соседка, которая присматривает за морскими свинками, – Элла закурила тонкую, коричневую сигаретку прямо в фойе. – А каков был из себя ваш муж? – спросил я. – Нежный и внимательный, не позволявший мне даже вставать с кровати без разрешения, но я так ненавидела желтые обои в нашей спальне, так ненавидела, они сводили меня с ума, он запрещал их сдирать, – поделилась Одинцова наблюдениями. – И что же, такой своевольник вас бил? – спросил Алтаев. – Да что вы, диктатура сердца, откровенно говоря, он был не кофе, а скорее цикорий, такой же безвредный, – хвасталась Элла.

Мы расположились у стойки регистрации в полутьме, три литератора и сторож. Мы напоминали завсегдатаев бара, хорошо знающих слово наклевать. Виктор неспешно достал из вещмешка белый термос, красные маки на термосе как поцелуйчики красной губной помадой. В шкафчике для служащих, где хранилась посуда, обнаружилось три кружки, крекеры-рыбки. Таежный душистый чай, ягодки, веточки, разлитый по кружкам, вскружил голову. – Мы прошлым летом с женой собирали, какой урожай грибов вышел, вы что, продали столько, что на отпуск в Черногорию хватило, – произнес горделиво сторож. – А я вот на север ездил, – сказал грустно Алтаев. – За впечатлениями для книжек? – развязно молвила Одинцова. – Какое там, на вахту, кушать хотелось, – поспешил пояснить Константин. Помолчали. Вьюга усилилась, где-то на первом этаже стукнула форточка. – Но я видел ваши книжки в магазине, разве вам не хватает? – невинно спросил Виктор. – Извольте, мне скрывать нечего, за свое самое успешное произведение, мы не о допечатках говорим, о первом издании, я получил двадцать тысяч рублей, писал год, – хмыкнув, ответил Алтаев. – Батюшки, какой кошмар, – поразился сторож. Помолчали. – Понимаете, всегда приходится где-то работать, вот полгода назад ездил на вахту на крайний север, по третьему образованию я инженер бурильных установок, – рассказывал коллега. – А я машинист, водил когда-то тепловоз, да, вот где размах, – протянул Виктор, – небось в Новый Уренгой ездили? – Мы с поэтессой внимательно слушали. – О, дальше Нового Уренгоя, существенно дальше, – оживился Константин. Затем допил свой чай, причмокнув. – Невероятнейшие места, а женщины какие, а ноги женщин, мужики там помешаны на женских ногах, – сказал довольно, словно ему вручили сталинскую премию, коллега. Помолчали. – Вообразите, даже памятник на центральной площади, ножки в колготках, в тужельках вот на таком каблуке, – делился своими воспоминаниями он.

Я рассмеялся, отчего-то мне захотелось написать ни много ни мало роман о женских ногах и Константине Алтаеве, нашем современнике, вынужденном горбатиться на севере, дабы прокормить ораву детей. При этом наш современник испытывает некие мистические трудности на этом своем севере. Научная станция, где трудится Константин Алтаев, естественно, отрезанная от мира, подвергается нападению. Кто нападает, не суть важно. В романе должны быть женские ноги, много женских ног. Они, как символ чего-то великого, дарят надежду на то, что завтра произойдет нечто грандиозное и нам продлят выплату пособия еще на полгода. Фонарик-прожектор

в руке сторожа, свет пляшет, чай выпит. – А что все-таки случилось с нашей Оленькой, – перебил мои размышления Виктор. Он зашел за стойку регистрации, подсвечивая, изучал бывшую Глебски. Теперь она была где-то в другой плоскости, теперь там лежала одна оболочка. – Да, похоже, муж нашей Оленьки до нее все-таки добрался, – констатировал сторож. – И вы думаете, что этот муж сейчас где-то в гостинице? – опасливо спросила поэтесса. Она извлекла мерзавчик из кармана своего джинсового платья. Покачивая бедрами, как бы танцуя под завывания ветра. Затем открутила крышечку, прихлопнула мерзавчик легко и непринужденно. Она пила как животное или ребенок, женский алкоголизм оскорбление, быть может, самой природы. – Боюсь даже предположить, мадам, этот уфолог терроризировал нашу Глебски долгое время, бывало, подкарауливал после работы, а развод не давал, – поделился Виктор подробностями жизни Ольги. – Возможно, он сжег все, чему поклонялся, но поклонился тому, что сжигал, я бы так охарактеризовал его гнусный поступок, – произнес глубокомысленно коллега-писатель. Приятное волнение охватило меня, столько сюжетов, искрящих вокруг, столько поводов не искать работу. Изысканно отвечать, еще один роман, вот напишу его, а потом на завод, на рудники, на новое место службы, куда пошлет служба занятости.

– Кто-нибудь желает угоститься джином? – отвлекла от интереснейших размышлений Элла. У меня горели щеки, свой тулуп я усадил на венский стул, свет фонаря, лежащего на стойке регистрации, падал таким образом, что создавалось ощущение: медведь, а не тулуп и венский стул. – Вы похожи на мисс Россию, прибавьте сюда территорию Аляски, получите вы, – неожиданно подарил комплимент поэтессе Константин. – Ах, – томливо произнесла она, – я всего лишь интерпретирую реальность, а не копирую, масштабы, масштабы. – Обстановку располагала к чему-то интимному, например, съезду молодых литераторов, происходящему по обыкновению единожды в году в Липках. Или же к такому интимному, как, скажем, презентация очередной книги о родном крае в районной библиотеке. Однако Виктор нетерпеливо покашлял, вероятно, наши разговорчики порядком ему наскучили. Подобные светские разговорчики могут вызвать у гражданина, не знакомого со спецификой общения людей пишущих, колики в животе. Только так мы и можем утверждать свою власть над гражданами, заставляя страдать, плакать, смеяться. Но знакомиться и знакомиться с нашими текстами, разговорчиками, статейками. – У вас не будет карандаша, меня внезапно посетила важная строчка? – истерично крикнула Одинцова, она сидела на шахматном столике, болтая ножками. Сама же себя перебила: не надо карандаша, у меня телефон. Поэтесса набирала в заметках, проговаривая вслух: экспансия моей любви значай коснулась ваших границ. Я подошел к ней и ободряюще поцеловал в лоб, она игриво произнесла: ой, подлиза, ой, подлиза. Завывающий ветер, напоминал этническую песнь якутов, зов шамана, хлопнула форточка, по полу прокатилась волна ледяного воздуха. Ноги в легких пижамных брючках стремительно покрылись мурашками. Глубоко затягиваюсь электрической сигаретой, обращаюсь к Виктору: давайте спустимся в подвал с вашего позволения, наверно, мы вас утомили, наш ночной портье, наш добрый друг.

Сторож шумно сглотнул, сказав неуверенно: необходимо запустить генератор, а кое-кто хотел выкопать путь на свободу, а лопаты у нас хранятся в инвентарной комнате. Позвякивая увесистой связкой ключей, Виктор поманил нас. Кажется, мужчина несколько боялся писательского общества, мало ли что мы могли выкинуть. Он подвел нас к неприметной металлической двери под лестницей первого корпуса, на которой висел план эвакуации. Элла, пребывая в хорошем настроении, напевала о белых снежинках, что кружатся с утра, также о выросших сугробах посреди двора, напевала. Константин шел позади, держал меня за плечо, чтоб не отбиться от коллектива. Служащий гостиницы попросил поддержать фонарь поэтессу, подсветить замок, однако женщина по нелепой случайности ослепила себя. – Ай-яй-яй, – закричала она. Всполошившийся было сторож, пожурил ее: прекратите паясничать, несерьезно как-то. Я же в очередной раз отметил, какая интересная поэтесса повстречалась. Интересная, словно притча о парикмахере и клиенте. Разго-

ворившись о боге, парикмахер сетует, сколько боли вокруг, унижений и прочих гадств, если бы Он был, Он бы не допустил подобного. Клиент возражает, парикмахеров не существует. Как же не существует, удивляется парикмахер, вот же я, стригу вас. Не существует, гнет свое клиент, иначе не было бы столько заросших и небритых людей вокруг, как вон тот человек на улице. Дело не парикмахерах, восклицает парикмахер, люди сами ко мне не приходят. И этот пронизательный клиент говорит, бог есть, люди не ищут его и не приходят к нему, поэтому так много страданий и гадств.

Наконец дверь открылась. – Доброе утро, страна, – официальным тоном, тоном Александра Фадеева, литературного министра, сказал Алтаев. Луч осветил узкие ступени длинной лестницы, конца которой не было видно. Пахнуло затхлыми соцветиями подвальных цветов, подгнившей древесинной, мокрой собачьей шерстью. Настроенные на сомнительные авантюры, мы жаждали поскорее очутиться в данных удивительных катакомбах. Поэтесса, ухнув, едва не упала. Ее поддержал Константин, бросив шутивное: пошли спотыкаться и падать кони и лететь через их головы ляхи. – Что вы, у меня мозжечок работает прекрасным образом, никуда я не упаду, – кокетничала она, хрипло посмеиваясь. Спускаясь первым, Виктор предостерег: уважаемые постояльцы, попрошу вас никуда не сворачивать, тут сложнейшая система подземных коридоров, она тянется на многие километры и выходит далеко за пределы резиденции. Ступени были скользкие, ледяные перила обжигали ладонь, кричал Алтаев, шагая позади меня, продолжала мурлыкать песенку Одинцова. Стоя у подножия лестницы, я заметил некоторые странности. Метрах в десяти от нас угрожающе булькала кислотно-зеленая лужа. Тусклый свет, как в ночном клубе, где собралась потанцевать молодежь, падал на потемневшую от времени кирпичную стену. Пузырьки на глади киселя напомнили мне бородавки. Однажды в детстве Ольга Морковкина притащила в школу огромную уродливую жабу. Мы все, влекомые интересом к животному миру, погладили существо. В дальнейшем дерматолог удалял наши бородавки, сетуя на детскую безалаберность. – Мальчики, мне это не нравится, я вызываю поллюцию, – стала заговариваться Элла. Константин сопел где-то рядом, вероятно, от сырости подвала у него заложило нос.

– А это у нас ведьмин студень, поводов для беспокойств нет, – произнес вкрадчиво Виктор. – Что есть ведьмин студень, – азартно спросил я. Мы стояли перед интересной лужей, разглядывая любопытную субстанцию неизвестного происхождения. – Всего лишь коллоидный газ, способный превратить человеческие кости в резиноподобную массу, – ответил тихо сторож. Элла медленно потянулась к студню. Виктор закричал, одернув поэтессу: перестаньте, он проникает через кожу и любую другую органику, металл, дерево, пластик, бетон! – И что же, возможность, возможность не подвергнуться воздействию имеется? – спросил коллега писатель. – Вы знаете, имеется такая возможность, студень бессилен против керамики, – пояснил сторож. – А как аппетитно выглядит, словно киевский торт, словно тархун из моего детства, – произнесла мечтательно поэтесса. – Борис и Аркадий много лет назад разлили, до сих пор не знаем, как избавиться, пойдемте, мы почти на месте, – поторопил нас мужчина-служащий.

Коридор, которым шли мы, напоминал коридоры парижских катакомб. Эта огромная сеть искусственных тоннелей, где хранятся кости шести миллионов граждан, способна вызвать у человека с недюжинным воображением трепет. Милые лягушатники, живущие на останках, решайте что-то с этим вопросом, пожалуйста. На темечко упала тяжелая капля, кротко пискнула мышь, зазвенели оковы. Чье-то тяжелое дыхание, раздающееся откуда-то сверху, навевало мысли об ужасающей судьбе графа Монте-Кристо. Виктор по-прежнему шагал впереди, свет его фонаря освещал склизкие стены, неведомые, фиолетовые водоросли пульсировали. Со сводчатого потолка свисали почерневшие корни растений. По всему вероятно, мы вышли за пределы гостиницы. Холодная ладонь Алтаева, теплая ладонь Эллы, ширина коридора позволяла идти нам, держась за ручки. С каждым шагом в подошву моих белых тапочек впивались острые камешки, достав-

ляя дискомфорт. Сырой воздух нравился чрезвычайно. – Вы ведете нас куда-то не туда, – сказал неуверенно Константин. Коллега был все-таки писателем, поэтому на любое явление, событие у него имелось собственное мнение. Метрах в трех от нас показалась развилка, молчаливый сторож свернул налево, мы вынужденно следовали за ним. Впрочем, Элла предприняла попытку поступить по-своему, поэтессам свойственен юношеский максимализм. Я крепко держал ее за руку, пойти направо женщине не удалось. Спустя шагов тридцать фонарик осветил красную деревянную дверь. Я ошибочно предположил, что за нею нас ожидает очередная, как это водится в страшных подвалах, виллюйская колония прокаженных, куда якуты ссылали пораженных эпидемией проказы граждан.

Вопреки расхожему мнению, в комнате пахло вовсе не тем, чем должно пахнуть в жутких подземельях, сероводородом, копытами и кровью. Но пахло медицинскими делами, лекарствами, нашатырным спиртом. Подвальная комната была как бы противопоставлена чердаку, месту, где любили собираться наши химкинские поэты, божемные граждане, предпочитающие абсент и спиритические сеансы дешевой водке и Грушинскому фестивалю. Семантика подвальной комнаты показалась мне интересной, несмотря на предрассудки, коими страдал Токарев. Допустим, что подземные пространства являются обителью исключительно темных сил. Литератор припомнил наших родненьких староверов. Полагающих, в обетованную землю Беловодье ведут именно подземные ходы под горными системами Алтая, Саян, Гималаев. И невольно избавился от предрассудков. Сторож, пыхтя от усилий, завел синий генератор. Загудели лампы, зажглись. И нашим взорам была явлена крайне странная картина, способная озадачить даже таких великих биологов, как Сеченов, Вернадский, Мечников. – Божечки, мозг! – воскликнула поэтесса. Коллега-писатель ничего не воскликнул, он схватился за сердце и стал оседать на желтоватый кафельный пол. В уголке, заставленном аппаратурой, имеющей поразительной сходство с радиостанциями, осциллографами, серыми приборами, измеряющими плотность газа, радиоактивный фон, температуру. В большой колбе с толстым зеленоватым стеклом плавал мозг, лопались пузырьки, меланхолично бурлил раствор. Размеры мозга были поистине выдающиеся. Любопытно, подобно печени, способен ли мозг увеличиваться в связи со злоупотреблением информацией. Каждый второй мой знакомый мог похвастаться увеличенной печенью, правда, они все чаще не хвастались этим, скорее, плакались. Толстые кабели, напоминающие черных змей мамб, тянулись к самому потолку. – А чего это он, свет же отключили, – поняв, что валять дурака нет смысла, произнес Алтаев. – Отдельный генератор, вообще, эта штука, мне кажется, вечная какая-то, насколько знаю, она появилась еще в шестидесятых тут, – сторож пригладил свои соломенные усы, снял шотландский берет. Аккуратная лысина, окаймленная кустами рыжих волос, напоминала озеро.

– А зачем он тут, для какой такой цели, ни сном ни духом, сколько лет он тут булькает, – продолжил Виктор. – Позвольте предположить, для эстетики, – дал свою оценку происходящему Константин. Мы с поэтессой одобрительно покивали головами, теория была весьма состоятельной. На длинном лабораторном столе, где стояли приборы, я приметил песочные часы, песок стекал вниз еле заметной струйкой. – Не ограничивать контингент собственных мыслей какими-то рамками, что ли, – задумчиво сказал Алтаев. Одинцова достала очередной мерзавчик из кармана своего джинсового платья, пригубила. Лучи фиолетового света, падая на ее пепельные короткие волосы, окрашивали голову Эллы в розовый. Болотная канистра с бензином у генератора, стены, выкрашенные в лимонный цвет. – Теперь можно идти за лопатами в инвентарную комнату, господи, – сказал сторож, позвякивая своими ключами. – Нетушки, давайте разберемся в данном вопросе, зачем тут этот мозг? – произнесла женщина, оттопырив обиженно нижнюю губу. Алтаев, подойдя к внушительному органу, легонько постучал по колбе. – Сейчас же прекратите, это запрещено делать! – закричал испуганно Виктор, взяв коллегу-писателя под локоть. Тот вырвался, раздраженно сказав: но-но, не надо меня трогать. – Мальчики, не деритесь, Виктор, скажите, этот

мозг может быть замешан в убийстве Ольги Глебски? – задала хорошенький вопрос Одинцова. – Исключено, в убийстве Ольги Глебски замешан ее муж, не давший бедняжке развода, – ответил категорично сторож. Меня же стала одолевать сонливость, вероятно, упал уровень сахара в крови. Зевнув, едва не проглотил присутствующих в комнате сограждан. И в голову полезли озорные мысли о предстоящей повести.

Никаких настоящих имен, Константин у меня будет каким-нибудь Михаэлем, или же Генрихом, пожалуй, Генрихом. Необходимо несколько поперчить грядущий рассказ. Допустим, Генрих был рожден от пленного немца, который некогда занимался научной деятельностью, смежной с оккультными делишками в лаборатории на крайнем севере. Там же обнаружили нечто, способное разрушить многие семьи, образно выражаясь. Писатели-фантасты только и могут, что образно выражаться. А повесть, посвященная парню, нашедшему загадочные письма и дневники своего отца, должна быть, безусловно, фантастической, размышлял я. Однако женские ноги, не стоит о них забывать, иными словами, женские ноги станут символом некоего всеобщего спасения. Крайне удачно, мне кажется, выбрано место действия, дальний север, ничья земля, заполярный круг. Ведь именно там происходят поистине удивительные события, будоражащие воображение культурных читателей, там живут белые медведи, россомахи, морской котик, бог ты мой, морской котик. Герои повествования оказываются помещены в такие обстоятельства, что их политические воззрения перестают иметь смысл. Необходимо также добавить драматизма, какого-то драматизма. Юноша Генрих, сын пленного немца, страдает игровой зависимостью, молодой человек не в состоянии пройти мимо одноруких бандитов. А в ближайшем населенном пункте, куда отправляется Генрих за помощью, он встречает игорный зал, где знакомится с неопрятным гражданином, имеющим облик Федора Достоевского и поразительный дар провидца. Хорошо, подумал я, как бы не забыть эти замечательные подробности, может, подняться в номер, Токарев. Поднимись, чего ты. Я не совсем знал, сколько у меня времени, близилось лето, летом работать над текстами сложнее. Я стоял накануне двадцати восьми лет. Постоял там некоторое время, потом обратился к Виктору и остальным, горячо рассуждающим о том, где лучше начинать копать, чтобы к завтрашнему полудню оказаться на шоссе: ладно, пойду я, пирожочки, к себе в апартаменты, надо бы чего-нибудь сочинить, а перед этим посетить столовую, ужин мы пропустили, быть может, буфетчица смилостивилась и оставила нам сухофрукты. Нужная этому обществу, как синие рыночные весы «Тюмень», литература требовала не много. Необходимо сесть за писательскую конторку, нахлебаться кофе, да приготовить себя, как рождественскую свинью на рождество. Я вышел в подвальный коридор, сказав на прощанье: гранд мерси, коллеги, увидимся на той стороне.

Юрий ГУДУМАК

ЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ДОЖДЛИВОЙ ГОРЫ /  
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ В СЕРЫЙ ЗИМНИЙ  
ТРЕХСОТШЕСТИДЕСЯТИГРАДУСНЫЙ  
ИММЕРСИВНЫЙ МОНОХРОМ

**Наветренный склон Дождливой  
являет собой подветренный**

Очевидное не мешает тому,  
что, осторожничая, я начинаю думать,  
будто в этой местности, – каковая, не забыть бы,  
имеет склонность\* (\*ср.: греческое *klima*, наклон)  
до поры до времени запропащаться внутрь  
арктического круга, или, что то же,  
в круг арктического солнца, –  
будто в этой местности зацветает не оно, а другое солнце –  
подобно экваториальному восходящее до зенита,  
и ошибка в определении местоположения простирается  
на сколько-то градусов географической широты,  
являя противоположную крайность климата.

Раскаленные буравчики его отвесных прямых лучей,  
пылающе-огненный цвет его палящей стихии...  
и, того не менее, – сахарские летучие  
радужники-пески полуоблетевшей розы ветров  
как средостение внешних\* (\*экзогенных) процессов:  
что наметила вода, то dokonчит ветер.

Многоразличный характер поверхности,  
распределенной по градиентам, стянутой потенциалами,  
отмеченной порогами, и не иначе, если не так, влияющей  
на отсутствие, присутствие и географическую дистрибуцию  
элементов живой природы и неживой,  
на распределение света и, как будет показано,  
на позицию наблюдателя\* (\*а не только наоборот).

---

Юрий Гудумак родился в молдавском селе Яблona в 1964 году. Окончил геолого-географический факультет Одесского университета, работал в Институте экологии и географии Академии наук Молдавии. Автор восьми поэтических книг. Лауреат премии Союза писателей Молдовы (2012). Стихи публиковались в изданиях «Новое литературное обозрение», TextOnly, «Воздух», «Цирк "Олимп" + TV», «L5», «Флаги», «Волга», «Новая Юность», «Новый Берег», «Литература», «Артикуляция», и мн. др., переводились на английский и румынский языки.



Словом, кратко сказать, –  
навстречный склон Дождливой,  
который являет собой подветренный:  
по нему стекают одни лишь потоки воздуха.

При обширности горизонта в необъятной дали,  
и к западу от меньшего, чем на закате, солнца,  
последнее показывается в окружении дымчатого гало –  
будто это дождь, ослабевший до равномерной измороси,  
которая продолжится в течение большей части  
жаркого и сухого лета:

когда высокая, в тысячу шагов, гора  
по-прежнему зовется Дождливой,  
но сверх ста метров вертикального поднятия,  
от ее основания до вершины, на таком отдалении обретает вид  
гигантского куполообразного морока холмистой страны –  
самых нежных и полупрозрачных тонов  
слоистой палево-желтой глины  
с прослойками и желваками  
пепельно-голубой.

### ***Adonis vernalis*: акварельный гербарий Дождливой горы**

Дождя не было уже много дней,  
и на месте Дождливой – а Дождливая – да? –  
не может обрести своего подлинного облика  
иначе как открываясь в субстанции дождя –  
я вижу ее гипногенный контур.  
Ее феномены если не изоморфизма, то изотопии –  
наилучший способ сказать о вариабельной сущности местности,  
достаточный для того, чтобы решить,  
приемлемо ли здесь  
понятие местности как ряда местностей,  
могущих быть отдаленными только во времени,  
в качестве приближения.

Раз сложившись  
как новая онтология,  
связанная с моим присутствием,  
зыбким движением цветковых поверхностей,  
хроматическим, как после внезапного июньского ливня,  
великолепием ярких опиумных видений,  
Дождливая остается Дождливой и тогда,  
когда сезонное преобразование  
изменяет свободные  
чувственно воспринимаемые материи природы –  
перцептивные постоянные\* (\*форму, расстояние, цвет...),



так что кажется, что я имею дело  
с другой Дождливой:

Дождливой;  
Дождливой,  
которую делает видимой дождь;  
Дождливой, которая называется так,  
хотя по склонам ее стекают  
одни лишь потоки воздуха.

Общий аспект растительности  
давно уже желто-бурым теплых и жарких  
семиаридных и аридных состояний погоды,  
фокусирующих солнечные лучи уже не куском хрустала,  
а металлическим зеркалом,  
и – насколько же более это так –  
покоящихся на учении о мутных средах...

Перераспределения, сдвиги, зияния и купюры.

И то, что могло возникнуть, но так и не проявилось,  
соотносит Дождливую с той же Дождливой  
на предмет взаимного  
искажения, перемещения, замещения,  
как если бы над этой последней  
пронесся смерч.

Разве что точка тела  
минимизирует дисперсию данных,  
касающихся избытка света, ознобления и бессонницы.

Колючки Дождливой и ее разреженные криволеся  
стали еще кривее и сучковатее, каковыми они бывают  
произрастая на солнце и на ветру, –  
источая смолы,  
безвкусные, мутные, водянистые  
ввиду придающей им эти свойства  
бессолнечной и сырой погоды,  
а теперь опаловыми медовыми карамельками  
свертывающиеся в камедь.

У солнцегляда  
уже сейчас едкий сок меланхолии, у горькой полыни –  
присущий ей цвет: седой.

Чистотел же выглядит так,  
будто дождь продолжает лить  
и в зеленый синит из желтого,  
превращает адонис в акварельный гербарий.

### Гора-метеор: Дождливая в августе

Ориентированная изначально на известные оро- и гидрографические рубежи, пространственная конфигурация Дождливой в действительности объясняется через установление границ дождя.

Это слишком сильное утверждение.

Тем не менее именно в границах дождя название горы и ее облик совпадают: водомоины и рытвины превращаются в говорливые, плещущие через край ручьи, и Дождливая растекается слизнем, ускользящим по одной из своих бесчисленных козых тропок.

Дождливую делает видимой дождь.

И если бы не климатическая инверсия мест\*

(\*плохой / хороший сезон – единственное подобие их перемены), гора-метеор, по склонам которой стекают одни лишь потоки воздуха, и долее оставалась бы в неизвестности:

таковы омывающие, смягчающие или поглощающие контур той же Дождливой сухие и дымообразные испарения, смурая мгла или простирающаяся до горизонта беспредельность, то голубая, то, чаще, иссера-голубая.

Это кажется очевидным

и не является таковым:

тысячу раз виденное в собственных снах в конце концов обнаруживается как довод в пользу того, что даже вдоль и поперек исхоженная территория в некоторых точках может таить, в плане пространственной геометрии, невообразимое – поражающий своей симметрической связью с Дождливой, но едва различимый на отдалении почти в полградуса географической широты, куполовершинный глипт, парящий над дальней периферией.

Ее, Дождливой,

атмосферное отражение?

Фантомный двойник? Блуждающая гора-призрак?

Что да, то да, в противном случае мы не были бы поэтами.

Одновременно ясно: одно не противоречит другому,

и перед нами объект орографии,

вполне реальный ее референт.

Сопоставив по топокартам,  
картам рельефа и гугловским космическим ортофото  
все возможные и все невозможные конфигурации  
углов превышений, векторных направлений и расстояний,  
мне удалось-таки из пары десятков имевшихся вариантов  
определить, что это, в сущности, за объект.  
Оказалось, гора находится на расстоянии  
сорока четырех километров от места,  
где я стою.

Но самое удивительное заключается в том,  
что такой ее можно видеть только отсюда,  
и как в эти счастливые ясные дни.

Иными словами –  
в том именно виде,  
в каком ее мог наблюдать приложившийся к предкам  
лишенный аспекта брэнности призрак движения,  
наш загадочный концептуальный персонаж.

Потому-то, в ментальном плане, да,  
она больше принадлежит нам,  
чем месту, на котором расположена.  
А по сути – в процессе перемещения  
ментального плана на топографический уровень  
продолжает влиять на нас неизвестным образом.  
(\*Примечательный знак / Астериск: «Именно через проекцию  
мы располагаем в теле, к примеру, боль».)

В соответствии с понятием геометрии,  
симметрия образуется посредством сопоставления фигур  
с их зеркальными отображениями.  
В катоптрическом характере их взаимоотображения  
Дождливая амальгамируется со своим фантомом –  
Дождливой´ (штрих), а Дождливая´ (штрих) – с Дождливой.  
Благодаря такому явлению, как земная рефракция,  
связь между ними впервые становится доступной  
выражению в четких терминах.

В качестве показателя преломления\*  
(\*оптически неоднородной среды)  
связь между ними состоит в сложной зависимости  
от температуры, давления и влажности атмосферы,  
а также от степени сложности и дифференцированности  
топографии предлежащей местности:  
густоты гидрографической сети,  
соотношения площадей междуречий и долин,  
плоских и склоновых поверхностей,

типов растительного и почвенного покрова,  
в целом – линейных размеров  
и ориентации ландшафтных контуров.

Расстояние между ними –  
ближней полупериферией и дальней периферией,  
Дождливой и другой Дождливой, Дождливой´ (штрих) –  
становится равным миру.

С любого противоположного края  
каждая из Дождливых выглядит  
как ее итерация, как ее фантом –  
верхушка двояковыпуклой чечевицы,  
когда она из воздушной становится водяной.  
Ведь чего-чего, а едва ли следовало ожидать обратного:

воздух, сгущенный в отдалении,  
приобретает свойство зеркальности, как вода;  
как и в воде, в нем растворяются тела,  
состоящие из земли.

Знойное марево августа –  
обожженная глина, известь... смирна, ладан, камедь –  
инвертирует псевдо-Аристотелево  
«в человеке больше земли, чем дыма»  
в противоположное.

Не претерпевая, так сказать,  
изменения местоположения, –  
подобно тому как не меняя места, Дождливая  
меняет горизонт, но как раз потому, что она не меняет места,  
этот горизонт ее, –  
чувствуешь себя предыдущим жителем,  
перемещенным с нажитых мест,  
либо попросту уничтоженным тутошней географией.  
Производный феномен, связанный с нашим присутствием?  
Не иначе, если не так.

...И когда присутствие это  
по макушку погрузилось  
в дающий зеркальное отражение слой воздуха  
и в таком амальгамированно-анаморфированном  
и десубъективированном виде было похоже скорее на собаку,  
чем на скрюченного уродца,  
гора-метеор, появившись  
над пепельной полосой далеко на юге,  
в результате рефракции явила взору  
эллиптический полный диск  
и, вскоре утратив приплюснутую форму,  
стала быстро подниматься прямо к зениту.

### **Обратная сторона Дождливой: ни жива ни мертва**

Как живем, куда ходим, чего видим –  
об этом можно предположить  
уже по той или иной  
последовательности или выборке фотографий.  
Но до чего же непрост ландшафт, если, всего ничего пути,  
в каких-нибудь двух километрах от дома  
оставляет у нас впечатление  
безлюдной и отдаленной местности:  
тропами, диссоциирующими на несколько разнонаправленных,  
самый суровый из возможных в нежное время года  
устремляется куда-то в сгиб осенней  
геоморфологии, ее осенней кинематики,  
осеннего головоломного геометрического хода конем –  
как если бы обычный план сменялся вдруг планом сверху  
и представлял собой чуть ли не ортофото  
с его неодолимой красотой на фоне  
старых техногенных структур.

Это юго-восточный террасированный склон Дождливой,  
рельеф которого и без того выразителен и пластичен,  
но, кажется, приобретает еще больший эффект,  
будучи подвергнут, как сказали бы мы теперь,  
модному шрамированию.

Как полагал поэт-ветеран,  
а в этом он не был и не мог быть одинок,  
не существует теории, которая не являлась бы  
эпизодом некоей автобиографии.  
Система Дождливой горы? Почему нет.  
Но картина могла бы называться и по-другому:  
Система Дождливой горы / Понимай, как хочешь.

Таковой представляется, ни жива ни мертва,  
одна из самых пустынных яблонских местностей.  
Что ни говори, а в счет идет то обстоятельство,  
что это обратная сторона Дождливой.  
Во-первых, подветренная и, как следствие,  
получающая меньше атмосферных осадков;  
во-вторых, обращенная к югу и, потому,  
припекаемая полуденным солнцем.  
Но вот что удивительно.  
Закономерности, приложимые  
к географии больших пространств регионов и континентов,  
сказываются здесь на столь крохотном расстоянии...  
при столь незначительных перепадах высот...

Совершенно ясно, впрочем,  
что относительно данного места

открытием упиваюсь исключительно я один, коль скоро  
само название Дождливая дано горе мной  
и в обретенном поэтическом смысле  
обратная сторона Дождливой  
не может не быть пустыней.

Обратная сторона Дождливой...  
где о Дождливой напоминают  
разве что следы дождевых потоков,  
эрозионные смывы, высохшие ключи.  
И акации, сворачивающие  
в сухую и жаркую погоду свои тонкоперистые листья,  
являют местный, привычный уже вариант  
экзотических травовидных мимоз  
совершенно обратно тому,  
как молочаи развивают наивный вкус  
к экзотике далеких стран жаркого пояса,  
где они становятся древовидными.

Жухлый морок  
как один из роскошнейших идеалов,  
из разряда тех, что являют лишенные фокуса дали.  
Или – как длинная-предлинная осень, до того, что кажется,  
будто она только теперь по-настоящему и начинается.  
Но хватит ли места на карте памяти?

Хм... карте памяти, забитой под завязку,  
когда, чтобы сделать еще хоть пару осенних кадров,  
приходится удалять столько же из весенних.

Никогда не хватит.

### **Ребро, путь, узел, вершина**

Ребро, путь, узел, вершина –  
как первичные термины теории графов.  
Соотнести их с реальным географическим объектом –  
все равно что запечатлеть в памяти точно и без усилий.  
Но тот или иной холм еще не сама Дождливая.

В прямоугольной разверстке розы ветров  
сама-то гора предстает как серия / ряд  
предлежащих местностей –  
как если бы каждую из Дождливых можно было соотнести  
с другой, исходя из разделяющего их расстояния,  
калька за калькой, лист за листом:

Дождливая;  
Дождливая,

которую делает видимой дождь;  
Дождливая, которая называется так,  
хотя по склонам ее стекают  
одни лишь потоки воздуха.

Даже с ее подветренной стороны  
видны явления дефляции и денудации –  
что-то от осени и от следующего за осенью,  
насколько же более это так,  
великого обнажения зимы.

Но хватит обобщений.

Там, где цвета у границ  
на карте должны бы меняться резко,  
на голубоватых листах пространства, чувствительных  
ко всякой влаге и к перемене погоды, как крыло голубянки,  
коричневатый штрих террасовидных горизонталей,  
с кривизной, изменяющейся от точки к точке,  
приобретает оттенок пепельно-голубой /  
серовато-лазурный  
уклоняющихся в ту и другую сторону  
линий равной осенней температуры:

не столько границ различно окрашенных поверхностей,  
сколько гораздо более отвлеченного толка понятий,  
составленных из границ.

### **Локализовать Дождливую**

Зеленый по-прежнему преобладает  
монохроматическим составляющим белого света.  
А после вчерашнего теплого ливня еще и поднаторел  
в своем нежелании принимать оттенки другого времени года.  
И надо еще постараться, чтобы выбрать вид,  
который был бы полон осенних далей, –  
локализовать Дождливую, определить ее к месту,  
представить себе движения, которые надо совершить,  
чтобы ее достигнуть.

Слишком уж ясно, что это  
сложное распределение температур  
в охлаждающемся теле. Что это попытка тела  
прийти в состояние теплового равновесия с новой средой.  
Что это капельножидкая вода дождя и росы...  
прошедшие через движущийся воздух и воду  
интерферирующие лучи.

Не столько их геометрическое место,  
место точек, в которых осенний эфир  
не то постоянно уничтожается,  
не то подвергается кручению совершенно особого рода,  
сколько сами особенности некоторых состояний эфира,  
конденсированный эфир, представляют собой, по большому счету,  
материю Дождливой горы.

Это родство, это подобие, этот параллелизм  
простирается вплоть до мельчайших подробностей,  
когда ориентированная изначально  
на известные оро- и гидрографические рубежи  
пространственная конфигурация Дождливой  
в действительности объясняется  
через установление границ дождя;  
когда в границах дождя –  
как нельзя более точно –  
название горы и ее облик совпадают;  
когда Дождливую делает видимой дождь.

### **Наша идея тождества**

За быстрыми турбулентными  
перемещениями масс воздуха  
и оптическими возмущениями, вызванными  
чем-то вроде крючкообразных атомов Эпикура,  
последовало образование большой черной тучи,  
пролившейся несколькими каплями дождя,  
и Дождливая, многократно преобразуясь –  
времена года, погода, фон..., –  
на мгновение стала Дождливой,  
напомнив о присущей вечным объектам  
реляционной сущности –  
реляционной сущности, которая определяет,  
как возможно вхождение объекта в действительное явление:  
когда в границах дождя название горы  
и ее облик совпадают.

Приращение циклонической субстанции –  
вот факт, доминирующий  
над всей морфометрией Дождливой,  
этой сложной географической поверхности,  
представляющей собой геоморфологический цоколь,  
на котором становятся возможными различные конфигурации:  
словно Дождливую опоясывают, словно ее опутывают  
не просто горизонтали, а герменевтические круги,  
а таинственные лабиринтообразные конфигурации  
изотерм, изоневф, изогон, изоанемон,



коррелирующих с ними изогийет,  
благодаря которым Дождливая обретает  
интегративные гештальтоподобные свойства.

Изучаемую территорию – не к чему говорить –  
имеет смысл деформировать при картировании  
с учетом происходящей на ней  
деятельности циклонов.

Тому есть множество очевидных причин.

Так,  
если ясная безоблачная погода обеспечивает  
в хорошо освещенных утрах трансмиссию контура,  
то вихреобразная форма атлантической бури,  
обрушивая о наветренный склон Дождливой  
бессчетный циклонический призрак свой,  
влечет за собой бесконечное смещение его эффектов,  
подвергает его кумулятивным модификациям,  
превращает линию контура  
в кривую нормального распределения ошибки  
или, что то же, придает ему обманчивую мягкость  
и прелесть очертаний.

Таковы омывающие, смягчающие  
или поглощающие контур той же Дождливой  
сухие и дымообразные испарения, смурая мгла  
или простирающаяся до горизонта беспредельность,  
то голубая, то, чаще, иссера-голубая и усеянная  
глиптами голубых фантомов.

Такова пелена дождя.

Слишком слабая, то есть малая  
с точки зрения плотности точечной структуры –  
особых точек, воспринимаемых здесь и сейчас  
в состоянии, близком ко сну,  
шепоту, забвению, опьянению,  
пелена дождя – мелкий холодный ситник,  
в мгновение ока заштрихованный в косохлест, –  
на десятую долю секунды не обнаруживает  
ни перерыва, ни изменения:

ничего, чего не было бы в пейзаже,  
в котором Дождливая, не образуемая ничем иным,  
кроме ее отношений, став Дождливой,  
служит источником нашей идеи тождества.

**Даже когда Дождливая не гора,  
а метеорологический феномен**

Даже когда Дождливая не гора,  
а метеорологический феномен, Дождливая – тело,  
модифицирующее наше тело: когда наше тело не образует  
самостоятельного тела и пребывать в субстанции дождя –  
его привилегия быть инкорпорированным в эту реальность.  
Следствие: степень реальности, которой оно обладает,  
зависит от того, которые сутки идет дождь.

Зримый облик иммунной системы  
уже постфактум следовало бы понимать как больше, чем тело,  
имеющий отношение к душе, потому что многое, если не все,  
зависит от упомянутых топографических условий,  
в своей пятикратной метаморфозе  
предстоящих в виде облака, ветра, дождя, радуги и росы.  
Потому что многое, если не все, причиненное болезнью, –  
ничто, по сравнению с создаваемым ею иммунитетом:

мумифицированное солнцем,  
окрашенное охрой и красным железняком,  
окуренное черным шнурком медуничных листьев  
впечатление осени с его непространственной локализацией,  
или, лучше сказать, пространство которого  
утрачивает свои горизонты.

Мгновение, сыплющееся, как песок,  
семенами осенних трав, – голыми, не имеющими  
летательного аппарата, как плодики кленовой летучки, –  
ни папруса, ни крыла, что к твоим покрытым  
пятьюдесятью шестью ранами пятидесяти шести,  
добавляет цветок репейника –

впоследствии гербаризированный цветок репейника,  
однажды уже напомнивший об этих краях  
как цветок репейника, колючки которого  
загнуты наподобие крючков.

А так –  
подобно тому как вирус уносит фрагменты РНК  
своего хозяина и помещает их в новые клетки,  
увлекаемый ветром лист успел превратиться в чешуекрылое –  
перелетную бабочку; равно как затишье осенних бурь –  
в шелковистый пух семяющей льнянки,  
крылатые, с хохолком, семена кипрея,  
пылевидные семена орхидных.

### Логическая география Дождливой горы

Только в границах дождя  
название Дождливой и ее облик совпадают,  
становятся изоморфными, как теория и карта,  
формируют и развивают географическую действительность,  
которую я хочу понять.

В противоположном случае  
одно кажущимся образом противоречит другому:  
меняется цвет горы, ее контур, ориентация, объем, глубина,  
в конце концов – горизонт.

Нет причин,  
почему это могло бы быть иначе,  
но, обусловленные сменой времен года, состояний погоды  
и атмосферного хроматизма,  
факторы актуализации  
пространственного облика Дождливой горы  
и в самом деле похожи на переменную расстояния,  
с которого я Дождливую наблюдаю.  
С той знаменательной разницей,  
что перемещается здесь не столько тело,  
сколько оси и точки, с которым его соотносят.

Топология имманентных модусов местопребывания  
в непосредственной близости от Дождливой горы.  
В виду Дождливой горы мы все время находимся:

около летнего солнцеворота –  
высвобождающего материю нового неба  
из огненных солнц, эфирных потоков  
и тонких цветочных эссенций;

перед восходом Пса – с примесью в воздухе  
аравийской камеди и сахарского радужника-песка;

...или в период бурь осеннего равноденствия –  
когда Дождливая становится манифестацией  
принципа тождества и своего собственного явления:  
обнаруживает свой термин и объект  
в субстанции дождя.

Историю ее, Дождливой горы, логической географии  
можно рассматривать как систематическое развитие  
принципа тождества\* (\*A = A).  
Которое, в общем-то говоря,  
есть не что иное, как систематическое развитие  
методологического принципа экономии мышления

и, как следствие, всепобеждающего стиля экономии слов.  
А значит – самого малого, что можно было бы сказать  
о Дожливой.

Скорее метеорологическое соответствие,  
чем точная дата. Но что это,  
как не трансgressирующая  
летне-осенняя / осенняя / позднеосенняя аутентика,  
преодолевающая все и вся, потому что за ней весна?  
Будто это всего-навсего рассеивается пасмурная погода,  
и в настоящее время нельзя желать лучшей.

### **Уходя не дальше, чем позволяют просторы Яблони**

Безумно печальный пасмурный день,  
не обещавший будто бы ничего похожего,  
и речь только о световом ощущении  
и более ни о чем.

Серовато-лазурную /  
пепельно-голубую судорогу глазной мышцы,  
транскрибированную в красоту осеннего света,  
можно сравнить разве что с красотой такового  
в утренние или вечерние часы,  
да и то с гигантскими оговорками.  
В целом же, это, конечно, дело не изъяснения  
или рассуждения, а ощущения встречи на поддороге.  
Когда свет падает косо и выступают горы.

Не что иное, как только то,  
что я нахожу, уходя не дальше,  
чем позволяют просторы Яблони,  
если говорить вывернутым языком.  
На языке же цифр это каких-нибудь пара-тройка километров –  
отдаленный намек на ту же мысль еще в окраске Махова  
понимания о явлениях, аналогичных тому,  
как перекачивается по кругу большого радиуса  
конус, немногим отличающийся от цилиндра.  
Фича, она же чича,  
в очередной раз репрезентирующая  
неисчерпаемость смыслов.

Наиболее подходящий здесь, разумеется, визуальный.  
Как пространственный аспект теории, когда о ней  
нет надобности распространяться.

Словом, кратко сказать,  
восклицательный знак.

От времени до времени  
я все же задаю себе вопрос,  
стоит ли делиться здесь этой,  
в общем-то, стратегической информацией,  
представляющейся мне теперь подробнее, нагляднее и новее  
и генштабовских топокарт, и гугловских фотопланов,  
чем бы навскидку мета ее ни была:

картографией барокко,  
которую я искал по всему свету,  
а нашел под родной горой;

элементом земной поверхности,  
геоморфологическим объектом останцом-свидетелем,  
в названии которого сокрыта бездна человеческого смысла;

или уже приведенной в известность и ставшей  
достоянием гласности\* (\*см.: *post(non)fiction*)  
Подзимней долиной: *Intro*.

Есть высокие тропы,  
а есть извилистые долины.  
Эта, в которую я только что вступил, –  
вполне достаточный коррелят какого-никакого,  
а поэтического присутствия или / и присутствия поэтического.  
Окину-ка взором местность, пораскину умом,  
хорошенько запомню всё.

### **Интровертная долина**

Родная долина.  
При всей «открытости» вида  
это, как с очевидностью явствует,  
довольно закрытая долина. И чем дальше в верховья,  
тем она глуше, загадочнее и уединеннее.  
В одном из поэтических текстов\*  
(\*неопубликованная работа)  
я и назвал ее в соответствующем роде:  
Интровертная долина.

Фикция, полезная для теоретических целей,  
чудесные возможности которой – сновидение,  
смутное воспоминание,  
инстинктивное чувство родной местности –  
объясняются единственной в своем роде уже готовой  
причиной: очерчивающей ее как ландшафтный вид  
чертой горизонта:

с хребтом Могила,  
 наивысшую точку которого  
 составляет Артезианская Копь;  
 Двугорбой горой, или горой Двуглав;  
 и положим, но правильным конусом Жии,  
 уступающим двум предыдущим по высоте  
 только лишь потому, что находится дальше.  
 Если внутреннее есть только формообразование  
 или складка внешнего, то это она и есть.

Я не был здесь, кажется, целую вечность,  
 но то, что она действительно существует,  
 неоднократно видел в своих снах:  
 из Интровертной – вымерещивающейся  
 в еще более Интровертную, фундирующей\*  
 (\*от нашего *fund* – глубина) в ветвящихся сериях  
 куда-то в сторону диких, поросших густняковым лесом  
 отрогов Жии\* (\*Виноградной горы), вглубь  
 блуждающих на ментальных картах  
 Старой Шпалеры / Галанчина.

Старая Шпалера / Галанчино́  
 не вменяют себе в обязанность  
 подчиняться мелочным картографическим предписаниям,  
 но и не могут сами по себе стать ментальной картой  
 без того, чтобы не стать для меня  
 принадлежностью памяти,  
 мнемоническими местами.

Более того, мнемонические места  
 получают здесь благодаря вмешательству памяти  
 совершенно новое расширение:  
 от особых форм остаточности –  
 к непрерывно возрастающему градиенту абстракции.  
 Трудно понять это иначе, как указание на какой-никакой,  
 а индекс обзорности, высчитанный по размерам  
 не столько видов, сколько *txt*-расширений,  
 открывающихся из узлов километровой сетки.

Что касается Старой Шпалеры / Галанчина,  
 то они не более чем данности, установленные  
 обиходными высказываниями позапрошлого столетия  
 как их коррелят,  
 но не тождественные объектам,  
 в отношении которых модернистский статус научности  
 предполагает держаться следующего правила:  
 представлять себе только такие объекты,  
 которые могут быть определены  
 конечным числом слов.

\*Примечательный знак / Астериск.

Когда говорят об объекте А,  
удовлетворяющем определенным условиям,  
модернистский статус научности усматривает под этим  
«объект, который удовлетворяет этим условиям,  
каковы бы при этом ни были слова,  
использованные для его окончательного определения,  
лишь бы их было конечное число».

Является ли таким объектом  
стихотворение, если число его слов конечно;  
всепоглощающая осень: снаружи и изнутри;  
введение в бихевиористскую\* (\*поведенческую) географию:  
пройти не по тропе вниз, а по дикому козогору,  
заросшему непролазным чапыжником,  
и увидеть то, чего не видят другие?

### **Идеальный вариант хронологии**

Текстуры ландшафта,  
которые можно разглядывать бесконечно.  
Тем более что знакома здесь каждая тропка,  
каждое деревце, каждый бугорок...  
и метод скоррелирован с мотивами.

Как если бы видишь себя сразу в разных местах,  
каждое из которых позволяет существовать  
лишь порождаемому зрительной энергией  
векторному моменту.

А в принятом здесь смысле –  
моменту как идеальному варианту хронологии,  
из которого полностью исключено время:

вон с того бережка, подростком, ужу плотвичку;  
через двадцать лет иду по окольной в лес  
и скандирую шепотом стих; а вон там,  
на значках обнажившейся глины, в какую из весен – не помню,  
снимаю фен[омен]ологический кадр «Я – другой»  
с ящерицей, выпрыгивающей из татуировки.

За эту гипотезу, в целом, ручается многое:  
пространственные дисперсии,  
соответствующие фундаментальным модусам  
существования человеческих тел в качестве индивидов,  
отличающихся друг от друга возрастом,  
сопутствующими обстоятельствами  
и личными соображениями,  
равноценными надлежащему тексту теории.

Потому что каждый из них не перестает действовать в момент,  
когда превращается в другого.

Получив ряд различных точек,  
я провожу между ними кривую,  
стараясь возможно меньше уклоняться от них  
и в тоже время сохранить для моей кривой  
правильную форму:  
отображаю не карту, искаженную умом,  
а ум как сумму мнемонических мест, производящую карту, –

принадлежащую только родным местам  
конфигурацию соположенных суцностей.

Перепад высот в несколько метров –  
и покатость холма оборачивается рыжей лисицей.  
То ли лисица меняет окраску под цвет осени,  
то ли осень меняет цвет под окраску лисицы.  
Хз\* (\*что означает хиазм).

### **Прежде чем перейти в серый зимний трехсотшестидесятиградусный иммерсивный монохром**

В фотографическом блюре  
перламутровых испарений еще не остывшего озера  
представители рода *Salix*\* (\*Ива) сохраняют листву  
достаточно долгое время.  
Но речь, как всегда, не об этом,  
да и не речь вообще, а сам вижу что.

Зеленый лиственный мир трансгрессирует в это,  
прежде чем перейти в серый зимний  
трехсотшестидесятиградусный иммерсивный монохром:

словно по мере удаления от илистого водоема Камболи,  
напоминающего по форме полуувядший трилистник,  
от которого остается видна –  
всего ничего – полоска озерной сини,  
в кадр начинает втягиваться громада Дождливой горы –  
южный пологий склон Дождливой, простирающийся  
черт-те куда влево и вверх  
и достигающий почти циклопического\*  
(\*вариант: циклонического) масштаба: со сплошной,  
почти непроницаемой, серо-свинцовой массой тумана  
либо переменной облачностью и короткими прояснениями –  
но какими!



Мыслимо ли,  
уходя не дальше, чем позволяют просторы Яблоны,  
обнаружить такую меру абстракции?

Такой, должно быть,  
завершается долгое осеннее странствие,  
квест «Найти *Геральдического зверя: зима ему не страшна*».  
Дождливая, в виду которой мы все время находимся,  
была бы всегда на виду,  
обрастая ветвящимися сериями  
новых и новых пейзажей-комментариев,  
неопределенностью контура, каковая в иные дни  
обнаруживала бы секреты колористической теории,  
а теперь сообщала пространству чрезвычайно искаженные,  
анаморфически увеличенные размеры,  
нарушая представление о расстоянии,  
заставляя сжиматься сердце.

Самый дальний спин-офф  
по-прежнему выглядит  
как высокий модерн – развалины заброшенной фермы,  
упоминаемые в пространнейшем тексте какой-нибудь там  
четвертьвековой давности, с его фундаментальным  
отличием субъекта раннего творчества  
от субъекта позднего творчества: когда Дождливая,  
способная принимать бесконечно разнообразные формы,  
только что не берется за старое – словно это  
какое-то инородное небесное тело,  
приближающаяся планета Меланхолия.

Линия электропередачи  
все еще держится на покосившихся столбах,  
у колодца все еще висит ведро, а на берегу озера  
сушатся фатки – рыболовные снасти типа «паук».

### **Таинственная *Tabula Geographica Moldaviae***

Диффузия цветовых нововведений,  
известная зыбкость форм, неевклидовы меры расстояния,  
предъявляемые разными видами деятельности –  
масками сезонных работ и песен, – во всем этом,  
по милости осеннего времени года,  
больше намек, чем определенности.  
Отметки, линии, краски, знаки и символы,  
посредством которых можно все это изобразить,  
остаются постоянными лишь на поверхности карты.

Не то чтобы карта  
становится предпосылкой всякого восприятия,

но – читаемой. Территориальные референции преобразуются\*  
(\*анаморфируются) как постоянно меняющийся,  
всегда становящийся контекст.

Так что местности, каковы они есть,  
оказываются именно тем, что они есть.

Их евклидова генетическая связь  
является только некоей моделью, первичной /  
вторичной по отношению к пространству,  
изобилующему смещениями и пустотами,  
где дают о себе знать  
необъятные видения,  
немыслимые сцены и пейзажи.

Как если бы это были видения и пейзажи,  
первоначально не охваченные теорией, –  
в которых мы никогда и не были, –  
они не оставляют нам ничего другого,  
кроме как выбраться из картографического кабинета  
и приступить к маппингу действительности в осенних тонах.

Понимание

как ощущение завершенности,  
когда хочется поставить точку.

Но где точка не знак пунктуации,  
а еще одна трансформация действительности  
в масштабе, форме и символике –  
наипростейшее понятие геометрии,  
нуль-мерный индивид, как нельзя более точно выражающий  
всю атлетику позднеосенней изможденности.

И всю ее аутетику – ради нее  
я специально осветил прядь волос.

Понятие геометрической вероятности  
относится к вероятности обнаружения нас в пространстве.  
Проистекает оно из анализа ближайшего соседства,  
сочетающего геометрию и теорию вероятностей  
наиболее пригодным, счастливейшим  
для картографа образом.

Я бы даже сказал, –  
счастливейшим для картографа-живописца,  
сочетающего геометрию, теорию вероятностей  
и восторг, который словами не передать,  
но лишь воскликнув: о, таинственная  
*Tabula Geographica Moldaviae!*

ГАД МОРСКОЙ

Рассказ

Солнце стянуло пруд пленкой. На воде держались с десяток голов, лежали они на зеркале поверхности, как голова Иоанна Крестителя на блюде. В золоченом воздухе звенели доспехами стрекозы, шевелились из последних сил ивы. Теплый ветер метался из стороны в сторону, как бешеная собака. Стрелять в нее было некому.

В этом самом пруду некогда утопили студента Иванова. Согласно катехизису революционера его сначала душили шарфом, потом треснули дубиной по голове, исполнили контрольной выстрел. Завернули в пальто с чужого плеча, насовали в карманы кирпичей и затолкали в пруд. Тело распласталось подо льдом, где и было обнаружено крестьянином села Петровские Выселки Петром Калугиным (дело, стоит напомнить, происходило в Петровской, как тогда называлось заведение, академии).

Из пруда, раздвинув заросли, выбрался мужчина. Он наспех вытерся скатертью из продуктовой корзинки, украл брюки, рубашку и зашагал по Лиственничной аллее. Человека – не человека вовсе – звали Виталий Терентьевич. Жабры под ребрами стянулись и зарубцевались. Он потрогал их рукой, как гитарист струны.

Виталий Терентьевич ориентировался в корпусах и шагал уверенно. Тяжелый транспорт по Листве – так называли аллею студенты – не ходил: асфальт был в минимальных трещинах. Виталий Терентьевич потирал руки и радовался, какое у него молодое тело, какая гладкая кожа.

Виталий Терентьевич взлетел по ступенькам одиннадцатого корпуса и дернул дверь на себя. Тяжелая деревянная, окрашенная в плотную коричневую краску дверь поддалась. Он очутился в длинном коридоре с потертой бело-коричневой плиткой. Деревянные перила изгибалась у основания музыкальным ключом и резко взмывали вверх – там располагалась кафедра микробиологии. Наука изучала организмы до того мелкие, что невооруженным глазом и не увидишь. Виталий Терентьевич шел на запах паленого – в подвалы, где проводили опыты над мышами, кроликами и выращивали в огромных черных чанах – жаб и лягушек.

Он вошел в аудиторию и первое, что увидел, была белая широкая спина Степана Митрича Бессарабского.

– Это тебе не борона, а это не поле, а ты не Микула Селяниневич! Посев надо делать аккурат-но! А, старый хрыч! – девушка, которую распекал Степан Митрич, вздрогнула и заплакала. Когда старик обнял Виталия Терентьевича, девушка поняла ошибку и утерлась.

– Ну-ка, Ниночка, подь сюды, – Степан Митрич подманил девушку, чья припухлая физиономия выделялась на фоне строгих базаровских лиц остальных студентов. – Будешь ходить за Виталием Терентьевичем, как нянька, поняла?

– А учеба?

– У тебя, Ниночка, не так много вариантов в жизни. Если не будешь слушать старика, тебе одна дорога – в пруд Симонова монастыря. Чувствительная ты натура.

---

*Евгения Скобина родилась в 1988 году в Москве. Училась в РГАУ-МСХА имени Тимирязева, на Высших литературных курсах Литературного института им. Горького, в магистратуре ВШЭ по программе «Литературное мастерство». В «Волге» публиковались повести «Курков дом» (2022, № 9-10) и «Коптилка» (2023, № 7-8).*

Степан Митрич потрепал Ниночку по локтю. Ниночкины глаза вспыхнули и погасли в безразличных, водянистых глазах Виталия Терентьевича.

– Передаю в надежные руки, – сказал завкаф и подмигнул одним глазом Ниночке, другим – Виталию Терентьевичу.

\*\*\*

Виталий Терентьевич отмокал в алюминиевой бочке. Сыворотка пахла кислым, и Степан Митрич, что сидел в соседней емкости, уже пошутил о Гисли, которому в исландской саге довелось спасать дом сывороткой. Виталий Терентьевич непонимающе хмыкнул и ущипнул свисающую руку приятеля.

– Не пора ли тебе домой, старый кровопийца? Смотри, весь усох!

– Я домой не вернусь, – ответил Степан Митрич. – Покуда не создам такую среду, что мы и здесь сможем жить вечно!

– Вернись хоть на месяц, сбрось пару годков, а то ведь помрешь, жалко!

– Только я в пруд окунусь – все насмарку: все мои исследования и открытия. Мозг тинной затянёт!

– Ты рискуешь потерять гораздо больше, – усмехнулся Виталий Терентьевич. – Ну а мне можешь? Мне нужно восстановить пробелы...

– А я что говорил, – усмехнулся Степан Митрич. – Тина!

– Как твои успехи в создании этой среды? – спросил Виталий Терентьевич и отвесил щелбан сывороточной поверхности: в разные стороны полетели капли. Степан Митрич что-то промычал и пошевелил кустистыми бровями.

– Нечисть мы, – сказал Виталий Терентьевич. – Уродились такими. Не жить нам на земле, как людям. Чего тебе земля? Студенка полюбилась? Деток захотелось?

– Человеком быть хочу, – сказал Степан Митрич. – Вылезти из слизи, из мрака, из зловония. Чтобы не было икринок этих липких и грязи не было. Хочу солнца, чистоты, высоты в мыслях и веры в справедливость. Женщину одну любить, ребенка зачать, смотреть, как плод развивается в утробе, и воспитать его хочу – чтобы не со скальпелем в руках, а чтобы картины и стихи писал. Хочу любить мир и знать, что умру, что меня потом в керамическую урну с греческим узором. Воспроизводство ради воспроизводства не приемлю более. Вечность непреходящая – не для меня. Смысла требую.

Руки старика задрожали, веко дернулось, а из глаз стекла жидкость, очень похожая на слезу. Но она замерла пластиковой мошкой, и Степан Митрич ее стянул.

– Ты превратишься в экспонат, чучело набитое! Стекла тебе вместо глаз вставят, студенты нерадивые таскать будут и обязательно уронят. Или в формалин посадят, стеклом придавят и препараты наделают. Поезжай-ка ты домой, друг Степа.

– Нет, Терентьевич, нет! Вот-вот, уже скоро, питательная среда созреет! – старик сложил руки крест-накрест. Помолчали. – А ты с чем пожаловал?

– Рыба жидкая нынче пошла, вода тухлая, а водоросли так и вообще стыд. Температура планеты такова, что скоро плавиться будем! Адаптация – единственный способ выжить. Нужно с вариативностью гена поиграть. Рецессивными станем – конец нам. Мы по доминативному признаку жить должны! А ты – человек! Человек – смертен, слаб, скучен! То ли мы – у нас такое будущее – мы первейший вид. Мы – плод. Они – последыш.

– Мы – инфузория-туфелька, – вздохнул старик. – Гидропорт. Планктон. Хуже. Мельче. Нас через пластины втягивают и выплевывают – вот такая мы мелочь.

– В меланхолию впадаешь, сам себе опротивел. Опасная это болезнь. В пруд тебе нужно.

Виталий Терентьевич нырнул в бочку с головой. Пошли вздуваться купола пузырей. Через десять минут он всплыл и отряхнул голову – полетели брызги дугами.

– Ниночка, – позвал Степан Митрич. – Полотенца!

Ниночка постучалась, внесла вафельные полотенца и смущенно посмотрела на Виталия Терентьевича. На бледную, дряхлую старческую плоть Бессарабского она смотреть не стала.

\*\*\*

Виталий Терентьевич стоял по колено в иле и чипировал рыб в садке.

– Сеголетки, – сказал он, взвесил рыбину на руке и бросил в воду.

Степан Митрич распинался перед аудиторией в учебном ангаре. Он в раздражении ходил взад-вперед, дергал плотный воротник и все больше желтел. Студенты закрывали носы и отвращивались: из бассейна нестерпимо тянуло тухлыми яйцами.

– Ежели, – говорил Степан Митрич, – мы отбираем рыбу по признаку морозостойкости, нужно учитывать, как коррелируется этот признак с цветом. Если вашу морозостойкую форель будет жрать хищник, проку никакого в такой селекции, это понятно?

Степан Митрич раскашлялся. Еще одна тиялпия из рук Виталия Терентьевича прыгнула в воду.

– Чего носы попрятали? Это ваша профессия, – кричал он. – Нюхать! Этот запах! Эту ряску! Эту тину! Тину! Тину! Тину!

Степан Митрич схватил за грудки худенького студента и подтолкнул к краю водоема. Он нагнулся, а вместе с собой увлек и безусого. Степан Митрич чиркнул стену бассейна пальцем и испачкал студенту под носом. У мальчишки подогнулись ноги, и он опрокинулся, как жук. Степан Митрич, придерживая студента, положил малохольного на покрытие, а сам за сердце схватился. С выпуклого лба бежали крупные капли. Виталий Терентьевич бросил сачок, выбрался из бассейна и, оскальзываясь, подбежал к другу.

– Скорую? – спросила Ниночка, все еще закрывая нос.

– Очистить помещение, – распорядился Виталий Терентьевич. Студенты выбежали из ангара. Очухался даже пострадавший юнец, и он-то бежал первым.

Неподвижной грудой лежал Степан Митрич. Кожа его стала липкой и мягкой, как только что сунутая в рот жвачка. Виталий подошел к стене и приподнял крышку аквариума, где плавали гуппи – пресноводные живородящие рыбки семейства пецилиевых.

Он поднял обмякшее тело Степана Митрича, взвалил на плечи, втащил по строительной лесенке – и бросил в утробу аквариума. Взметнулись яркие рыбешки и пошли выписывать геометрические фигуры.

Виталий Терентьевич ждал. Ждал четверть часа, полчаса, час, три часа ждал. Он сидел на лавочке и не двигался. Если не приглядываться, казалось, что он застывшая древесная лягушка.

К вечеру гуппи перестали мелькать и затихарились. Если присмотреться внимательней, можно было заметить, как их – одну за другой со страшной скоростью – утягивает на дно. Еще через четверть часа охнул аквариум – пошел пузырями, как после сильного дождя, – и тело трупно всплыло спиной.

– Думал ты, Степан Митрич – все, – Виталий Терентьевич разогнул затекшее тело.

Степан Митрич перевалил через край аквариума – сначала нога, потом рука, туловище, а потом и весь ушел вниз. Он встал на четвереньки и посмотрел большими, мутными глазами на Виталия Терентьевича. Он преобразился – ушные раковины втянулись в череп, который, напротив, вытянулся. На рыбном скелете болталась скудная плоть, а сомовые усы приклеились к полу.

Виталий Терентьевич хлопнул дверцей холодильника и вынул молоко: пять пятилитровых банок. Последовательно и не спеша Степан Митрич все их выпил. Степан Митрич обтерся рабочим фартуком и оперся на старческие колени. Он был совсем плох.

\*\*\*

На автобусной платформе стояли чемоданы. Один чемодан был серый с протертым уголком – совсем квельй и поникший, другой – отчаянно рыжий с желтыми проплешинами.

– В Пятигорске сейчас блеск! Там минеральные воды и грязи, и доктор Вернер, если пове- зет, примет тебя, – Виталий Терентьевич похлопал друга по спине. Пиджак был мокрый и вонял воблой. Степан Митрич покивал.

Народ запрыгал по ступенькам автобуса и набил емкость до отказа. Стекла запотели вмиг. Митрич оказался стиснут двумя барышнями – одна сидела у окна и грызла семечки из газетного кулька, другая – возвышалась над бывшим профессором, как дуб над Андреем Болконским. Было очевидно, что они обе еще доставят хлопот старику. Степан Митрич смотрел в окно взглядом обреченного на гибель карпа из магазинного аквариума.

Ниночка всхлипнула. Виталий Терентьевич заметил, как она послонявила палец, чтобы намочить подглазничные впадины, и провела пальцем по бровкам.

– Утомленное солнце нежно с морем прощалась, в этот час ты призналась, что нет любви, – запел Виталий Терентьевич и спросил: – Покатаемся на лодках?

\*\*\*

На лодочной станции Виталий Терентьевич отдал в залог паспорт Ниночки. Лодка раскачива- лась на воде. Ниночка грызла мороженое – еще холодное. Юбка до колен, открытый топ и голу- бые глаза. Виталий Терентьевич спросил:

– Стихи знаешь?

Ниночка кинула и открыла ротик: «Я показал на блюде студня / косые скулы океана. / На чешуе жестяной рыбы / прочел я зовы новых губ».

Ниночка рассмеялась и выкинула мороженое за борт:

– На корм рыбам!

Зевота сковала Виталию челюсть. Потекли глаза, и от скуки уши заложило. Ниночка при- молкла и уставилась в рыбью морду.

– Давай купаться, – сказал Виталий Терентьевич и ушел солдатиком в воду. Только Ниночка его и видела. Выпрыгнул Виталий Терентьевич из воды по пояс, как будто его подбросило. Глаза ясные, кожа сверкает, улыбается и мелкие зубы показывает.

– Ниночка, давайте, ко мне! – он протянул руки к девушке.

Ниночка топик стянула, юбку следом и в воду – фонтан брызг! Она рассмеялась, принялась молотить по воде ладошками. Виталий на голову ей крупной рукой надавил, и Ниночка под воду ушла. Нырнул, ухватил за ноги, за руки, давай вниз тащить. Перед ним маска с трубкой мате- риализовалась, погрозила пальцем – аквалангист. Всплыли вдвоем. Ниночка задыхается, никак отдышаться не может.

– Сссскотина! – сказала она. – Я на тебя заяву напишу!

– Ниночка, я пошутил!

Рядом, как клетки при митозе, пошла вода отсеками. Аквалангист вынырнул, очки снял и смотрит.

– Вы, девушка, в порядке?

– Не знаю, – ответила Ниночка. – Можно я лучше с вами?

– Разумеется, – ответил аквалангист. Ниночка цапнула вещи из лодки и в воду.

– Возьму замуж, – сказал Виталий Терентьевич, запрыгнул в лодку и перестал сушить весла.

Уключины заскрипели.

Ниночка моргнула. Младенец в ее руках превратился в головастика. Она еще раз моргнула, слотнула, помотала головой – снова младенцем стал. Быть того не может. Она ринулась в смежную комнату, которую переделала из кабинета в детскую.

«Статусно иметь кабинет, Виталий, но ребенку простор нужен!»

Виталий Терентьевич с большим трудом упрямил Ниночку оставить стол в детской. Ниночка на редкость оказалась несговорчивой. Единственный раз она сказала «да», когда замуж звал, обещал по учебе помогать и в люди выбиться. Он тогда вился вокруг нее – как овод, – склонял ее по-всякому и угрожал неаттестацией. И даже точно не знал, на что польстилась: попросила только, чтобы лягушек ее резать не заставлял, ястреба мышами не кормить и новокаином барабанную перепонку кролику не прободать. На все согласился.

Виталий Терентьевич погладил шишковатый лоб и обнаружил залысины. Всего-то прошло ничего, сколько он профессор, заведующий, муж и отец, а он уже всерьез рассматривал рекламный проспект, который ему у метро выдали: «Лысина не приговор!».

Ниночка укачивала младенца, и тот наконец закрыл рот.

– Была в поликлинике. Говорят, что жабры у нас, рудимент-атавизм какой-то. У твоих родственников не было случайно?

– Что ты, – елеинный голосом ответил он. – А у твоих?

Зазвонил телефон. Ниночка воздела глаза к потолку с протечкой (клякса была в форме амебы) и десять минут ругалась с матерью. Мать настаивала, чтобы дочь отказалась от наследства после смерти отца. Младенец плакал. Ниночка отказывалась отказываться.

– Мне нужна тишина! – крикнул Виталий Терентьевич, робко выглядывая из-за книг. С первого взгляда на расчеты Степана Митрич он понял, что коллега писал стихи, а не формулы. Идею направление мысли он все же счел верным. Эликсир, мазь или даже таблетированная форма для омоложения принесет много денег, того, что Ниночка хотела страстно. Да и он, Виталий Терентьевич, не отказался бы получить шевелюру обратно. Все живое, оно из воды вышло, так началась эволюция – как они пишут. Но как дорого они расплачиваются за любопытство. Да и я, гм, тоже. Он вытянул шею и посмотрел, как мотается тень Ниночки по стенам.

– Ниночка, соблюдайте тишину! – заискивающе попросил он. Отсутствие звука – это было то единственное, о чем он мечтал.

– Как же я его замолчу! – грозно ответила она.

Виталий наспех покинул бумаги в портфель и вделся в обувь. Ниночка встала в дверях, держа ребенка наперевес: «Когда придешь?» – «В шесть, рыбка моя!» Хотел поцеловать ее в щеку, но она отвернулась. Он давно заметил, что она им брезгует, и только когда на карточку падала зарплата, она была мила с ним. Разгадки этого он – ученый, профессор – найти не мог.

На кафедре Виталий столкнулся с благодарным из бывших республик. Мол, так и так, ваши советы очень помогли восстановить рыбное хозяйство, примите подарки. Чуть не кланялся. Протянул осетра – большого, таким бы и Собакевич не побрезговал.

– Не глушите больше рыбу, шуму много, а толка чуть! – как можно добродушной сказал Виталий Терентьевич. Спустился в подпол, взял шампур, нанизал на него три жабы. Дрожа от страсти, сожрал извивающихся земноводных и отрыгнул. Прошелся по аудиториям: на партах остались лежать распятые лягушки, которых студенты гальванизировали соляной кислотой. Заурчал, набросился на деликатес, как пес голодный, и даже оцарапался о крепления.

Виталий просидел над бумагами до ночи. Голова пылала, перед глазами мутилось, мысли – про Ниночку, головастика, пеленки, распашонки, коляски-трансформеры, поликлинику, температуру и колики, очереди в детские сады и школу, ипотеку и место на кладбище – две штуки – не давали считать формулы без погрешностей и даже без ошибок. Виталий Терентьевич отложил справочники и бумаги, выпил формальдегиду – но мысли не уходили. Качели для укачивания с

вибрацией, музыкальная каруселька с лошадками для убаюкивания, развивающий коврик. Сунул под мышку осетра, выбежал на Листву и начал хватать ртом морозный воздух.

\*\*\*

Виталий Терентьевич сидел в кресле и глядел в прорубь. Лед под изогнутыми ножками треснул и зазмеился. Он подобрал ноги, нагнулся, подпер щеку рукой и стал втолковывать:

– Я к ней всякий раз со всем сердцем: «Ниночка-лапочка, Ниночка-душечка, Ниночка-кошечка». А она: «От тебя рыбой воняет, мужлан», – и хрясь по рукам. Вернулся домой – с конфетами, букетом, а она: «У тебя руки зеленые и все в тине, а меж зубов рыска встряла».

Налетел ветер, взьерошил седые волосы и распахнул полы черного пальто. Печально стало лицо Виталия Терентьевича. Он брэнчал на лямке комбинезона, тихонько, в лад, приглотывал.

– Мне осетра поднесли, и я ужин сготовил.

Виталий вытянул шею и со шкрябающим звуком почесал.

– Цветочки высыхали, я их в вазу приспособил. Весь перед ней расстелился: одеколону на себя полбутылки вылил, трусы три раза сменил и даже какой-то носок на шею повязал. Ниночка села, губки поджала и меня, и осетра моего холодом поливает. Смерила взглядом, будто я кот приبلудный, а не муж ей законный, и говорит: «Я от твоей рыбы скоро фосфоресцировать начну».

– Мне даже не себя жалко, – сказал Виталий и, наклонившись, помотал пальцем в проруби, как в супе. – Мне за осетра, понимаете, обидно, не заслужил он такого обращения.

Виталий облизал палец, откинулся на спинку кресла, уставился в серое весеннее небо, в котором мелькали черные, как козий помет, птицы.

– Не утерпел я, ответил, слово за слово, разругались. Долго в молчании сидели: я, жена, головастик в люльке, ну, и осетр. Жена подулась-подулась, а потом стала ковырять осетра, словно сапер мину. Потерзала манехонько и спросила: «Что за рыба такая?»

Я промолчал. Она вспыхнула и давай горошек на вилку накалывать. Я так решил: сначала осетра поем, извиняться потом буду. Начал с хвоста: рыба нежная, рассыпчатая, быстро втянулся. Со свистом кости обсасывал, рвал розовую плоть на клочки. С таким аппетитом ел, что жена соблазнилась. Сначала небрежно, даже брезгливо, потом, чуть ли не чавкая, в горло куски заталкивать принялась. Я даже заволновался, того и гляди всего осетра моего сожрет. Хотел было сказать все, что о ней думаю, но тут смотрю, багроветь начала. А как пунцовой стала, догадался: подавилась, голубушка. Кашляет, надрывается, бедняжка, а осетр – диво какое – бескостный же почти – засел, крепко держит. Пока скорую ждали, успел ей целую лекцию о рыбах прочитать. Хрипит, обливается слезами, а я ей обстоятельно – про рыбку, чтобы знала впредь.

– Скорая, конечно, не успела, – сказал Виталий Терентьевич, хлюпнув соплями. – Вот, возвращаю в родной садок.

Он вытянул из оттопыренного кармана пузырь полиэтилена, в котором моталась, как сбитая дорожная шашечка, оранжевая рыбка, а рядом с ней прыгал черный сперматозоид. Виталий Терентьевич выплеснул их в прорубь.

Лед треснул, кресло, подняв брызги, провалилось, пальто и сапоги взметнулись вверх. Виталий сверкнул в воздухе голыми пятками, щелкнул мелкими зубами и ушел на дно.



РАССКАЗЫ

**Было**

Вчера, восьмого января, я водил после смены Марину в кино. Марина была в юбке. Кино оказалось не смешным. Были там теплотруба, буран и трое мужчин. Герои все облеплены были мокрым снегом, дрожали и стучали по себе по плечам и по ляжкам. Марина закинула было ногу на ногу. Но почесала колено и оставила как было. Передумала, значит. Я спросил ее тихо, хочет ли она соку, но она отмахнулась от меня. Было немного обидно. Я представил, что я не я, а муха. Стал внимательно следить за фильмом. Трубы у них были источником жизни, что-то вроде кормушки, были бы они птицами. Тепла на всех не хватало. И вот двое объединились против третьего и не допускали того к трубе. А он мерз, пальцы в ботинках жалили его, и он перетапывался, перетапывался – и расплакался. А они ему: «Ступай! Кыш! Прочь!» И палкой грозятся.

– Там верная смерть, братцы, – начал третий.

И не видно было фона. Весь фильм как спектакль был. Метр от трубы ступи – и пурга, белым и серым метет.

– Как хотите, – говорит третий, – можете убить. Лучше такая смерть, чем заживо застыть. Только знайте, Бог метель не накажет, а вас накажет.

Дальше нам показали, как двое забили несчастного и как тот скулил. Марина отвернулась и уткнулась лицом мне в плечо. Как страус. Но только в плечо.

Затем у оставшихся двоих назрел конфликт. Не захотели они вместе зябнуть. Каждый думал, как остаться одному, но в тепле, чтобы всё ему одному досталось. Говорили долго и много. Третий в ногах у них лежал, покрывался снегом.

И Марина вдруг пихнула меня:

– Смуглый выживет, – говорит, – с бородой который. Он самый беспринципный, он-то и выживет.

Так, наверное, все подумали. Не первый это фильм, где выживает худший. Но режиссер удивил. Второй мужик, без бороды который, вдруг неожиданно проломил висок первому, пока тот ему что-то такое хитрое говорил. Хруст был правдоподобным. Марина вскрикнула, поджала ноги и обхватила колени. Мне очень нравятся ее белые ноги. Они крепкие и большие. Здоровые очень.

– Не угадала, – ласково сказал ей, а она в ответ подразнила меня языком.

Фильм почти что кончился. Вывод был один, то есть два. Первый – выжила темная лошадка, самый человечный и рассудительный. Он и не размазня был, как третий, и не проходимец, как первый. Перед самыми титрами мы собрались было идти, чтобы обойти очередь, но вдруг ожил третий, а за ним и первый, из-за чего второй в отчаянье обхватил голову и закричал. Вот и второй вывод, но он тоже делится на два подвывода.

---

Борис Лейбов родился в 1983 году в Москве. Окончил Высшие кинематографические сценарные курсы (мастерская Олега Дормана и Ларисы Голубкиной). Изучал социологию в университете Глазго. Публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Юность», «Иерусалимский журнал». Финалист премии им. М. Алданова. Лауреат конкурса Stars Up и Второго международного конкурса «Новый взгляд» за сценарий короткометражного фильма «Бабушка». Автор романов «Лилиенблюм» и «Дорогобуж», сборника «В высокой траве». Живет в Тель-Авиве. Предыдущая публикация в «Волге» – рассказ «Не сестра Майкла» (2023, №1-2).

Первый – будет вторая серия.

Второй – фильм снимали в последние несколько месяцев. Он современный и уже показывает нам, как мы живем. Все эти убийства теперь в прошлом. Больше так просто от человека не избавиться.

Я провожал Марину до дома. Было холодно, но не так, как в фильме. Купил ей жареных каштанов на улице – она попросила. Хорошо поговорили. Марина говорит честно, мне это нравится. Она объяснила, что сегодня я иду к себе, так как еще не прилично, а вот, может быть, в следующий раз пойдем к ней. У самого ее подъезда случилось с нами радостное происшествие. На Марину бросилась ее подруга, и они друг друга обнимали, целовали и трясли. Оказалось, это Маринина соседка по комнате и подруга детства. Ее нашли замерзшей перед Новым годом, в другом дворе. Заблудилась после дискотеки. Но вот вышло – вернулась. Бывает и такое! Никогда не знаешь, кого вернут. А Марина, радостная, прослезившаяся от смеха, с милым замерзшим носиком, шепнула мне на прощанье: «Теперь будет сложнее, с соседкой-то, но мы что-нибудь придумаем».

Домой я шел полностью счастливым. Шел и пинал перед собой круглую ледышку.

## Каперсы

*Каперсы, каперсы, ой да не испортят трапезы.*  
народ

В средний день я режу шестьдесят салатов. Бывает меньше. Даже двадцать однажды было. И тогда лицо хозяина злое, и злится как будто на меня, а я хоть и понимаю, что не виноват, все же засматриваюсь на прохожих с умоляющим взглядом – «зайди, закажи и помилуй». Но таких плохих дней мало. В основном только зимой. Если день зимний, дождливый, да еще и первый на неделе – жди затишья. В такие дни парень, жарящий мясо, работает куда больше моего. Люди мерзнут. Они не хотят рваный козий сыр, шарики которого я достаю из контейнера со льдом. Они хотят горячей говядины. Вина красного. А кто победней – макарон.

– Фетучини аль денте, – поправляет меня хозяин каждый раз, когда я говорю «макаронны».

Еще он не разрешает называть мороженое мороженым, а выпячивает нижнюю губу, тянет: «Джела-а-ато», – и велит повторить. Я повторяю, и он хохочет, и парень, который работает у плиты, тоже хохочет. Этот парень, Эдик, он рассказывает нашим посетителям, что я итальянец, вернее неаполитанец. Эмиль, хозяин, говорит то же самое. А я не могу вспомнить, откуда я или нет, но мне сказали, что там порт и чайки и что там тепло, как у нас, и мне нравится быть оттуда.

– Так ты из Неаполя, парень? – спрашивает меня посетитель.

Я выношу салат, ставлю перед ним и, счастливый, говорю ему:

– Си, сеньор.

А Эмиль и Эдик хохочут, да так заразительно, что я смеюсь тоже.

К салату я привык не сразу. Поначалу путался. И тогда Эмиль приклеил перед моей доской рецепт:

- 2 больших помидора – на 16 долек;
- 3 помидора «черри» – на 6 долек;
- 1 огурец – порубить мелко;
- 5 оливок (проверить, чтоб без косточек);
- 3 каперса – 6 долек;
- ½ луковицы – порезать мелко;
- пучок базилика – порезать мелко;
- щепотка соли;
- щепотка перца;

- рюмка оливкового масла;
- полрюмки винного уксуса;
- шарик сыра – порвать на 8 кусочков.

Точно не помню, сколько я уже здесь. Но нужную скорость я набрал только недавно. Эмиль хвалит. Говорит: «Ты как музыкант, парень, уже не смотришь на клавиши». Клавишами он называет овощи. Я не с первого раза понял и даже огляделся в поисках инструмента в первый раз. Потом понял и сказал – «спасибо».

Шесть дней я провожу на кухне. Сегодня первый на этой неделе. Но сегодня солнечно и люди идут. Идут, идут. А я режу. И если меня о чем-то спрашивают, говорю: «си, синьор» или «си, синьора».

Дольше всего я боролся с каперсами. Я и сейчас с ними тяну, но не потому, что неловок, как вначале, нет, а потому что, бывает, остановлюсь и люблюсь ими. Вот отсек хвостик. Смахнул его в мусорку. И вот разрезал каперс вдоль. Он вот-вот развалится на две части, и я гадаю, желтым будут семечки внутри или красноватыми. Я предпочитаю красноватые. Самые мои нелюбимые – черные. Я однажды смахнул в мусорку дольки с черными семечками, а Эмиль заметил. Он, безрежливый и вспылчивый, спросил:

– А тебе там мозги совсем прочистили?

А я развел руками.

– Чтобы такого не было, понял?

– Понял, – сказал я.

Я разглядываю их теперь, когда он не смотрит на меня. Жду, когда уходит к плите поучить чему-нибудь Эдика. Они дружат и, бывает, подолгу болтают. Я успеваю попредставлять, что вспорол не каперс, а какую-нибудь подводную лодку, полную людей-семечек, и они тоненько пищат – благодарят меня, что я их спас от удушья.

С днягами я путаюсь. И не могу их посчитать. Эдик как-то сказал:

– А ты считай всё в каперсах.

А Эмиль дал ему подзатыльник, но не злой, а родительский. А совет был хорошим, в каперсах я запоминаю лучше. В банке их пятьдесят. Я стучу рукояткой ножа по крышке, она щелкает, и я скручиваю ее. Сливаю сок. И вываливаю их на доску. Так я делаю по утрам заготовки, чтобы не тратить время, когда посетителей много, чтобы не злить их, ведь когда они голодные, они немощко злые и говорят резкими голосами, не то что сытые. Сытый голос мне слушать приятней. Я отрезаю пятьдесят хвостиков. Эмиль как-то сказал:

– На зеленые сперматозоиды похожи, – и ухмыльнулся.

Я согласился, чтобы ему было приятно. Хвостики выбрасываю и принимаюсь за тела. В коробочку я сыпаю сто половинок. Этого хватит на шестнадцать салатов. Останется четыре дольки. Я нарежу еще пятьдесят, и в контейнере их станет сто четыре. Этого хватит на семнадцать салатов. И так далее. В хорошей день я использую не меньше трех банок. Пустые банки я складываю в коробку «стекло». Когда она заполняется, Эмиль меняет ее на деньги, и я начинаю наполнять ее снова. Мне нравится, как проходит жизнь. Я запомнил, что в месяц зарабатываю девяносто банок, или четыре тысячи пятьсот каперсов.

– Столько ты стоишь, – говорит Эмиль.

– А сколько стейков стоит Эдик? – спросил я Эмиля, и они хохотали так долго, что Эдик сполз по стене и стучал рукой по полу.

Здорово, что я их рассмешил. В квартире над нашим рестораном я снимаю комнату. Квартира эта принадлежит родственнице Эмиля, и он рассказывает мне, что однажды помог мне с этой комнатой, когда забрал меня из центра.

– Из какого центра? – спрашиваю я.

– Да неважно. Не беспокойся, парень. О'кей?

– О'кей, – говорю я.

После оплаты комнаты у меня остается денег на тридцать банок, то есть на полторы тысячи каперсов. Так я посчитал, что моя комната стоит три тысячи каперсов, или триста каперсов за метр. То есть каждый метр ест по десятку каперсов в день. И у меня нет по этому поводу мыслей. Посчитал, и все. У меня есть кровать, шкаф, два стула и окно. Общей кухней я не пользуюсь, зачем мне готовить дома, когда я готовлю себе в ресторане. В средний день я ем по два салата. Если хорошо подумать, то получается, что я прибавляю в себя по шесть каперсов в день, а это сто пятьдесят три капера в месяц (я вычел четыре выходных при расчете), а это целых три банки. Выходит, зарабатываю я не девяносто, а девяносто три банки, и еще три капера сверху. Об этом я Эмилю не говорю. Мне кажется, я хитрее, чем он думает. Эдик как-то сказал мне, что хотя бы раз в неделю я должен куда-то ходить, ну и есть где-то еще, а когда я спросил: «Зачем?», он сказал: «Ну чтобы чувствовать себя живым». – «Хорошо», – ответил я и стал в свой выходной гулять по улице до сквера. В сквере я сижу какое-то время, дышу глубоко и шурю. Затем иду есть в кафе, чтобы чувствовать себя живым. Я заказываю салат, как наш, и ем его, и чувствую себя живым, и еще думаю, что каперы их хуже наших. Они другой фирмы. Наверное, из банки без красной этикетки. Затем я иду домой, ложусь и отдыхаю. Я лежу и лежу. И мне нравится, как не устают мое тело, как когда я целый день стою. Мне хорошо жить в маленькой комнате. Это как жить в тощем теле. Удобно. Меньше хлопот. И ухода меньше. Таких выходных у меня четыре, и на них я трачу двадцать банок, по пять банок за выходной. Я бы мог и обойтись без этих трат, но Эдик прав – надо чувствовать себя живым. По моим подсчетам, после оплаты жилья и четырех выходных должно оставаться десять банок. Мне бы их откладывать («Так все поступают», – Эдик говорит), но я никак не могу подсчитать, куда они деваются. То пару банок за свет отдам. То подошва отойдет. То прачечная. То зуб ремонтировал. То еще что-то. Или чего еще другое. И откладывать не приходится. Это печалит. Но я стараюсь не думать об этом, и мне удается.

Хорошо же все, – лежу я в выходной и думаю. Одно тяготит. Бывает, вдруг захочется женщину, и сил нет терпеть. Хочется и все. Страшнее голода. Хуже усталости в ногах. Скрючит всего. И хочется лежать дальше и думать, как все хорошо, а нет, не получается. Только и мерещатся женщины без одежды. И я мечтаю, как посетительницы приходят к нам без штанов. Как ходят с голыми ногами и заказывают еду как ни в чем не бывало. Однажды я не выдержал, вышел из комнаты, зашел в комнату Эмилевой родственницы, она чем-то больна, но я тем ни менее попросил ее снять штаны. Вскоре прибежал Эмиль. Принес анисовой водки. Я выпил два раза и успокоился.

– Так нельзя, парень, понимаешь? Для этого дела есть специальное место, о'кей?

– О'кей.

И на следующий выходной я вместо кафе отправился в специальное место.

Специальным местом оказался бордель в порту. Там продавали холодненьких. Это намного дешевле, чем когда продают обычных, но Эдик сказал, что разницы не почувствуешь. «Живая, не живая, промеж ног одно и то же». Я еще удивился, что тот, кто научил меня чувствовать себя живым в кафе, считает не важным, к живой он приходит женщине или к мертвой. Час обойдется в десять банок. Я пересчитал цены из меню на входе и ушел копить. Три выходных подряд я лежал и мечтал и никуда не ходил – ел на кухне. Обеды Эмилевой сестры выходили в два раза дешевле, чем салат в кафе. А я и не переживал. Даже приятно было пить суп. Пить и не жевать.

Скопив десять банок, я вечером, после смены, отправился напрямик в порт. Резал я в последнее время неточно и дважды порезался, а все потому, что перестал представлять спасенных каперсовских человечков, а думал только о раздетой женщине.

Она зашла в номер после меня, и он перестал казаться пустым. Руки холодные, плечи, как мне показалось, голубоватые.

– У тебя сильные руки, – сказала она и подсела ко мне.

– А у тебя холодные, – ответил я и отсел.

Я догадывался, что сейчас буду делать, но не знал, с чего начать. И я решил для начала рассказать ей о себе.

– Знаешь, отчего я умерла? – перебила она меня.

Ей не было интересно – это я понял.

– Не знаю, – ответил я, а надо было спросить отчего.

– Я попала в аварию, смотри! – и она разделась, показывая множественные швы на боку. – Смотри еще, – сказала она и сняла штаны.

– Красивая! – сказал я и только тогда понял, что ничего не хочу, вернее хочу, но другого. Я захотел вернуться в свою комнату, и чтобы не было никого. Просто попасть туда и больше ни ходить никуда – ни в бордель, ни в кафе. Зачем мне это все? Я себя очень живым чувствую и когда лежу, и когда думаю о том, что ноги не болят. Перетерплю. Выпью лучше анисовой водки.

– Да мертвый здесь ты! – расхохоталась она. Она смеялась и не могла остановиться.

А я огляделся в поисках шляпы и, сообразив, что никакой шляпы у меня нет и не было, выбежал вон.

### Сон новобранца

Ближневосточная ночь ясна. Звезды. Еще звезды. Яркий месяц сидит высоко над своей земной поделкой. Минарет нем. Глухо работает мотор грузовика. Под брезентом в кузове молчат люди – и покачиваются, как покачиваются ивы в тех странах, где бегут реки. Совсем скоро проклюнется солнце. Рядовой не спит, и не спит его старшина, сержант Соловей. Страшно солдату, первый раз на мертвеца едет.

– Они безобидные, – говорит сержант, и растянутый в улыбке рот показывает рядовому стройную шеренгу выносливых зубов.

Улыбка не сходит. Белки его и зубы светлеют. Так ночь лениво рассеивается над машиной.

– Ок? – спрашивает сержант.

– Ок, – кивает рядовой.

Но ему не «Ок». Ему далеко не «Ок». Ему страшно. Он молит ночь задержаться. Он ничего такого еще не видел. Не видел, как кричит в родах женщина. Не видел, как плачет от боли ребенок. Не видел, как смотрит перед собой скотина перед забоем. Не видел еще, как восстают мертвецы. На базе должны были показать фильм-инструкцию, но файл долго не подгружался, и командование раздало новобранцам халву, миндаль и кофе с кардамоном, сваренный в походной кастрюле. «Да в принципе все то же самое, только не страшно и без лохмотьев», – обратился к ребятам начальник части после демонстрации «Зловещих мертвецов» и «Зловещих мертвецов – 2». Солдаты смеялись, фляжки с анисовой водкой гуляли под стульями, до первого задания было еще полно времени.

Грузовик встал. Накренился слегка вперед и встал окончательно. Солдаты спешно бросались вон из-под тента по одному, как арбузные семечки из узкого рта. Холмы розовели. Ребята сгрудились у кладбищенских ворот.

– Ну? – оглядел свой отряд старшина. – Приготовиться!

Солдаты слаженно сбрасывали автоматы с ремней, заряжали обоймы, шелкали затворами. Новобранец встал на колено и завозился с оружием. Лоб его намок. Пот заблестел. «Еще немного и утро», – поглядел вверх сержант.

– Рассредоточиться по семейным и склепам! – скомандовал он, и десяток бойцов заскользили по кладбищенским проходам, взбивая песчаную пыль.

– Дай сюда, – старшина забрал оружие, перезарядил, проверил, прицелился в сторону скрытого холмом города и вернул бойцу.

– За мной! – скомандовал он, и двое, пробежав под кованой аркой входа, расположились над двумя надгробными плитами с гравировкой золоченными буквами.

Рядовой часто и жадно дышал. Закономерная кладбищенская тишина сковала ноги, и те как будто срослись с почвой. Ребята стояли памятниками, целившимися в землю. Стеклышко очков

новобранца всполохнуло. Свет розовой волной пробежал над некрополем, разгоняя молочную бледность сумерек. Из города, который они так недавно оставили, понесся призыв:

– Спешите на молитву, спешите на молитву! Спешите к спасению, спешите к спасению...

– Это нежить, – сержант толкнул новобранца, и тот как будто очнулся и приветливо закивал.

– Ну, парни, – заорал старший, когда минарет смолк, – всё как на стрельбище!

Земля колыхнулась. Раз, другой. «Как землетрясение», – подумал новобранец и направил дуло в поднимающуюся горку рыхлой земли.

– А!? – крикнул из-за плеча сержант. – Какова?

Из-под песка появилась девочка лет десяти в черном платье с бантами на плечиках. Она поднималась на синих руках и уже потянула было на поверхность ногу, когда над ее головой полоснула сабля сержанта, и румяное от солнца лезвие ухнуло, снося треть ее головы. Левый глаз поднялся на новобранца, распахнулся-запахнулся, и тельце завалилось, брызгая черной кровью под сапоги.

– А ты кого ждал? – сержант убрал саблю в ножны. – Крота размером с собаку? Это первая, – подмигнул он юнцу, – началось!

Он осмотрел повсеместное беспокойство под надгробиями и что было мочи проорал:

– Запевай!

Со всех сторон разом солдаты затаили боевую. Запели в голос, без фальши, никого не стесняясь, ведь когда держишь оружие, стесняться тебе нечего.

– Джаст лайк, хиз вайф...

Затрещала первая очередь.

– Бат хау ши воз бифор зе тиарз...

Под новобранцем появилась новая голова – мужская, лысая, она вытолкнула ноженьки предшественницы, в чулочках и сандаликах. Мальчик не зевал, он расстрелял голову в упор. Две пули угодили в разинутый рот, и голова провалилась под землю.

– Энд хау ши воз бефор зе йеарз флю бай...

Бой шел и у входа, за спиной солдата. Повалился огромный парень. Визг срикошетившей от гранитной тумбы пули разлетелся вверх могильников. Новобранец поспешил на выручку. Раненого бойца пытался обойти пожилой сутулый мужчина во фрачном костюме, но не сумел. Новичок расстрелял его в спину.

– Смени рожок, пацан, – сказал прыгающий на одной ноге великан, – и спасибо.

Он обернулся и нацелился в яму, из которой недавно выполз тот, кто сейчас уже лежал разорванной спиной к солнцу.

– Ши сайнд зе леттер... – над кладбищем взымалась песня, готовая к припеву, как шашка, возвращающая смерть мертвецу.

– Ши сайнд зе леттер...

Сержант взобрался на мраморную колонну, исписанную разными именами и одной повторяющийся фамилией.

– Ол йорз, бабушка, бабушка, бабушка, йай, йай...

Оружие плевалось пулями. Вставали в рост фигуры, вскидывали руки и падали ниц. С треском подломилась ветка на сухом дубе.

– Ол йорз, бабушка, бабушка, бабушка, йай, йай...

Новобранец выбил прикладом челюсть тощему, болезненному юноше с тонким носом. Тот покорно опустил на колени и стал рассеяно собирать зубы, как увлеченный ребенок собирает ракушки.

– Добивай, – проорал Соловей откуда-то сверху.

Рядовой казнил беззубого единым выстрелом в лицо и в испуге отшвырнул автомат, как отшвыривает мертвого щенка волчица.

– Победа! – сержант огляделся и махнул в сторону выхода.

Старшина отряхивал от песка колено. Раненый великан сидел, вытянув перебинтованную ногу. Грузовик подпрыгнул, и он застонал. Кто-то спросил: «Интересно, а когда они уже перестанут лезть? А то чертов тир какой-то». Сержант подумал и разулыбался. Он понял, что представился случай развеселить бойцов.

– Сколько надо, столько и будут лезть. Грибы не один день вылезают, и прыщи на твоей жопе тоже.

Смех разбежался по лавкам. Хохотал и раненый. Хохотал и одновременно морщился от боли. Даже новичок разразился отрывистым нервным смехом.

К восьми утра воздух нагрелся, и мокрые пятна пошли по зеленым формам ребят. Грузовики съезжались со всех городских кладбищ.

– Погоди, – сержант взял новобранца за плечо. – Ты молодец! Так держать! Понял?

– Так точно! – парень испуганно улыбнулся.

«А ведь это только начало», – думал он.

Стрелков не утруждали зарядкой и бегом и распустили до полудня. Рядовой дошел до своей кровати, оглянулся, послушал тишину и только тогда вытянул из наволочки фотографию дерева, склонившегося над рекой. Он прошептал «прости Господи» трижды, поцеловал поле за речкой в верхней части карточки и спрятал ее.

– Теперь спать, – скомандовал сам себе и лег поверх покрывала. Спихнул сапогом сапог и быстро уснул. И во сне задышал ровно и глубоко.

## Янис ГРАНТС

### СОПРАНО НА ОКРУЖНОЙ ДОРОГЕ

#### шахматы

воспалённого  
нарывающего  
с жабрами наперевес  
тебя нашли в квашеной капусте  
а теперь ты отважный парень  
играющий белыми  
на гербовой бумаге

посмотри  
блондинка облизывает мундштук саксофона  
коровьим языком  
свояки и свояченицы с охажками наручных часов  
принимают наилучшие проклятия  
лодочник в пробойнах  
наматывает на лебёдку  
лакированного тунца  
это ли не повод  
зажмурить брови  
воспалить лёгкие  
сгореть как пилотируемый метеорит

или – на твоё усмотрение

#### с обеих сторон

с моей стороны:  
слюнявить языком междометий  
карликовую звезду  
на границе  
лжесвидетельства;  
водонепроницаемо как двустворчатый моллюск  
вспоминать чертёж

---

*Янис Грантс родился в 1968 году во Владивостоке. Автор шести книг стихов и книги прозы («Луи с грабаркой», 2017, вышла отдельным изданием на латышском языке в 2022 году). Публиковался в журналах «Крещатик», «Дети Ра», «Знамя», «Урал», «Новый мир» и др. В «Волге» печатались проза и стихи; предыдущая публикация – «Метель» и др. стихи (№ 1/2, 2022). Живёт в Челябинске.*



метрополитена;  
с твоей стороны:  
вспыхивать стыдливой мимозой  
на хромо́й дороге;  
передавать жеста́ми  
перелётной птицы  
особенности крайнего срока;  
с моей стороны –  
заманивать  
с твоей –  
превращать  
мы  
недолгая перемычка губ  
внизу  
списка  
смягчающих обстоятельств

### **мастер**

мастер своего дела испытывает кризис:  
позвоночник вылезает динозавровым гребнем  
колосится  
скручивается спиралью  
волнообразно перекатываются внутренности  
бьются обо что-то там каменное  
расщепляется голова  
мастер своего дела говорит вертикальным полосам на обоях:  
пан знахарь, мне больно (так у Милоша в переводе Морейно)  
мастер своего дела видит:  
паучок строит алмазную лесенку (так у Милоша в переводе Морейно)  
роя туннель, медленно движется крот-охранник (так у Милоша  
в переводе Морейно)  
морские львы держат скипетр на скальном троне (так у М. в переводе М.)  
по ночной сперме Млечного Пути покати́лась бесшумная колесница  
Южного Креста  
(так у М. в переводе М.)  
(блиин, нет же, это Неруда в переводе Синянской)

### **Баландино (Курчатов)**

зал ожидания:  
лицевая сторона лётчика  
полна случайностей –  
овсяные хлопья (сыпь),  
изразцы-декоративные-растения (шрамы),  
каракуль (борода),  
устье реки (морщины).

спящий младенец  
утоляет жажду  
водянистой матерью.  
эстонец кашляет *по* лестнице,  
как *по* эшафоту.  
грузчик извергается  
*по* сути дела.  
(по, по, по – эдгар по,  
да и только).

зал ожидания – среднее арифметическое между  
гаражом и  
мелкой торговлей:  
ярлыки,  
проходимцы,  
свидетельства,  
лишения.

европа – азия.  
нелётная погода.  
да.  
или нет.

### **антракт**

между прочим – антракт.

игрек – лицо определённой профессии,  
мусульманин и тд,  
словно изолента,  
закутывает  
пустыми цветами радуги  
нападающего, облачённого  
в суффиксы страдательных деепричастий  
прошедшего времени.  
икс – дарвинист,  
воспалённый оболочкой глаза [в скобках – какого?],  
способный изменить направление  
чего бы то ни было и тд,  
объясняется жестами,  
напоминающими  
равнобедренные треугольники.  
перевожу:  
вторжение.  
кишка тонка.  
кишка.  
тонка.

между тем,  
антракт.

**ГОЛОС**

сопрано  
на окружной дороге  
без права голоса  
блуждает обочинами,  
просит о помощи  
косными гласными.

дугообразный регулировщик,  
фосфоресцирующий вольфрамом,  
сладоострастно блюёт на плющ  
или что-то в этом роде –  
волосатое,  
вьющееся,  
цепкое.

последнее слово подсудимого немеет.

а что?  
хвост съеденного самолёта.  
рёбра выпитого корабля.  
будто следы  
от одного ужаса к другому.

счастливого пути.  
или что-то в этом роде.

**вещь**

объявляющий объявление  
о потерянной вещи  
лишился голоса.  
потерявший потерянную вещь,  
чей склеенный нос  
дышит кружевным воздухом  
как рыба предельного возраста,  
чьи глаза принимают междоусобные  
формы,  
чьи пламенные уши лезут из черепа  
соцветиями аравийских акаций,  
чей клокочущий пот орошает разветвлённые подмышки...

так.  
о чём это я?  
ага.  
о потерявшем потерянную вещь.  
так вот, этот  
человек раздражён.

в данном месте стихотворения  
потерявший-голос-объявляющий-объявление  
неожиданно находит потерянный голос  
в кипе транспортных накладных  
и говорит:  
ну уж нет.  
с меня хватит.  
здрыгг анпр устр устр.

### цирк

доисторический клоун,  
страдающий одышкой,  
переваливается гусиной  
на шипящей сковородке арены.  
износ – 99, 9 %, думает мальчик в капюшоне, безводный и белый  
как негашёная известь.

(думает о клоуне или?)  
последний манеж великого Горошка, выкашливает динамик.  
мама белого мальчика тычет в предплечье белого мальчика:  
Горошек – его имя. ну, сценическое. как Ириска или Карандаш.  
ты ведь понимаешь?

у тебя урчит в животе, отвечает сын и думает:  
клоун – анаграмма – уклон.  
мама белого мальчика тычет в предплечье белого мальчика:  
сними капюшон.

так я невидим, отвечает сын и думает:  
апатия – 99, 9 %.

(думает о клоуне или?)  
что ещё? – продолжает размышлять белый мальчик:  
нарисовать море.  
записаться в секцию регби.  
признаться в неистовой любви этой,  
как её там,  
забыл.

### остановка

язык – железнодорожная ветка  
для втирания в кожу (как льняное масло)

перемычка над губной согласной –  
усы (перевернутая лира  
пришепётывающая опись тайника  
набитого литием одеялами и сизоголовыми дроздами)  
простыня под посинелым литовцем  
[тем самым с усами в форме перевернутой лиры]  
перемещается в наветренную сторону  
соблазняет как таблица логарифмов  
локомотив – долгая саранча –  
убаюкивает и засыпает сам  
превращаясь в увеличительное стекло новолуния  
приехали

**по пути на работу сфотографировал сложенные зонты уличного кафе,  
напоминающие ку-клукс-клановские балахоны, и вот это**

голубь заблуждается как троллейбус  
мальчик идёт рысью вокруг мать-и-мачехи  
арка напоминает немощное корыто  
билборд: челюсти годзиллы стискиваются над многоточием  
асфальт словно замочная скважина бьющая крупнозернистым фонтаном  
небо бирюзовая форель в беспонтовых терзаниях  
внимание  
жара может вскружить голову одним движением руки  
человек с тюльпаном за ухом в сточной канаве  
дышит  
дышит  
не совсем  
совсем нет  
абсолютно не

**если бы**

хлюп-хлюп  
чапает по грязи канатоходец без каната  
протекают несмазанные колени  
судорожно балансируют локти как побеги вишни  
лысина путается словно пряжа  
истощается ключица  
дымит недавний поцелуй губной помады  
если бы

тем временем  
облака наскоро заштопаны чужими нитками  
крачки перелетают на запасные пути  
перспектива искривлена нулём по градусу  
море – осыпается

канатоходец оглядывается и  
перемалывая камни во рту  
вздыхает  
если бы  
если бы  
если

**валет**

человек для всякого рода поручений  
падает как волан  
на плиссированный известняк  
валетом  
к другому человеку для всякого рода поручений  
раздается торжественный трубный сигнал  
причудливое видение  
застает врасплох цветную тень лежащих  
слипшихся по пояс  
искренних в понудительной форме глагола

карта раскрыта  
как лекарство от кори или фарс  
мучнистые декорации  
охапкой скрывают  
лежащих  
слипшихся по пояс

два равняется одному

РАССКАЗЫ О ЗНАМЕНИТЫХ МУЗЫКАНТАХ

**I. На фортепианном концерте (Ференц Лист – Патриша Барбер)**

На днях я побывал на домашнем концерте фортепианной музыки. Пианистка, она же хозяйка дома, прекрасно исполняла произведения Ференца Листа, предваряя каждое небольшим рассказом о композиторе.

Лист, по ее словам, выходил на сцену в роскошном гусарском мундире с эполетами, грудь его была украшена орденами, на боку висела инкрустированная изумрудами и рубинами сабля. Женщины сходили по нему с ума. Когда Лист начинал снимать перчатки, самые нервные падали в обморок. «Хм!» – говорил Лист, поправлял усы, а усы у него были как у генерала, и, перебросив уже ненужные перчатки через плечо, шел к роялю.

Снимал ли он саблю или так и играл с ней – не знаю. Хозяйка не сообщила, но в конечном итоге, я о другом. А именно о том, что я тоже был на одном концерте, где пианистка, это была Патриша Барбер, как бы продолжила традицию Листа, но по-своему. Она, значит, поднялась на сцену, села к роялю, сняла кроссовки, потом сняла носки, бросила все это под стул и... начала играть и петь.

Те еще манеры, как сказали бы в моем городе.

Как на это отреагировала публика? Да никак! В обморок никто не упал. Ну, действительно, может, женщину мозоли беспокоили, или кроссовки у нее тесные, а может, она просто любит, чтобы у нее ноги дышали, кто ее знает?

Теперь некоторые важные подробности.

Я со своей женой специально пришел на концерт за полчаса, чтобы заказать говяжьи ребра и спокойно насладиться ими до начала представления. Забыл сообщить, что концерт был в манхэттенском клубе Jazz Standard. Кухня у этого клуба общая с рестораном Blue Smoke. И вот копченые ребра там такие, что язык можно проглотить. Короче, мы заняли первый столик у сцены, разместили заказ, ждем. Напротив нас устроилась пара французов. Заказали себе по бокалу шампанского, пригубили и, слово за слово, мы с ними разговорились. Мечтали, сообщают они, попасть в настоящий джазовый клуб, ощутить его истинный дух. Да-а, думаю, сейчас нам наш заказ доставят, вы его и ощутите. А время между тем идет, уже и оркестр начал по местам рассаживаться, зал полон, а официанта как волной смыло. Короче, появляется он одновременно со звездой вечера и двумя ведерками. Это у них там такой стиль – пейзажный – одно ведро с ребрами, а второе для костей.

Соседи наши даже притихли от такой неожиданности. Мы, понятное дело, им предложили разделить нашу скромную трапезу, но видимо у них на родине наши деликатесы с их шампанским не идут. Ну, еще бы, Франция!

А тут с одной стороны Патриша Барбер, сняв носки, исполняет свои песни, а с другой аудитория, закатав рукава, уписывает эти ребра за обе щеки. Плюс запах такой, что голова кругом. От ребер, я имею в виду. Невольно даже встает вопрос: кто тут должен в обморок падать – аудитория

---

*Вадим Ярмолинец родился в 1958 году в Одессе. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского университета, работал в газетах «Моряк» и «Комсомольская искра». В 1989 году эмигрировал в США, работал в газете «Новое русское слово». Публикации в журналах «Октябрь», «Новая Юность», «Новый журнал», «Вопросы литературы», «Новый мир» и др. Автор пяти книг прозы. Постоянный автор журнала «Волга».*

или артистка? Но эта Барбер держится, играет и поет как ни в чем не бывало. Настоящая работница искусств, одним словом!

Да-а, времена меняются и нравы тоже, и, знаете, я как раз это приветствую. Я, например, не хотел бы, чтобы кто-то начал падать в обморок от наших американских манер. Вы вообще можете себе это представить: на сцене носки, в зале обглоданные кости, какой-то нервнобольной лягушатник со своей мадемуазелью на полу валяются, и все это под звуки джаза, который тот же Ференц Лист и за музыку бы не посчитал. И еще эта женщина босиком за роялем сидит!

Но я отвлекся. Как следовало из рассказа пригласившей нас на вечер пианистки, в середине своего жизненного пути Лист потерял сына, а вскоре после этого – дочь. Разбитый горем, он удалился в монастырь, где провел пять лет в качестве прислужника. Отношение к нему там было уже, конечно, не тем, что раньше. Братия называла его «наш маленький аббатик». Говорила ему: «Эй, аббатик, не зевай, тащи сюда кадило, да поскорее!»

Я знаю, что я бы сейчас просто потряс аудиторию, если бы сообщил, что и Патриша Барбер тоже постриглась в монахини. Отнюдь нет! Вместо этого она женилась на музыковедке Марте Фельдман. Можете проверить в Википедии. В наши дни этим, конечно, никого не удивишь, впрочем, как и во времена Ференца Листа, никого не мог удивить уход в монастырь.

## II. Диктофон (Пэт Метини)

В середине 80-х в СССР приехал знаменитый американский джазовый гитарист Пэт Метини со своей группой. Одна из гастрольных остановок была в Киеве. Я тогда работал в одесской комсомольской газете и писал, среди прочего, о музыке, которую знал и любил. Метини был тогда одним из моих кумиров. Я помчался в Киев.

Весь город был в огромных афишах о концерте звезды джаза во Дворце спорта. Я прямым ходом туда. Возле кассы – ни души. Ну, думаю, билеты, конечно, раскуплены. На всякий случай подхожу к окошечку.

– Здравствуйте, у вас билеты на Пэта Метини есть?

– Даже больше чем надо. Вам в каком ряду?

– Дайте в десятом.

– Возьмите. С вас два рубля.

– А в пятом есть?

– Есть.

– А поменять десятый на пятый можно?

– Молодой человек, меня здесь торговать посадили, а не шило на мыло менять. В зале пересядете.

Я еле дожидаюсь вечера. Концерт – потрясающий. Музыка, звук – как с пластинки. При этом две трети зала пустые. Все, кто знал, кого пришел слушать, сбились в партере, а на дальних трибунах возмущенная пэтэушная молодежь орет: «Метал давай, падла!»

Выхожу с концерта совершенно ошалевший и иду к служебному выходу ждать артиста – вдруг смогу взять у него интервью. И вот он выходит. Копна волос, джинсы, белые кросовки, полосатая майка, ослепительная, как говорят про американцев, улыбка. И за ним весь его состав, который я по сей день могу назвать поименно: Лайл Мейс, Стив Родби и Дэн Готлиб. Считаю, четыре десятка лет пролетело, а помню. Потому что жил этой музыкой. Да, так-то вот.

Короче, подхожу к артисту и говорю: так и так, я корреспондент молодежной газеты из Одессы, мог бы я взять у вас интервью?

– Конечно, – отвечает. – Приходите завтра за час до концерта, поговорим в гримерной.

Вечером звоню своей подруге и, захлебываясь от одолевающих меня эмоций, рассказываю про концерт, а главное, что сам Пэт Метини согласился дать мне интервью!

– Та, – говорит, – лучше бы ты у «Би-Джиз» интервью взял.



Ну, что тут сказать? Музыка – дело вкуса. Есть такие меломаны, которые всю жизнь «Джулай морнинг» слушают со слезами на глазах. Так что я, любимой женщине «Би-Джиз» не прошу?

– Послушай, – продолжает она между тем. – Тут один киевский знакомый моей мамы хочет передать мне свежий номер журнала «Бурда Моден». Ты можешь его взять у него и привезти? Только проверь, чтобы вкладыш с выкройками был на месте.

– Никаких проблем, – отвечаю. – Пускай завтра приносит свою «Бурду» ко Дворцу спорта ровно без пяти шесть. Только без опозданий, меня звезда ждет.

– Ну, спасибо. Сейчас мама ему перезвонит. Ты сам, главное, не опоздай.

На следующий день без пяти шесть у Дворца спорта появляется мужина пожилого возраста в шляпке и сандалетах. В одной руке он держит журнал с яркой зарубежной обложкой, а в другой – ведро. Обычное цинковое ведро, накрытое каким-то платком.

– Вы такой-то?

– Да, это я.

– Это – вам.

Он протягивает журнал, а ведро ставит мне под ноги.

– Не понял, а ведро, что ли, тоже мне?

– Это – мясо.

– Какое мясо?!

– Свиная вырезка. Для вашей тещи. От Алексея Михайловича.

– Подождите, во-первых, она мне пока еще не теща, а во-вторых, ни про какие ведра с мясом мы не договаривались. Извините меня, но ведро я взять не могу!

– Ну, знаете, молодой человек, при таком подходе к жизни вы рискуете потерять такую тещу, какой вы больше не найдете. Ни с мясом, ни без мяса. Такие женщины на дороге не валяются.

Я стою смотрю на него, он смотрит на меня. Очень строго. Не знаю, что он думает про меня, но я в этот момент прямо-таки вижу, а воображение у меня – мама не горюй, как я появляюсь с этим ведром перед знаменитым американским джазменом.

– Здравствует, мистер Метини, не обращайтесь внимания, это тут Алексей Михайлович моей будущей теще мясо передал.

– Мясо?!

– Да.

– В ведре?!

– Слушайте, мистер Метини, у нас тут не Америка. Традиции, обычаи, привычки – все другое. Поэтому мясо мы, бывает, носим в ведре. Если оно есть. Я о мясе. Да и о ведре тоже. Еще скажите спасибо, что я его в карман не положил, потому что у нас тут и с оберточной бумагой тоже проблемы, я уже не говорю о целофановых кулечках.

– Алексей Михайлович, – вру я тогда этому типу. – Вы меня, конечно, извините, но я сегодня улетаю по заданию редакции в Москву, и домой в Одессу вернусь только через две недели. А через две недели меня с этим мясом ни в один самолет не пустят.

– Нет, ваши приоритеты меня определенно удивляют, – говорит Алексей Михайлович. – Я это должен буду обсудить с вашей тещей.

– Да она мне не теща!

Но он уже не слушает. Берет ведро и уходит. Хорошо еще, что журнал не отобрал.

А через несколько минут я показываю вахтеру свое журналистское удостоверение, тот зовет кого-то чином постарше, и меня проводят в примерную моего кумира. По-прежнему сияя своей американской улыбкой, он показывает на стул. Я сажусь, достаю ручку и блокнот.

– А диктофона у вас нет? – интересуется Метини.

И тут меня посещает очередное видение. Как вы уже поняли, я их генерирую с пугающей меня самого легкостью. Я представляю себя со злополучным ведром, которое я все-таки взял у этого Алексея Михайловича и пришел с ним на интервью.

– Простите, а это что у вас? – спрашивает меня музыкант.

– А это мой диктофон, мистер Метини! Форме и размерам удивляться не надо, потому что

тут все такое. У нас даже поговорка есть: советское значит отличное. В смысле отличается от всего остального в мире. Это у вас диктофоны маленькие и прямоугольные, а у нас – большие и цилиндрической формы. Потому что звук лучше входит и сохраняется именно в цилиндре. Это доказано нашими учеными. Кнопок тоже нет. Он сам заводится от звука. Говоришь: раз-два-три, хлопаешь в ладоши и – поехали.

Да, но ведра со мной не было. Короче говоря, я прекрасно справился с интервью, как обычно пользуясь блокнотом и ручкой. Была в те времена такая технология, и ничего, работала. Ну, вот. Интервью опубликовали. А моя любимая девушка стала моей женой. А ее мама, соответственно, моей тещей. Она неплохо ко мне относилась и, вы не поверите, но когда мы перебрались в Нью-Йорк и я начал работать в местной русской газете, она мне сделала отличный подарок – диктофон «Панасоник».

### III. Поздние проводы (Коля Ноготь)

У нас тут на Брайтоне жил один музыкант – Коля Ноготь. Своим прозвищем он был обязан технике игры на гитаре. Он не пользовался медиатором, а бил по струнам ногтем большого пальца – как Джефф Бек.

Коля выступал во всех русских ресторанах Нью-Йорка, но его отовсюду выгоняли. Дело в том, что когда он напивался, он устраивал такие концерты, что люди их потом вспоминали всю жизнь. На сцене возле него всегда стояла бутылочка воды, и в промежутках между песнями он отпивал из нее глоток-другой, только это, как вы понимаете, была не вода. Достигнув кондиции, Коля преображался. Вот он тебе мирно брэнчал «Семь тысяч над землей», и вдруг рожа у него становилась багровой и он вламывал такой Smoke on the Water, что посуда с полок падала.

Один раз я это видел своими глазами. После первых ударных аккордов Коля прыгнул в зал, там забрался на ближайший банкетный стол и, размахивая своим самопальным стратокастером, двинул прямо по тарелкам с закусками, потом поскользнулся, грохнулся задом в какой-то салат с крабами, и все это не переставая рвать струны и орать про дым над водой и огонь в небе. Что началось! Мужики матерятся, бабы визжат, кто-то метнул в Колю бутылку шампанского, но попал не туда, оттуда тоже вопят. Прибежали официанты, тянут Колю со стола за ноги, он отбивается, гитара ревет как раненый зверь, короче – ужас!

Когда Коле уже не осталось где играть, он еще выходил с портативным усилком и гитарой на Бордвок, но длилось это недолго. Наш участковый мент Арик подойдет, бывало, к Коле и говорит: «Братан, сворачивай свою музыку, люди жалуются. Сильно громко». Ну, Коля свернется, мелочь из банки для подаяний пересыпет в карман и пойдет. Арик ему: «Стой!» Тот остановится. Арик ему пятерку сунет и говорит:

- Только водку не покупай, пойдя пожрать себе возьми.
- Да не голодный я, – отвечает Коля. – Мне бы поиграть.
- Братан, бухать надо меньше, тогда и играть будешь в положенном месте. Понял?
- Понял.
- Все, иди.

Еще он какое-то время на платформе сабвея «Семь тысяч над землей» в формате unplugged исполнял, но это уже был не тот Коля Ноготь, которого мы знали в его лучшие, так сказать, моменты.

Нищета его, конечно, крепко пришибла. Бывает, смотришь: Коля это или его серенькая тень у винного магазина стоит? Так вот он и угасал в глазах своей старой аудитории, когда ему вдруг подвалило счастье – скоростижно скончалась бабка, у которой он снимал квартиру – тетя Рита.

Нет, вы только представьте: вот она каждого первого числа тарахтит в твою дверь с требованием внести квартплату, а вот она уже тихо лежит в своей старушечьей кровати и никого не беспокоит! Перемена настолько стремительная, что поневоле задумаешься: стоит ли так выкладываться на отпущенной тебе дистанции?

Да, а в доме этом, помимо покойницы и Коли, еще проживали молодожены Андрюха и Оксана Хапенки. Коля квартировал в двух комнатных за гаражом, а покойница с начинающими супругами на втором этаже обитала.

Оксана первой сообразила, что случилось. Говорит: Коля, ты молодой, залезь на крышу гаража и загляни к ней в окно, чего она там себе думает? Ну, Коля залез, поднял раму, смотрит – лежит тетя Рита и тихо смотрит в потолок. Он ее окликнул для порядка, никакой реакции. Все, думает, приплыла бабушка в свою последнюю гавань.

– Ну, и чего там? – интересуется Оксана.

– Чего-чего, в 311 надо звонить, нехай тело вывозят.

– Ты что, пьяный? – спрашивает Оксана. – Сегодня первое февраля, квартплату вносить больше некому, так что до марта куда звонить даже не думай. А бог даст, весна будет холодная, так можно и до апреля продержаться.

Потом мужу своему:

– Андрюха!

– Ну, че те?

– Пойди тете Рите отопление отключи, а ты, Коля, пока не слез, все окошки у нее открой. А я котлет с картошкой нажарю.

А у этой Оксаны чуть что – котлеты с картошкой, только повод дай. И вот на тебе повод – поминки!

Ну, Колю, ясно дело, как специалиста узкого жанра, послали в винный, где он на только что сэкономленные деньги взял бутылку «Котлована» к столу и еще шкалик «Смирновской» – себе на утро. Чтобы два раза не вставать.

Ну, сварили, сели, открыли, разлили, помянули тетю Риту, царствие ей небесное. Да-а, хорошая женщина была, хоть и строгая, особенно с деньгами, но дело такое – Бог дал, Бог взял, с ним не поторгуешься. Так что наливай еще по одной, пока котлеты не остыли.

И вот так они живут: месяц проходит – квартплата в карман, второй проходит – снова в карман. Андрюха уже подумывает о новой тачке, Оксана дубленку на распродаже взяла – по случаю конца сезона. Даже Коля, до чего безалаберный человек, а тоже со «Смирновской» на «Котлован» перешел, и даже заначил на черный день литрочку новой своей возлюбленной. Вот это уже настоящая Америка, холера ее раздери! Ан нет, в июне органическая химия все-таки берет свое. Летний бриз с океана приносит запах, отдаленно напоминающий запах не самой свежей рыбы. И этот запах дает совершенно неожиданный эффект – у Коли просыпается совесть. Он тогда стучит соседям в окно и говорит:

– Оксана!

Та появляется, халат запахивая, и тут же Андрюха за ней. Оба румяные такие, растрепанные.

– Ну, че те?

– Я тут, знаете, подумал и решил, что как-то это не по-людски. Надо бы, все-таки, тетю Риту похоронить.

– А полторы тысячи в месяц брать за эти скворечники – по-людски? – отвечает Оксана. – Ничего с ней не будет, нехай лежит.

– Я тебя слышу, Колян, – подает голос Андрюха. – Но ты тоже пойми – жарко, отсюда и амбрэ.

– Амбрэ! – говорит Оксана. – Очень ты нежный стал в Америке. Значит так: вставим тете Рите в окно кондиционер и пусть ей там будет хорошо и прохладно.

Ладно, скинулись, купили кондиционер, вставили его куда надо и снова жизнь идет, деньги капают. И тут по телевизору сообщают, что на Нью-Йорк движется страшный ураган. Пока он еще только приближается, в дверь стучат. Открывает Оксана. На пороге почтальон-печкин с кийпой писем.

– Здравсьте, а вам что – почта больше не нужна? Ящик забит так, что складывать больше некуда! Где адресат?

«Упс! – думает про себя Оксана. – Действительно, про тети Ритин почтовый ящик уже и думать забыли».

– Адресат ваш, в смысле наша тетя Рита, сильно устала и теперь спит, – отвечает тогда она. – Давайте, что у вас там. Как проснется, я ей вручу лично в руки.

Почтальон уходит, а Оксана садится на крыльцо и начинает перебирать довольно таки увесистую пачку корреспонденции. А там: счета за свет, счета за газ, из банка счета, одно письмо просто с явной угрозой: поскольку вы прекратили вносить плату по займу и не отвечаете на наши призывы к вашей совести, ждем вас в суде, шутки кончились.

– Ну, все, – говорит Андрюха. – Сколько веревочке не виться, а платить придется. А я только тачку присмотрел.

А Коля, напротив, радуется.

– Похороним наконец нашу тетю Риту, потому что она у меня просто как камень на шее висит. И это уже не говоря про все эти ароматы.

– Минуточку, – говорит Оксана, – главное, не делать резких движений. Как говорили в семье Ленина: Надежда умирает последней. Давайте подождем урагана. Может, он вообще этот дом смоев в океан нахрен. А нам еще и субсидируемое жилье дадут как жертвам стихии.

– Ладно, – говорит Андрюха. – Я сейчас куму позвоню в Бронкс, пересидим ураган у него, а ты, Оксана, иди пакуйся. Сковородку только не забудь.

Короче, запаковались они, да так, что сами еле в свой тарантас втиснулись, помахали Коле на прощанье, мол, держись, пацан, русские не сдаются, и отбыли к куму своему.

Не успели Хапенки завернуть за угол, как начинается: ливень льет, молния бьет, ветер свистит, и воды уже по колено! Нет, постойте, какое по колено, по пояс уже! Мамочка моя родная, что же делать?!

Ну, ясно что. Коля достал заначенную литровочку «Котлована», банку шпротов и пошел на чердак. Там он выпил, закусил и лег спать на старый матрас из хозяйства покойной тети Риты. Да, чуть не забыл, гитару свою любимую он тоже наверх притащил, потому что кроме нее у него же буквально – никого.

И вот он спит себе сном праведника, как это называется, а стихия под ним и над ним просто рвет и мечет. Но в конечном итоге она успокаивается, и как раз к этому моменту Коля продирает глаза. Осматривается с удивлением – типа где я? – и видит, что в окошечке под самой крышей, как и полагается после правильного потопы, светит солнце и сияет радуга. Мать честная, ну как же за это не выпить?!

Он выпивает и одновременно слышит такие звуки, как если воду, которая, видимо, собралась в доме, пока он спал, со страшным ревом втягивает в какую-то разверзшуюся под ним воронку.

Коля тогда вливает в себя еще сто пятьдесят для храбрости и выходит со своего чердака наружу. Что же он видит? Даже не спрашивайте, лучше бы он этого не видел!

Пол на втором этаже провалился, и видно, как бурлящий водоворот втягивает в себя всевозможное домашнее барахло, а на самом краю этой роковой бездны стоит стоймя кровать тети Риты вместе с самой тетей Ритой!!! За полгода лежания она так крепко с ней срослась, что никаким ураганом не оторвешь!

Коля смотрит на новый цвет лица тети Риты, на ее седые волосы до плеч, на ее черные глаза и от ужаса каменеет, но ненадолго, потому что остатки дома валяются со страшным скрипом набок, как те башмаки из известной песни про Костю-моряка. И тут же мощный поток подхватывает их вместе с Колей и его домохозяйкой и уносит в океан. Сбылся-таки Оксанин прогноз!

И вот они уже плывут, покачиваясь на легкой океанской волне. Тетя Рита, кажется, даже улыбается – она явно рада перемене обстановки, а что до Коли, то взобравшись на какую-то дверь как на плот, он прижимает к себе покрепче любимую гитару с не менее дорогой литровочкой «Котлована» и наблюдает за движущимся мимо него брайтонским берегом. Ах, какое все знакомое: магазины и рестораны, детская площадка и эстакада сабвея, чайки и голуби. Коля отвинчивает крышечку, делает еще глоток, шморгает носом и блаженно улыбается, как человек, которому показывают видео из мест, с которыми его уже ничего не связывает, кроме приятных воспоминаний.

## Борис МИНАЕВ

### КАЛАШНИКОВ

*и другие рассказы из цикла «Оды и некрологи»*

#### **Калашников**

У Саши Калашникова была такая манера – он как бы немного заговаривался. Ну то есть он, как это было ему свойственно всегда, начинал горячо говорить какую-то сложную мысль и тут же терял нужное слово, как бы спотыкался, катился кубарем, вставал, снова находил, опять спотыкался, и лишь в самом конце этого немислимого кульбита он выталкивал из себя нужную конструкцию, страстно выдыхал ее, и затем еще дополнял, развивал, и заканчивал уже весь этот немислимый пируэт, победно улыбаясь или восторженно радуясь сам.

Это не было по-актерски, специально, намеренно (хотя он был режиссером и актером по образованию, работал некоторое время в Ногинском театре, потом сам возглавил народный театр). Я вообще не помню, чтобы он говорил по-другому – тихо, спокойно, в одном ровном темпе.

Поэтому, когда он начинал говорить, все вокруг как-то замолкало. Все затихало, с уважением относясь к этим мукам «внутренней речи». К этому поиску нужного слова, тем более что голос у него был именно актерский – с огромным диапазоном, мощью, глубиной, с совершенно неожиданными раскатами смеха.

Он бы, конечно, легко мог стать каким-нибудь народным артистом РСФСР, у себя в Пензе или в Москве. Но он выбрал другое.

...Всю жизнь я занимался публицистикой, что-то обобщал, формулировал, сейчас это надоело. Но невозможно не написать про Калашникова, что он всегда воплощал для меня какой-то *другой* тип русского человека. Тип, которого я в жизни почти и не видел – настолько поглощенно-го своей идеей, готового ради этой мысли, мечты на любые подвиги, на любые безумства, так что все остальное по сравнению с этим выглядело мелким и неважным.

Если говорить совсем коротко, идея у Калашникова была простая – он хотел изменить мир. С помощью уличного театра.

В первый раз я его увидел во время дежурной командировки в пионерский лагерь «Орленок», в Туапсе, там нужно было писать о каких-то творческих детях, или о каких-то научных детях, в общем, зачем-то меня туда послали. Эта была осень 1987 года. В гостинице, проходя мимо номера с открытой дверью, я вдруг увидел чувака, который сидел на кровати и раскладывал вокруг себя фотографии. Десятки больших фотографий. Черно-белых. Потом я понял, что он их раскладывал для меня, но сначала мне показалось, что он просто смотрит их сам.

– Что это? – изумленно спросил я.

– Это... театр «Бум» из города Кузнецка Пензенской области! – важно сказал молодой борода-тый человек с необычайно живым лицом и смеющимися глазами.

---

*Борис Минаев родился (1959) и живет в Москве. Работал в «Комсомольской правде», «Огоньке», журнале «Медведь». Автор нескольких книг прозы, а также биографии Бориса Ельцина, соавтор биографии Егора Гайдара в серии «ЖЗЛ». Неоднократный финалист премии «Русский Букер» и «Ясная Поляна», лауреат премии журнала «Октябрь», лауреат премии «Заветная мечта» за лучшую книгу для детей и подростков, лауреат премии Егора Гайдара «За выдающийся вклад в области истории». Печатался в журналах «Вестник Европы», «Дружба народов», «Октябрь», «Знамя», «Урал» и др.*

– А... – сказал я и тоже плюхнулся на кровать рядом.

Я смотрел на эти фотографии и ничего не мог понять. Какие-то бесконечные кони в дугах, с колокольчиками и цветными лентами, подростки в скomorошких колпаках и трико, испуганные взрослые люди по бокам деревенской улицы, которые смотрят с ужасом на это буйство, закат на озере, плоты с парусами, кривляющиеся дети в сценических костюмах, бесконечные танцы, словом, непонятные мне толпы народа заполняли эти черно-белые снимки, и единственное, что можно было сказать, что всем этим людям хорошо. Ну или они делают вид, что хорошо – но хорошо делают вид, что хорошо.

– Ну вот такой у нас в городе театр... – важно сказал мой новый знакомый и протянул руку для знакомства. – Саша Калашников, главный режиссер театра «Бум».

– Новокузнецк? – переспросил я.

– Нет, Кузнецк Пензенской области, – поморщился режиссер. – Типичная ошибка. Новокузнецк город новый, советский. А Кузнецк – старинный, купеческий. К тому же в Новокузнецке экология ужасная, дышать невозможно. А у нас рядом Белое озеро. Красота, воздух.

– Ну да, понятно – сказал я, не зная, как продолжить разговор. – А чем вы тут занимаетесь, в «Орленке»?

Калашников занимался в «Орленке» не совсем обычным делом – он был «режиссером по детям» на съемках фильма «Музыкальная история» студии Горького. То есть он каждый день, исходя из сценарного плана, выходил на площадку, строил несчастных детей на жару, следил за тем, чтобы они были правильно одеты, и репетировал с ними сцены. Думаю, конечно, что эти дети с музыкальными инструментами (а фильм был именно о музыке) были немного напуганы, потому что в своем театре, как я понял позднее, Калашников с детьми разговаривал по всему эмоциональному диапазону, как со взрослыми – кричал, хохотал, заходил в истерику, говорил страшным шепотом и так далее. И это никого не пугало. Но к такой манере нужно было привыкнуть.

– Ну в общем, если вам это интересно... – подытожил разговор Калашников.

– Да-да, я понял, – сказал я и записал его телефон.

В Кузнецк я приехал уже довольно суровой зимой, стоял мороз градусов двадцать, Калашников вообще-то удивился, что я приехал в командировку, да еще не в сезон, когда никаких экспедиций нет. И по-моему, я его даже не предупредил.

Мы ходили по улицам и смотрели город.

– Ты понимаешь, тут у нас особый менталитет, – говорил он тихо. – С тех еще времен. Видишь, какие ворота, заборы?

Действительно, таких огромных сложных ворот я в других русских городах никогда раньше не видел. Это были ворота резные, на огромных столбах, с невероятными чугунными замками и засовами, с узорами и какими-нибудь грубо выструганными птицами на «навершье».

– Как это называется?

– Навершье, навершье, – повторил Калашников. – Пойдем, посмотрим. – Мы зашли во двор, махнув зильцам (Калашникова тут знал каждый), и осмотрели мир хозяйского подворья – огромный дом и высокую крышу, сени, хлев и подклеть, сарай и амбар, чего тут только не было.

Казалось, что все это сохранилось в таком виде еще с дореволюционных времен. Не было ничего разрушающегося, старого и покосившегося.

Люди, которых мы встречали, смотрели на нас с затаенным любопытством и сдержанно кивали.

– Понимаешь, какие тут куркули живут? – возбужденно прошептал Калашников. – Все себе, себе... Такая, брат, психология.

За мной всюду ходил секретарь горкома комсомола (так было положено), сопровождая меня в столовую, в гостиницу, на интервью, вечером советовал никуда не выходить – «у нас тут небезопасно вечерами», попросту сказал он. Я поверил.

Как-то мы раз зашли в кинотеатр, не помню зачем, посмотреть какую-то дежурную фото-выставку, кажется, или просто попить чая в буфете с булкой, и вдруг он завел меня в темный зрительный зал и показал:

– Видите, вон то кресло – в девятом ряду, тринадцатое место?

– Вижу, а что?

– Да тут у нас такая история, – загадочно сказал он. – Если садится человек в это кресло, его обязательно убивают. Это чистая правда, я не шучу. Уже много лет так.

– Ага, – сдержанно сказала я.

Наконец мы дошли до клуба обувной фабрики, где работал Калашников. Обувная фабрика здесь была потому, что с дореволюционных (опять же) времен в этих краях выдвигали кожи из шкур домашних животных.

За какой-то час Саша рассказал мне буквально все.

...Как целый месяц ходили на телегах со скomorошым представлением («мистерией»), по тарским и русским деревням, как устроили «Алые паруса» на Белом озере. Плоты, русалки, Грей и Ассоль на рассвете. Как теперь работают над третьей частью триптиха – театр на воздушном шаре.

Я записывал в блокнот.

В принципе, материала было уже достаточно.

Но меня поразили не его рассказы – а сам Калашников. Я не мог это сформулировать точно. Но чувство, что этот человек меня затягивает в какую-то глубину, воронку, было уже тогда.

Что еще запомнилось – это сочетание его безумных идей с воздухом Кузнецка, колючим и тяглым. С этими воротами до небес, «домами куркулей», грубо вырезанными деревянными птицами на «навершь», с этим холодным недоверчивым взглядом людей на улице, с этим тринадцатым местом в девятом ряду. Здесь внутри обычного советского казарменного неуютта, который я хорошо знал – было что-то еще другое. Свое. Свой местный провал в глубину.

Вечером того же дня мы пришли к нему домой, в скромную двушку в пятиэтажке, где его жена Таня напоила нас чаем.

На следующее утро я уехал в Москву.

Очерк о театре «Бум» долго валялся в гранках. Он, во-первых, был слишком большой (ну, подумаешь, детский театр, что за сенсация). Во-вторых, было не совсем понятно, на какую полосу его ставить – по школьному отделу надо бы в вторую, по отделу культуры – на четвертую. Секретариат не мог выбрать.

Ася была беременна Сашей. В январе, то есть не в сезон, мы взяли путевки в пансионат издательства «Правда» в Юрмале и поехали на две недели на Рижское взморье. Было прекрасно. Мы как-то упоительно ходили по заснеженному пляжу, заглядывали в пустые кафе, половина из которых не работала, смотрели на сосны, я писал, Ася все гуляла и гуляла.

Мягкий морской воздух делал жизнь более светлой и рождал надежды. Неизвестно на что. Шел 1988 год.

Однажды я просто купил в киоске газету – и увидел там свой очерк про Калашникова. Очерк стоял на четвертой полосе «Комсомольской правды», на почетном месте рядом со спортом и погодой, солидный такой трехколонник, наверняка у отдела культуры что-то в последний момент слетело, и срочно нужно было на что-то заменить.

...Мы приехали в Москву, и сразу раздался его звонок.

Он орал в трубку что-то восторженное.

Через некоторое время Саша приехал в Москву и сразу пригласил нас с Асей в театр на Таганке. Там была премьера – «Борис Годунов». Николай Губенко кидал через всю сцену огромный железный лом, метров на восемь. Лом красиво летел и втыкался, зловеще покачиваясь. Это я запомнил на всю жизнь.

Страна жила в ожидании переворота, бунта, диктатуры, беды, в общем, чего-то страшного – этот вонзающийся в сцену лом отлично иллюстрировал эту мысль о власти и ее непрочности. Но было, как говорится, прикольно.



Вообще у Калашникова, как выяснилось, там и тут работали ученики – и он мог нас «на что-нибудь сводить» в московских театрах. Но я стеснялся просить.

Прошло года два. Саша однажды появился у меня в «Огоньке», как-то вдруг, не предупредив. – Как ты это сделал? – потрясенно спросил Калашников, плотно закрыв дверь кабинета.

И положил на стол номер журнала «Огонек», где я тогда работал. На обложке был его театр: смеющиеся дети в скomorошьях колпаках, все те же лошади с бубенцами, в общем, красивая была обложка, разноцветная. А дело было вот в чем.

Мой друг фотограф Юрий Феклистов поехал с Сашиним театром летом в экспедицию – на этот раз это был «ковбойский спектакль», на лошадях. Он вдруг вспомнил мой очерк, позвонил Калашникову, и Саша увлек его этой идеей.

Правда, экспедиция началась 17 августа 1991 года, а 19-го Феклистов был уже в Москве. На баррикадах у Белого дома.

Но обложка все равно получилась. Я написал под обложку небольшой текст, на одну полоску.

– Да я уже и забыл, слушай... Но я рад. Очень рад, – пожал я плечами, улыбнувшись.

– Ты просто не понимаешь, – спокойно произнес Калашников. – Ты просто не понимаешь, что именно ты сделал.

– А что я сделал?

– Ну как бы тебе сказать... – тихо и торжественно сказал он. – С этой обложкой я могу горы свернуть, войти в любой кабинет. В любой, понимаешь? – сказал он и громко захохотал.

– Ну и как? – спросил я, внимательно глядя на него. – Уже зашел? Какой результат?

– Скоро узнаем... – просто сказал он. И попросился вечером в гости.

Так Саша впервые приехал к нам на Аргуновскую – он всегда приходил не с пустыми руками: игрушки для детей, огромные торты, букеты ромашек, бутылка вина... И начинал радостно шуметь.

При этом он заполнял все наше маленькое пространство своим густым голосом, сбивающим ритмом, бесконечными модуляциями, раскатистым хохотом...

Кроме его голоса, шуток и бесконечных рассказов, практически ничего в квартире уже не оставалось. Все предметы, как мне казалось, испуганно жались по углам. Приходили дети и во все глаза смотрели на Сашу.

Наконец нас с ним выгоняли на кухню, дети неохотно ложились спать, и тогда он переходил на оглушительный шепот.

– Ты не понимаешь... – шептал он тогда. – Ты не понимаешь, что ты сделал.

Да, действительно я не понимал. Масштабы произошедшего выяснились позднее.

Саша решил построить в своем городе не просто маленький камерный детский театр, а нечто другое.

...Впрочем, в Кузнецке у нас с ним такой случайный, как мне показалось, разговор вроде бы был. Мы проходили по центру города, как вдруг Калашников остановился и сказал: а вот тут у нас раньше был театр. Но он сгорел.

И действительно, купцы (поднявшиеся на выделке кож домашних животных) построили в городе еще до революции такой классический театр с колоннами по фасаду, потом советская власть его несколько приукрасила – герб Советского Союза, профиль Ильича, другая символика...

– Меня еще отец туда приводил, – рассказывал Саша. – И ты знаешь, местные жители очень любили наш театр! Для них надеть пиджак, брюки со стрелками, галстук, зайти в буфет и выпить пива – это уже было целое событие.

Однако главный Сашин проект, как выяснилось, не имел к классическому театру никакого отношения.

Ни старый купеческий театр, ни новый камерный в бывших «Спорттоварах» его уже не устраивали.



- Пойми, это время давно прошло. Я хочу другой театр.
- Ну какой «другой»? – спрашивал я, вдохновленный горением его души.
- Ну как бы тебе объяснить...

Назывался новый Сашин проект замысловато – «Театроград». Красиво – но ни тогда, ни тем более сейчас, моей фантазии не хватало, чтобы охватить умом этот грандиозный замысел.

Должен был находиться Театроград в заброшенном парке культуры и отдыха, на эскизе, который Саша мне показал, было нарисовано такое сложное многоступенчатое здание с башенками.

– И вот, понимаешь, – говорил Калашников, взволнованно понижая голос, – вот ты приходишь, и представь, ты *не знаешь*, в какой эпохе окажешься, в каком времени, в каких обстоятельствах, актеры импровизируют, и ты вместе с ними...

– Это как? – не понимал я.

– Ну вот так! Ты приходишь, а там РЫЦАРИ! Вот. И там, вот, смотри, происходит все, что с этим должно быть связано – тебя посвящают в рыцари, дают тебе, там, не знаю, меч, шлем, латы, ты участвуешь в турнире, перед тобой разыгрывается сцена из Вальтер Скотта, тебя на хрен убивают, ну я не знаю! – кричал Саша в изнеможении. – Ну неужели это непонятно? Ну включи фантазию!

– Понятно-понятно, – успокаивал его я. – Ну то есть на каждый день у тебя будет свой сценарий.

– Да нет! – заходился Калашников, бил себя ногой по ноге, прыгал на месте, стучал кулаками по столу.

– Нет! НЕ БУДЕТ СЦЕНАРИЯ! Сценарий родится спонтанно. Спонтанно, понимаешь?

– Не знаю, – неуверенно говорил я. – Откуда ты столько сюжетов наберешь?

– Ладно, сейчас не время, потом объясню, – говорил Калашников и, раздраженный моей тупостью, убежал в московскую ночь.

В его мечтах и фантазиях о Театрограде время двигалось непрерывно, и в то же время как бы скачками – из далекого будущего, то есть из космоса, в наши дни и опять в будущее, которое внезапно превращалось в прошлое, каждый день пришедшие зрители заново решали, где им жить, определяя свою жизнь вплоть до мелочей – одежды, пищи, цветов флага, и, разумеется, каждый из них был членом городского совета, имея голос в решении этих насущных задач. Потом я увидел что-то подобное в компьютерной игре. Но у Саши вместо нарисованных человечков должны были делать все это совершенно живые люди. И их дети.

На картинках проект выглядел скучновато – какие-то стены, башенки, тут и там возникали какие-то фальшь-фасады и простенки, но Сашу это не смущало, он был страшно доволен тем, что ему сделали настоящий архитектурный проект, подвели техническое обоснование, составили смету – и теперь, помимо остальных документов, которые он носил в новеньком кожаном дипломате, бережно обернутого в целлофан «Огонька», с той самой красивой обложкой, кроме проспектов и буклетов, он еще обязательно таскал с собой этот архитектурный проект, бережно его разворачивал и всем показывал.

Наступило 1 сентября 1992 года, и мой старший сын Митя пошел в школу. Это было трудное решение, потому что в обычную советскую школу мы его отдавать не рискнули. Казалось, что жизнь вокруг так меняется, что и школа для ребенка должна быть другой. Открывались новые альтернативные заведения, и в одно из них он поступил – это был так называемый «лицей на Воробьевых горах», в знаменитом здании Московского городского дворца пионеров, этот лицей был создан на основе кружков гуманитарной направленности – фольклорного, исторического, литературного etc.

Для того чтобы Митя мог ходить в этот лицей, ему потребовалось переехать к бабушке на Академическую. И жить несколько лет с ней. Трудность решения состояла именно в этом, и когда Митя первого сентября проснулся, настроение у него было просто ужасным. У меня тоже все дрожало внутри, я не знал, чем ему помочь и какие слова сказать.

Мальчик в белой рубашечке, в новеньких брючках, стоял передо мной с дрожащими губами и чуть не плакал.

В этот момент в дверь позвонил Калашников. Было примерно восемь утра.

– Так! – громогласно сказал он, стоя на пороге. – Это что еще за траур?

...У меня просто от сердца отлегло. Я вдруг вспомнил, что накануне вечером по телефону поделился с Калашниковым своими горестями, и он сказал, что ерунда, он приедет и отвезет ребенка в школу на мерседесе. Будет совсем другой колленкор.

Я не поверил, а оказалось правдой.

Мы вышли из подъезда. Ася с цветами, я держал Митю за руку, сзади болтался ухмыляющийся Калашников. У подъезда стоял старенький, но до блеска надраенный зеленый мерседес.

– Откуда ты его взял? – оторопело спросил я.

– Какая тебе разница! – заорал Калашников. – Залезай! Опаздываем!

Митя даже улыбался в дороге.

Шло время. Обложка «Огонька» по-прежнему работала, немного помогая Калашникову в его разнообразных делах.

– Слушай, ты не можешь достать мне второй такой журнал? – спросил он меня однажды, как всегда, при важном разговоре слегка краснея и зеленея одновременно, а глаз его при этом наливался каким-то ярко-желтым цветом.

– Зачем?

– Я уже не могу, неудобно показывать, этот истрепался совсем.

Я пожал плечами.

– Попробую, ладно.

Надо было просто украсть из редакционной подшивки, но я не решился. Тем не менее Калашников обзавелся дублем, но и дубль вскоре пришел в негодность от слишком частого употребления – задохматился по краю. Саша заходил в кабинеты министерства культуры, в Верховный Совет и Госдуму, в министерство строительства, и администрацию президента, да куда угодно. Впрочем, этот дар открывать все двери был у него и до «Огонька» с обложкой.

...Однажды он так сумел дойти до Фонда культуры на Гоголевском бульваре, куда каждый день ездила на работу Раиса Максимовна Горбачева.

– Ну вот представляешь? – говорил он. – А если бы в этот момент у меня был «Огонек» твой? А? Представляешь, какой был бы эффект? Эх, поспешили вы скидывать Горбачева.

Однажды он пришел ко мне поздно вечером на Аргуновскую с каким-то молодым человеком. Молодой красивый грузин отказался от вина и коньяка, пил минеральную воду и застенчиво улыбался.

– Ты понимаешь, что это за человек? – оглушительно шептал Калашников на всю квартиру. – Он так театру помог, ты себе просто не представляешь... Ты обязательно должен о нем написать. И о его фирме. Гоша, прости, как твоя организация называется?

Грузин краснел и отмахивался.

– Я вас очень прошу, – обращался он ко мне, – не обращайтесь на Сашу внимания. Я это делаю по велению души.

В моей голове сразу возникали разные ассоциативные цепочки – что там за бизнес, что за компания, долго ли проживет этот милый Гоша в криминальной Москве, и не попадет ли сам Калашников в перестрелку – а кто ж его знает...

Вежливо попрощавшись, Гоша ушел, а я строго переговорил с Калашниковым...

– Пойми... Я пиаром не занимаюсь. Это другая профессия.

– А как я, по-твоему, Театроград построю? – просто ответил он.

...Словом, ради своей мечты Калашников был готов на многое.

Например, он стал местным депутатом, с гордостью показывал мне значок – Кузнецкого городского совета.

Теперь он заседал на сессиях, вносил законопроекты, выступал перед избирателями.

Я думаю, избиратели были совершенно потрясены, с его-то способностями Саша вполне мог бы сделать себе политическую карьеру – проблема была в том, что он говорил везде только о Театрограде.

Если еще в начале 1990-х, потрясая нашим «Огоньком», Саша смог выбить из директоров городских предприятий какие-то деньги на «нулевой цикл», и даже вырыть огромный котлован, то потом все застопорилось. Котлован залило водой.

Пошли статьи в местных газетах, о том, что парке должны гулять дети, что деньги небось все украли, и вообще кто он такой, этот подозрительный Калашников, какова его общественная позиция в наши трудные дни? Патриот ли он вообще?

Саша смеялся, когда показывал мне эти статьи, но они, конечно, делали свое черное дело.

Грянула осень 1993-го, и в новый законодательный орган Калашникова вроде бы не избрали, работы по строительству Театрограда встали на паузу.

Начиналась совсем другая эпоха.

Нельзя сказать, что Саша со своим «Бумом» потерялся или растерялся в этой новой эпохе. Отнюдь нет.

Он устроил у себя в Кузнецке фестиваль уличных театров, причем международного уровня, туда приезжали коллективы из Прибалтики, из Ташкента, из Молдавии и Латвии, из Питера и Нижнего (хотя все города я не помню).

Поразительно, что не раз и не два в составе жюри был Слава Полунин, самый известный у нас в стране на тот момент мим, или клоун, в общем, великий человек, благодаря его присутствию фестиваль в Кузнецке приобрел такую репутацию, о которой и в областном городе можно было только мечтать, а уж в районном центре Пензенской области и подавно. Да вообще в стране таких фестивалей больше-то и не было, на мой взгляд.

...Каждый год, примерно в начале декабря, он звонил мне и спрашивал, приеду ли я в этот раз. На очередной фестиваль.

Каждый год я бекал и мекал, откладывал решение и не приезжал.

– Ну вот я не понимаю! – кричал Калашников в трубку. – Зачем ты все эти статьи писал? Зачем ты эту обложку сделал? Значит, это было не искренне?

– Ну почему же? – смущался я. – Очень даже искренне. Ну просто у меня работы много. Пойми.

Он бросал трубку, и я оставался один на один со своими размышлениями.

Почему я к нему не ехал, действительно?

Ну странный вопрос. А почему я в середине 80-х не ходил на подпольные рок-концерты и рок-фестивали, организатором которых был мой друг Илюша Смирнов? (То есть ходил, но всего пару-тройку раз.) На собрания клуба «Перестройка»? На митинги? В отличие от своей подружки Якович, на митинги 80-х я тоже почему-то не ходил.

Но, помимо моей обычной лени и нежелания рано вставать, была еще какая-то причина, которую я не мог точно сформулировать.

Калашников и так оказывал на меня слишком сильное воздействие, без всякого фестиваля. Он был моим медиумом, который невидимо и неслышимо посылал мне прямо в мозг какие-то свои сигналы, вот с того с самого первого раза, когда он лежал на кровати и раскладывал вокруг себя фотографии.

Что же будет, если я съезжу на этот его фестиваль?

Я цеплялся за бытовую лень и занятость, и не ездил.

Еще одна важная наша встреча произошла на так называемой Театральной Олимпиаде в 2001 году. В Москву тогда съехалось около ста уличных театров со всего мира. Саша позвонил и пригласил меня с детьми в сад «Эрмитаж».

...Надо сказать, что я всегда не очень понимал этот жанр.

У меня была знакомая, которая несколько лет прожила с мужем-музыкантом во Франции, работая в каком-то уличном театре. Она там обшивала всю труппу, монтировала декорации, работа была адская и за копейки. Это был какой-то очень известный коллектив в Европе, но она никак не могла мне объяснить, что же это в целом такое. Кроме того, что они ставили «античных авторов в своем переложении», я так ничего и не узнал. В спектаклях Калашникова, которые шли под крышей, я все понимал – вот люди с бешеной скоростью перемещаются по сцене, кричат и бьются головой об твердый пол, прыгают на автомобильных камерах, с риском для жизни создавая какой-то сюжет – но что такое этот театр в декорациях города или парка?

И вот теперь мне это предстояло понять.

Я вошел в сад «Эрмитаж», крепко держа сына за руку. Все было странно.

Уличные актеры, клоуны, комедианты взмывали в воздух на канатах, обращались ко мне на немецком языке, вокруг горели в площадках жертвенные огни, и, повинаясь парам горячего воздуха, маленькие железные человечки крутили свои грустные железные велосипеды. Безумные девушки с оранжевыми волосами летали по теплomu воздуху где-то вверху, и толпа шараялась от них по свежей выстриженной траве.

Человек на ходулях прошел мимо меня и рассмеялся своей красной улыбкой на белом лице.

Это было уютно и совершенно не страшно.

...За каждой маской, за каждым человеком на ходулях, за каждым канатоходцем, за каждым снопом огня, вырвавшимся из горла, за каждым звуком, издаваемым десятками барабанщиков – стоял, переливался, дрожал какой-то общий смысл.

Если говорить коротко, это было осязаемое и явное присутствие бога. Я тогда задумался над этим – может быть, я как-то жестоко ошибаюсь, ведь все-таки большинство этих знаков и символов имеют дикую языческую природу, никак не связанную с христианским гуманизмом, но в грудь меня толкнула другая мысль – нет. Нет, конечно же, это пришли боги спасти этот город.

...Дело в том, что Москва была уже тогда городом «богооставленным», мы просто этого не замечали.

Еще впереди был Беслан, да и многое другое, но в целом казалось, что одичавшая, одуревшая от своего внутреннего сиротства Москва не может быть площадкой для таких чудес. А она – вдруг стала.

Помню, как я мягко опустился на траву, лег на спину и стал смотреть на канатоходца – эта была девушка с голубыми волосами, которая шла вдоль фасада бывшего театра, на огромной высоте, на канате, держа в руках длинный шест.

Я лег на траву и выдохнул. Меня охватила внутренняя дрожь и пробило счастье.

Будущее, оказывается, все-таки возможно!

Потом мне позвонил Калашников и хриплым от перенапряжения голосом сказал, что он сходит с ума, что Полунин обманом втащил его в эту авантюру, что он устал и больше не может, и что он все-таки приглашает нас всех с детьми в парк Кусково в такой-то день в одиннадцать вечера. «Пусть во всем этом будет хоть какой-то смысл», – грустно сказал Калашников.

...Ехать в парк Кусково к одиннадцати вечера мне не очень хотелось. Я совершенно не представлял себе, как буду оттуда уезжать после часа ночи, да еще с детьми. А в том, что это не кончится раньше часа ночи, можно было не сомневаться. Но дети твердо сказали мне, что ехать надо. Что они никогда в жизни не увидят больше ночного представления на воде. И я взял такси.

...Мне казалось, что в парке Кусково мы присоединимся к немногочисленным поклонникам Калашникова. Что там ночью будет человек сто небольшой спянной театральной тусовки.

Но вдруг машина остановилась на светофоре. Зажегся зеленый, но через дорогу в темноте валила какая-то бесконечная огромная толпа. Массы людей осмысленно передвигались к дальнему концу озера, мимо усадьбы, по гравийной дорожке.

«Неужели им так интересна водная феерия “Алые паруса”?» – недоверчиво подумал я. И попытался разглядеть, откуда они идут. Они шли из близлежащих спальных микрорайонов. Они

шли из огромных белых домов, в которых почти все выключают в одиннадцать вечера свет, потому что рано вставать.

И я понял, почему все это происходит. Об «Алых парусах» ничего не было по радио и телевидению, в газетах и журналах. Не было никакой рекламы. Калашников просто расклеил несколько афиш. Люди сами передали друг другу эту благую весть. Они сразу поняли, что на этот раз театр будут показывать именно для них, для жителей близлежащих домов в микрорайоне Перово.

Грубо говоря, на Калашникова надвигалась настоящая людская масса, исчисляемая тысячами людей. Они шли с маленькими детьми, тащили коляски, корзинки с едой, глухо переговариваясь во тьме.

И вдруг я понял, что всю свою жизнь Калашников хотел ставить спектакли именно для *них*.

Поплыли плоты с красными парусами, их двигали русалки (команда девушек по синхронному плаванию), громовыми голосами произносили диалоги над водой артисты, в общем, это было представление по законам жанра – мрачно, громко, красиво, прожектора, вода, и пусть я любил более камерные зрелища, тут пришлось замереть и не дышать, потому что исполнялась мечта Калашникова – буквально на моих глазах.

Часа в три ночи мы уехали, поймав на дороге машину.

Трудно сейчас сформулировать, какими были наши отношения.

Несмотря на то что мы порой и встречались, и подтрунивали друг над другом, и ужинали у нас дома, и созванивались – все равно оставалась какая-то неясная зона. Я его очень любил. В те первые минуты или часы, когда он снова являлся в мой мир, я смотрел на Сашу с обожанием. Это был невероятный по яркости человек.

Потом мне хотелось выскользнуть из его, так сказать, ментальных объятий – Калашникова было так много, что ты уже не мог вздохнуть, он поглощал тебя всего.

На самом деле Саша очень любил нас всех – меня, Асю, Сашу, Митю, хотел порадовать подарками, всегда куда-то звал. Мне даже кажется, что он был, несмотря на то что крутился где-то там, на своих космических орбитах, важной частью нашей семьи. По крайней мере, Саша был частью меня.

Мне было важно, что Калашников существует.

– Да ты просто не знаешь, как у нас люди живут! – говорил он мне горько, когда мы спорили. – Это ж не Москва.

– Ну и что? – пытался понять я. – И что, что не Москва?

– Ты не поймешь.

В начале 2000-х жизнь его вообще пошла как-то по-другому.

Калашникова стали сживать со свету в Кузнецке. Появились злобные доносы и фельетоны, которых можно было ожидать в новую эпоху: сменился губернатор, сменился мэр, все сменились, и Калашников с его полным неумением говорить дипломатично, мягко, округло, не стеснявшийся ни в каких выражениях, ни по какому поводу – стал врагом. Ему припомнили все – и недострой в парке, и то, что в Москве он бывает чаще, чем в Кузнецке, и подозрительные спектакли, и подозрительные высказывания.

Его попытка превратить «Алые паруса» в коммерчески выгодную франшизу тоже не удалась – строительная фирма больше не хотела финансировать эту дорогостоящую забаву, и, хотя однажды Калашников показал свой театр на ночной воде даже где-то в Испании – на этом вся франшиза закончилась.

В Москве он занимался уличными театрами в Союзе театральных деятелей. У него уже было имя в театральной среде, но боюсь, административная работа была ему совсем не по нутру.

Наконец он окончательно переехал в Москву.

Прошла еще пара лет, вдруг Калашников позвонил и пригласил на свой спектакль. Оказалось, он служит приглашенным режиссером в Московском областном детском театре, а сам спектакль (какая-то народная притча, мистерия, ну в общем, что-то в его духе, по русским сказкам) состоится в музее Победы на Поклонной горе.

Место было странное, кругом были диорамы битв, бесконечные коридоры, мрачно блестели ордена и знамена, но вот мы набились в какой-то маленький зал. Там было что-то похожее на Калашникова, необычайная плотность движений и звуков, выкрики, пляски.

Но вообще-то спектакль был плох.

Все было как-то мимо. Ася вышла из зала.

Я никак не мог понять, что же не так, а потом понял. Играли взрослые актеры. В них не было главного качества – наивности, веры в чудо, которое есть в подростках, того самого «бума».

Саша вышел к нам на минуту, я с трудом сказал ему что-то хорошее. Он странно выглядел. Я не видел его несколько лет, и отметил это.

Калашников как-то резко изменился внешне. Было ощущение, что его как будто раздрает в разные стороны – в разные стороны смотрели глаза (я тогда впервые это понял), рот кривился, где-то через слово он ругался, и раздражение выплескивалось – да, это было обычное режиссерское раздражение на игру актеров, на недоделки, на ляпы, но за этим раздражением проступало нечто большее.

Я вдруг вспомнил, что его родной брат умер от сердечного приступа в очень молодом возрасте. Как говорится, шли годы.

Калашников теперь жил в Москве, активно заводил знакомства, к чему-то готовился, что-то задумывал и совсем не производил впечатления грустного или мрачного человека.

Однажды он позвал меня на «музыкальный салон», где хотел с кем-то познакомиться, изложить какую-то идею, я сказал, что приду, давно не виделась.

– А где это? – спросил я.

– Хохловский переулок. Там есть такой музыкальный салон Юргенсона, номер дома... А, не помню! Ну ты найдешь: Хохловский переулок, ты же знаешь, наверное.

– Наверное, да, знаю, – гордо сказал я.

– Ну да, ты же москвич! – захохотал Калашников.

Я вышел из метро «Китай-город» и пошел по Маросейке и Покровке.

Когда я понял, что не знаю, где Хохловский переулок, мне стало очень обидно. Я решил идти и идти, до конца улицы, заглядывая и заворачивая в каждый переулок, но быстро устал.

Завернул туда, завернул сюда, но нигде не было этого злосчастного Хохловского переулочка. Я просто сходил с ума. Стал спрашивать у прохожих, но я уже ушел далеко, куда-то в район Басманной улицы.

Потом я проходил по Хохловскому переулочку сотни раз. Но именно в этот вечер я в него не попал.

В тот вечер мы так и не увиделись.

А через пару лет Сашу разбил удар. И он умер.

Таня позвала на скромные поминки в «Театр юных москвичей», с которым Саша дружил, возле Ленкома. Там были разные актеры, режиссеры, журналисты, какие-то мои знакомые.

Показывали фотографии, те самые. И ту самую обложку.

Мы вышли из подвала, я взял Асю за руку.

И вдруг подумал, что я так ничего и не понял про Театроград – как это должно быть, как это работает, что это такое.

И уже не пойму в этой жизни.

Только в следующей.

### **Мой бывший сосед Витя**

Когда я жил на улице Кедрова, был у меня такой сосед – Витя.

Жил он буквально в соседней квартире, однокомнатной, на нашем четвертом этаже – дверь в

дверь с нами. Это была кирпичная пятиэтажка пятидесятых годов. Очень хороший дом, кстати, ни под какую реновацию он потом не попал.

Когда мы впервые туда пришли, впечатление было, правда, не очень. Лифта там не было (хотя в других пятиэтажках иногда встречался), и мы пошли на четвертый этаж по лестнице, буквально залитой кровью. Ну не залитой, может быть, но закапанной. На нашей лестничной клетке стоял сосед Витя и внимательно смотрел на нас.

– Что ж это такое, а? – взволнованно спросил я.

– Да вот, хуйня такая, человека зарезали, но вроде жив он остался, – каким-то странным голосом, выражающим то ли ужас, то ли смятение, сказал Витя, и медленно удалился. Дверь за ним захлопнулась, и мы вошли в свою квартиру.

...Через день к нам пришел участковый милиционер с обходом. В руках у него была папочка.

– Так! – весело сказал он. – Тут у нас что? Ага! Тут у нас притон!

– Точно! – сказала Ася. – Чего в бумажки смотрите, сами не видите? – в коридор выбежали наши дети и увидев дядю в форме, прижались к ней. Детей было двое, восьми и пяти лет соответственно.

Участковый как-то притих, и сделал в бумагах какую-то пометку. Вежливо попрощался и ушел.

...Действительно, наша квартира производила страшноватое впечатление. Потолок был черный после произошедшего недавно пожара, на нем было крупно написано «Спартак», ремонт никто, конечно, не делал, по углам валялись какие-то тряпки. Там была такая ситуация: родители спились, а выросшие дети спиваться не хотели. Они и придумали этот обмен. Родителей отправили в дом в деревне, на излечение, а сами переехали в нашу квартиру на Аргуновской.

Сами юридические процедуры прошли нелегко, и не было твердого ощущения, что все у нас получится: руки и лица бывших квартиросъемщиков дрожали от волнения и похмелья, казалось, они плохо понимали, что происходит. Однако в процессе я понял две вещи: во-первых, они действительно хотели переехать в деревню, подальше от своих бывших друзей, и во-вторых, когда-то они были нормальными людьми.

Папа, например, посмотрев на наших детей, вдруг сказал:

– Только вы в ближайшую школу детей не отдавайте! Которая через дорогу. Это бандитская школа!

– Тут до нас какие-то евреи жили! – сказала мама. – Вот видите, они тут вот шкафчик построили.

Действительно в коридоре был очень удобный высокий шкафчик для инструментов и прочего хозяйственного барахла – гвоздей, шурупов, лампочек, изоляции, и прочего. Он был самодельный, и выдавал в бывших жильцах («евреях») сильную практическую мысль.

...Как там дети и родители решили между собой денежный вопрос (а доплата была по тем временам немаленькая), я не знаю – но абсолютно точно, что папе и маме эти деньги нельзя было выдавать ни под каким видом.

Буквально на следующий день после переезда (был выходной) в дверь раздался звонок – я вздрогнул, решив, что к нам снова пришел участковый.

Но это был другой человек – тот самый, который объяснил мне, откуда на лестнице кровь.

– Я ваш сосед, Виктор! – громко сказал он. – Здравствуйте!

Мне Витя показался человеком чуть старше меня, ощущение усиливалось тем, что он носил очки с очень большими диоптриями, и глаза его в очках были крупными и выпуклыми, а взгляд приобретал крайне внимательное выражение. Витя как будто гипнотизировал меня этими своими неестественно крупными глазами. Кроме того, он сильно хромал, и был, насколько я понимаю, инвалидом детства. Одним словом, имелись у него серьезные проблемы со здоровьем.

– Я, собственно, вот по какому делу... – смущенно сказал сосед Витя. – Нет ли книжки какой почитать? Я, в общем-то, мало куда выхожу. Хочется чем-то себя занять.



Я сказал, что книжек тут полно, но они еще не распакованы, мы их сначала снесем в одну комнату, и я тогда что-то подберу.

Я поинтересовался у Вити, что ж за подъезд, в который мы переехали, что за обстановка нас ждет – тут алкаши жили, там поножовщина. Какие прогнозы?

– Да ну, ерунда! – отмахнулся Витя. – Подрались ребята, с кем не бывает. Ну а ваши бывшие жильцы, они ж уехали. Теперь в подъезде будет покой, красота. Короче, слушай, я завтра зайду.

И он действительно зашел завтра. Я подобрал ему первую книжку.

На следующий день он пришел снова.

– Не пошла... – сокрушенно сказал он. – Чего-то не пошла. Можно другую?

– Сейчас, – сказал я и начал копаться в картонном, еще не распакованном ящике. Страсть Вити к чтению вызывала во мне уважение, и мне захотелось понять ее природу.

Впрочем, Ася говорит, что все это – кровь на лестнице, визит участкового, первое знакомство с Витей – было значительно позже, когда мы уже переехали и сделали ремонт. А сначала была просто эта страшная квартира после пожара. Наверное, она лучше помнит. Но мне запомнилось именно в такой последовательности.

Квартира у самого Вити была однокомнатная, но просторная – большая комната, большая кухня, коридор. Выглядела практически как двухкомнатная.

...Витя, кстати, оказался в целом прав. Обстановка в подъезде довольно быстро менялась. На входной двери поставили кодовый замок, въезжали какие-то новые соседи, они ставили железные двери, на лестничных клетках появились домашние растения в кадках, какие-то уютные коврики, все становилось цивилизно и аккуратно.

Вообще это была удивительная в своем роде квартира. Она была угловая, окна выходили на три стороны. Не будучи очень уж большой по метражу, она казалась просторной из-за того, что предыдущие соседи («евреи, наверное») отделили от одной комнаты простенком еще одну, узкую как пенал – и комнат поэтому было теперь у нас целых четыре: спальня, кабинет, детская и гостиная. Я никак не мог привыкнуть к этому обстоятельству – и порой долго смотрел в спину ребенку, который важно шел по длинному коридору, проходя мимо разных дверей – это зрелище казалось мне гипнотическим.

Но самое главное – это деревья, окружавшие наш дом. Они были высокие, большие, и их мощные ветви толкались прямо в окна, во время сильного ветра вызывая тревогу – шорох и стук в стекло были как будто живые. Потом мы привыкли.

Летом и осенью во всех окнах было удивительное освещение – солнце светило сквозь листья. Рядом с нашими окнами росли две огромные, достававшие до четвертого этажа, груши. Весной они зацветали розовыми мелкими цветами. Из окна в детской была близко видна странная плакучая береза с длинными как опущенные руки ветками. Листья дрожали, солнечный сложный узор переливался на потолке, от ветра деревья шумели, было какое-то ощущение сказочной детской книги – мы жили как в лесу, при этом буквально в пятидесяти метрах от нас шипела и воняла шумная Профсоюзная улица. Мы были отделены этим «внутренним лесом» от нее, то есть от обычной Москвы.

Дети были еще маленькие и не успели отстроиться и отдалиться, это были наши золотые годы, и я чувствовал это. Я чувствовал, что дальше будет как-то по-другому, может быть, тоже по-своему хорошо, но уже не так. Не так хорошо.

Однако думать было особенно некогда – нам предстояло обустроить эту квартиру самим. И если на Аргуновской – все было просто, там в «большую комнату» с некоторым трудом влез письменный стол, книжная «стенка», раскладной диванчик, на этом пространство кончалось – тут, на Кедрова, все было несколько иначе. Тут нужно было *вообразить* новое пространство, прежде чем начать его заполнять.



Однако оказалось, что Ася к этому готова – и у нее есть много новаторских идей.

Например, довольно высокий (как и во всей квартире, разумеется) потолок на кухне она решила покрасить в темно-коричневый цвет. (Там было пятно, потолок когда-то протек, и пятно не поддавалось никакой побелке). Такими же темно-коричневыми стали и оконные рамы. Стены были темно-розовыми, но за точность оттенка не поручусь.

Тетенька, которая была маляр и штукатур и делала нам довольно примитивную отделку-побелку (в частности, белила изуродованный пожаром потолок), долго кричала, подбирая нужный оттенок на кухню, как ей казалось, он был излишне мрачный. Однако Ася не сдалась, и потолок был в итоге был именно коричневым.

С другой стороны, в туалете потолок и стены были нежно-розового оттенка, а наша подруга Жень Двоскина нанесла еще на стены по трафарету какие-то мелкие цветочки, рисунки и прочее. В ванной стены были голубые.

...Затем нам предстояло подобрать обои во все четыре комнаты.

В гостиной, где долгое время находились только два кресла и телевизор, и еще модное ярко-красное кресло-мешок, в него можно было плюхнуться, а выползть приходилось уже на четвереньках, были выбраны снежно-голубые колючие тона, еще с какой-то присыпкой, то есть они были не гладкие, а шершавые, и действительно походили на снег. В спальне был выбран сильный контраст между очень темными обоями и белым шкафом-купе с большим зеркалом. Обои были какие-то очень дорогие (а что ты хочешь, это же шелкография, объяснила Ася), но мне было все равно.

Слава богу, мы теперь жили на Профсоюзной, а каждый москвич знает, что здесь еще в советское время была обойная мекка – магазины, мелкие лавочки и просто «индивидуальные предприниматели», которые торговали обоями в советское время из-под полы, а сейчас – открыто, с каких-то лотков. Одновременно тут брали краску, нанимали рабочих, у меня вообще было ощущение, что весь город или, по крайней мере, полгорода находились в состоянии ремонта, обмена, переезда и прочего.

Люди переезжали, менялись, расширялись, обустривались, и это, пожалуй, был главный сюжет для Москвы в то время.

...Скрытый за внешними мрачными событиями, но на самом деле чуть ли не основной.

Когда все было закончено, стало ясно, что в гостиной у нас все-таки пустовато, и тогда Ася воткнула в большой горшок-кашпо небольшое сухое деревце, а Жень Двоскина покрасила ветки белой краской – на концах ветки были красными.

Некрасивый, но полезный шкафчик в коридоре (не тот, что остался от «евреев», а новый) обклеили остатками обоев растительного «гобеленового» орнамента, которые пошли в коридор, на кухне основным компонентом по-прежнему служил «уголок» из скамьи-сундука, коричневых плитусов и полок, вывезенный нами с Аргуновской.

Дом рождался буквально на глазах.

Единственное, чего у нас не было – это кровати. Раньше (приблизительно 15 лет) мы спали на раскладном почти детском диванчике, теперь его отправили в «кабинет» и нам остро нужна была новая кровать. С этим возникла какая-то проблема. Комната была узкая, кровать нужна была «полуторная», белый шкаф-купе с зеркалом тоже едва помещался, нужно было еще придумать, как использовать кровать для хранения белья и других разных вещей, одеял и прочего. Везде в мебельных были только дорогие «спальни» (то есть огромные гарнитуры), а простую узкую кровать было никак не найти.

Наконец подруга Двоскина, которая в то время была нашим добрым ангелом, нашла подходящую кровать белорусского производства на какой-то то ли 17-й, то ли 25-й Парковой улице, и я поехал туда.

Это, разумеется, был последний экземпляр, я отсчитал деньги дрожащими руками и вышел в поисках грузовика.

Грузовик стоял буквально за углом, водитель помог мне кровать погрузить в кузов (она представляла собой несколько отдельных упакованных ящиков), и предложил залезть в кузов самому.

Никогда не забуду, как я ехал домой, на Профсоюзную, через всю речку Язу, на грузовике. Горбатые мостики, старые набережные, по реке тогда еще плавали катера, деревья грустно склоняли голову к воде. Я выглядывал из кузова, раздвигая брезентовые шторы. Было красиво.

Дома я стал читать инструкцию по сборке – и охнул.

Стало понятно, что без соседа Вити мне не справиться. Надо было звать его на помощь. Мы в последний раз переночевали на диванчике в кабинете. Утром Ася приготовила полный обед – суп, жаркое, салат, компот, и вот я позвонил ему в дверь.

Нельзя сказать, что Витя воспринял мое предложение с какой-то радостью или даже готовностью. Нет.

– Слушай, – сказал он несколько озадаченно. – Я попробую, но вообще... черт его еще знает, что там за конструкция.

Следующие три или четыре часа Витя провел в битве с кроватью белорусского производства и с инструкцией по ее сборке. Он шипел, кричал, ругался, глаза его в очках с большими диоптриями наливались кровью. На это было страшно смотреть.

– Кто это пишет? – орал он, пытаясь разобрать язык инструкции и логику действий.

Витя по профессии был инженер по технике безопасности.

Я не автомобилист и не знаю, сравнимо ли было это занятие с такими советскими развлечениями, как «перебрать мотор» или «поставить карбюратор» на какие-нибудь там старые «Жигули», но мне кажется – да, вполне сравнимо.

Наконец Витя закончил, весь в поту и в мыле, кровать складывалась и раскладывалась, все многочисленные гайки были привинчены, болты закручены, ничего не скрипело, все прекрасно работало.

Я мысленно поблагодарил бога и Витю. Шансы были не так уж велики.

В процессе битвы с кроватью был страшно поцарапан отциклеванный, свежепокрытый лаком пол. Глубочайшая царапина осталась навсегда.

Затем Витя с удовольствием съел обед, переходящий уже в ужин. Мы снова горячо его благодарили, понимая, что обед – не совсем равноценная замена такому тяжелому труду.

Все эти три или четыре часа я пытался Вите помогать, то поддерживая кровать в нужном положении, то налегая плечом, то подавая запчасти, но все это была ерунда. Витя собрал кровать практически один. Ася все эти три или четыре часа просидела на кухне, горестно оперевшись подбородком о ладонь и ожидая конца эпопеи.

В общем, в каком-то смысле это был подвиг.

Спина у Вити после подвига долго побаливала.

...На следующий день Витя снова пришел за книжкой. Иногда он приходил и за чем-то хозяйственным (соль, спички, подсолнечное масло), но чаще все-таки его интересовали книжки и кассеты.

Видеомагнитофон появился у Вити не сразу, через полгода после меня, поэтому сначала были только книжки – он перебрал практически всю мою библиотеку. Философские книжки (которые я и сам не читал) или книжки про политику Витя не любил. Исторические или мемуары брал охотно. Десяток или два имевшихся у меня детективов прочел жадно, быстро, но очень низко оценил их качество, особенно Дашкову и Маринину, случайно валявшихся на подоконнике.

Классику он брал далеко не всегда. «Да это я читал!» – разочарованно говорил Витя, а память, очевидно, у него была хорошая, с другой стороны, что-то из классики «не пошло», но постепенно, ряд за рядом – он перебрал на моих книжных полках все: зарубежную литературу, «литпамятники», отдельные тома библиотеки «всемирной литературы», Томаса Манна и Генриха Манна, Дюма и Вальтера Скотта. Современные русские книжки у него как-то не шли совсем. Кроме Войновича с Довлатовым.

– Понимаешь, – говорил он, сидя у нас на кухне или стоя в прихожей с книжкой в руках, – очень скучно жить. Надо хоть чем-то голову занять. Библиотека для меня спасение.

Очень часто он спрашивал – а читал ли я сам ту или иную книжку? Я не хотел врать, и очень часто честно отвечал, что нет, не читал.

– Ну а как же ты библиотеку собираешь? – недоумевал Витя.

– Понимаешь, – говорил я ему, – это такой материал мне на будущее, пригодится для чего-то, а так ведь я много пишу, редактирую. Работаю, в общем, очень много времени на это уходит.

– Да, у тебя есть работа, – грустно говорил в ответ Витя. Он уже знал, что я журналист. – А у меня работы нет. Завод закрыли, давно уже. Не знаю, чем голову занять.

...Раз за разом возвращаясь к этой теме, он делал это как-то нейтрально, без каких-либо оценок текущей действительности, но я все равно часто испытывал перед Витей чувство вины.

Витя, конечно, был типичный русский человек «без завода», вроде бы совсем не вписавшийся в новую структуру жизни. Его электромеханический завод, где он работал инженером по технике безопасности, давно закрылся (так он говорил), и Витя очевидно был стеснен и в деньгах, но главное – ему нечем было заполнить освободившееся время.

Исключение составлял лишь короткий московский купальный сезон. Летом Витя брал плавки и уезжал на целый день в Серебряный Бор. Других активных развлечений, по-моему, у него не было вообще.

Иногда Витя приходил и по другому поводу (раздавалась тревожная и слегка раздраженная соловьиная трель).

– Слушай, – говорил он. – Ты не можешь найти мне учеников?

– Каких учеников? – интересовался я.

– Ну... я подтягиваю всяких балбесов, по физике, по математике, – объяснял мне Витя. – Помогаю им задачи решать, объясняю основные вещи. Сейчас в школе, сам знаешь, какая обстановка. Учат плохо.

Витя, разумеется, не брался готовить учеников к поступлению в вуз, это было слишком ответственно и вообще требовало, как сейчас говорят, «коррупционной составляющей», нет, он просто готовил к школьным экзаменам шести-, семи- и восьмиклассников, тех, кто просто не мог получить нормальные годовые оценки. Делал он это эпизодически, и это приносило ему совсем небольшой доход, но давало ощущение «статуса», и главное, занимало его время. Вообще проблема пустого времени – была, как мне казалось, тогда для него главной.

Найти учеников для него я никак не мог (некоторое время он занимался то ли с Митей, то ли с Сашей, но продолжалось это недолго).

...Часто какой-то внутренний вопрос по поводу Вити мучал меня, я не мог найти на него ответ. Верней, и ответ, и вопрос, они уходили куда-то высоко, теряясь в очертаниях глобальных перемен.

Ведь вообще-то говоря, найти работу в Москве тогда было можно, даже в самые лихие 90-е. Такое, как Витя, переживали многие, скорее даже большинство. Советский «завод» (в глобальном и экзистенциальном смысле) действительно закрылся или влчил жалкое существование, людям приходилось искать что-то другое. У кого-то что-то получалось, кто-то претерпевал тяготы, но все равно не сдавался.

А вот Витя ничего не искал. Он с самого начала похоронил для себя эту возможность – не знаю, почему. Причем, что интересно, его внутренний «отказ» не был идеологического или морального свойства. Во-первых, он был инвалид, сильно хромал, ездить или ходить куда-то далеко ему было трудно, невозможно, какой-то простой физический труд (вахтер, охранник, грузчик) – это тоже было для него не то чтобы унижительно, но просто физически тяжело. Он попробовал и не стал.

Эпизодически натаскивая учеников «по физике и математике», пытаюсь чинить какие-то старые приборы (от стационарных телефонов до СВЧ-печей, они валялись у него в прихожей

какой-то кучей со спутанными проводами), Витя начал потихоньку приспосабливаться к жизни, где, в сущности, не имел никаких постоянных занятий – и боролся с этим тягучим и долгим временем просто один на один.

Впрочем, тут тоже имелись некие особые обстоятельства, и к ним я еще вернусь.

...Так вот, по моему мнению, вольно или невольно, Витя ставил над собой определенный опыт – будучи еще сильным и не очень старым человеком, он стал жить «просто так». То есть глядя на эту новую жизнь каким-то непосредственным удивленным взглядом и глубоко изучая ее как таковую. В каком-то смысле это был советский «человек без свойств», у которого просто не стало привычной опоры, он летел в своеобразном космосе, в полной свободе от всего, с изумлением и даже некоторым порой восторгом глядя вокруг на эту новую, данную ему свыше свободу.

Витя никогда не жаловался, никогда не просил денег – только скука его отягощала, ну и еще отсутствие учеников – да и то, не потому что они приносили «доход», я думаю, а потому что помогали ему «организовать день».

То, как Витя читал мои книги и смотрел мои кассеты, внимательно изучая новый для себя мир, было не просто «занятием», в этом был какой-то особый подвиг человека, который борется с глобальным бытием и не собирается сдаваться.

Витя совершенно не был поклонником советской власти, и не сожалел о прошедшем периоде истории, по крайней мере, он никогда об этом не говорил – больше того, он с огромным интересом брал у меня с полки книги, которые раньше не издавали, и пробовал их читать. Ему, как я уже говорил, очень понравился Довлатов, но не понравились другие эмигранты более ранней волны – Газданов, Набоков, или Роман Гуль, он их отложил, насколько я помню, совершенно равнодушно.

Все мои кассеты с фильмами он пересмотрел примерно за месяц, но однажды обнаружил под телевизором кассету с рабочими материалами к фильму «Прогулки с Бродским» моей подруги Якович.

Ее он держал неделю, потом принес, потом попросил еще раз. Казалось, что ему не хочется с ней расставаться. Это были действительно «рабочие материалы» – долгие планы Венеции, прогулки по осенней набережной, пустышные разговоры в кафе, которые не вошли в сам фильм, ну и бесконечные монологи Бродского, конечно, тоже не отредактированные и не сокращенные, ради них я и держал кассету, пытаюсь сделать «литературную запись» для журнала.

Кассета, забытая на время Якович, прожила у меня около года, Витя пересмотрел ее, по его собственным словам, раз пять или шесть.

Я осторожно спросил, не хочет ли он почитать Бродского (сам я был к нему совершенно равнодушен).

– Не-не, – горячо откликнулся Витя. – Бродский меня как-то меньше интересует. Но вот Венеция! Понимаешь ли, я же там никогда не буду, ничего этого не увижу. А там так хорошо все показано, качество высокое. Я смотрю, смотрю...

Короче говоря, никакой ненависти ко всему «чуждому» у Вити не было. Наоборот, был глубокий интерес.

Откровенно говоря, я даже не знаю, что именно видел Витя в окружающей его новой жизни сквозь толстые стекла своих диоптрий, какой казалось ему новая Москва, когда он с плавками уходил летом на целый день, была ли в этой вновь открывшейся ему свободе *жить без ничего*, без всяких работ и правил, только горечь и скука (а может была и какая-то сладость) – я тоже не знаю.

Витя был для нас цельным, ясным, добрым и очень хорошим соседом, и мне этого хватало. За годы нашей жизни на Кедрова этот симбиоз сложился в идеальную схему – иногда Витя по Асиной просьбе что-то чинил, иногда стеснительно у нас обедал, по-прежнему интересовался новыми книгами и кассетами, порой (в плохом настроении) по-прежнему приходил и жаловался на скуку, на пустоту времени и отсутствие учеников, ему можно было оставить ключ в случае необходимости и вообще попросить присмотреть за квартирой. Он был совершенно в этом смысле надежен.

...Но была у Вити одна особенность.

Первые годы он вообще казался мне соседом довольно-таки противоречивым, если не сказать сильнее. А дело было вот в чем.

Как вы, наверное, уже поняли, он был человеком широкой, так сказать, души. И у него были друзья. Мужчины его примерно возраста. Учились они или работали когда-то вместе, я не знаю.

Может, просто выпивали.

...И вот эти самые друзья довольно часто приводили к Вите прекрасных дам. Начинался шумный праздник. Это происходило обычно по выходным, но могло продолжаться и на неделе.

В ночи, через вентиляционный люк в туалете в нашу квартиру врвался бодрый женский смех, общий звонкий хохот, выкрики и тосты, страстные мужские голоса в низком густом регистре, все это порой было довольно громко, так что моя собака начинала страшно лаять и беспокоиться. Ася посылала меня звонить Вите в дверь, и там я однажды застал не то чтобы очень молодых и не то чтобы очень красивых, но в целом довольно милых, так сказать, вполне приличных женщин, которые страшно, безудержно веселились, не обратив, кстати, на меня ровно никакого внимания.

Причем это были никакие не бляды, а вполне цивилизные по виду дамы.

Потом я понял, что они приходили на Витину квартиру с той же целью, что и мужчины – повеселиться; наверное, основой этих оргий была, так сказать, роскошь человеческого общения, а возможно, и беспорядочный секс имел место, это, кстати, тоже стало для меня некоторым открытием – практически одинаковая мотивация у обоих полов.

Витя, между прочим, никуда в это время из квартиры не уходил. Ему было некуда уходить. Все эти оргии он стойчески переживал на своей кухне, где в эти «праздничные» дни стелил себе на диванчике, закрыв уши наушниками или берушами.

Однажды какой-то Витин гость допился до того, что попросту забыл, где именно живет его друг. И стал звонить в нашу дверь.

Это было совсем поздно, часа в два или в три ночи, дети были маленькие, Ася стонала от ярости, чуть не плакала и требовала немедленно вызвать милицию, было как-то страшно и противно, а я открывал раз за разом дверь – там стоял очень прилично одетый мужчина интеллигентного вида, со странно затуманенными глазами, как сейчас помню, в турецкой кожаной куртке. Увидев меня, он каждый раз страшно удивлялся и говорил: «А где Витя? Ой, извините, пожалуйста! Ради бога! Я ошибся». Потом он куда-то уходил, а потом опять возвращался.

После таких случаев Витя утром приходил и «дико извинялся», он дышал легким перегаром, и было видно, что ему очень неудобно за своих гостей. Говорил он о них иногда с жалостью, иногда с теплотой, иногда с некоторым плохо скрываемым отвращением.

Одним словом, как я уже сказал, соседом Витя был несколько противоречивым.

Но все-таки прежде всего он был *соседом*. Противоречия были уже на каком-то втором плане. Ни до, ни после него у меня в жизни не было полноценного, живого и настоящего соседа.

И это было важнее.

Да и прощать-то ему, говоря по совести, было особенно нечего. Витя то ли закрыл каким-то образом вентиляционный люк, то ли сдвинул какой-то шкаф, но звуки из соседней квартиры до нас больше не доносились, оргии стали вдруг тише. Я однажды понял, что не только друзья используют Витю и его квартиру, но и Витя использует друзей: во-первых, они делали важное дело – заполняли его пустое время, «организовывали день», и кроме того, все они были, как видно, при деньгах, и приносили Вите в эти дни массу продуктов, которые он складывал в холодильник.

В общем, очень скоро это перестало меня волновать, правда, тут случился один неприятный эпизод – видимо, одни друзья приводили других друзей, не очень надежных, а может, среди баб случился какой-то беспорядок, но на Витину квартиру вдруг напали, самого Витю избили, перевернули все вверх дном, это был форменный разбой.

Однажды я возвращался домой и увидел, что дверь в Витину квартиру открыта, и там работают милиционеры. Затем один из них зашел и попросил меня «осмотреть место происшествия».

Следователь стал говорить с кем-то по телефону, что «тут живет какой человек, ну типа бомж», и мне стало крайне неприятно. Я не стал дожидаться конца разговора и вышел.

К счастью, криминальный эпизод никакого продолжения не имел.

...Наступила новая эпоха. Дети умоляли нас купить компьютер, и вот наконец мы сдались, и это случилось – и когда Витя зашел и увидел это чудо техники, глаза его загорелись, он просидел за монитором час, осторожно нажимая на кнопки клавиатуры. Я вдруг понял, что именно в будущем может стать основным содержанием его жизни – наверное, потом так и было. Друзья собрали ему компьютер, и Витина жизнь, как я думаю, заиграла новыми красками. За книжками он стал заходить реже.

Жизнь на Кедрова, как я уже говорил, всегда казалась мне особым временем, несмотря на все ее неурядицы, она текла плавно и имела какой-то золотистый цвет. Здесь было важно сочетание внутреннего и внешнего мира – наша квартира, которая родилась как бы из ничего, и была полна нехитрыми изобретениями и поделками, была вживлена (или вставлена, как в раму) – в район, заполненный травой, желтой листвой, высокими деревьями. Это была идеальная для меня Москва – простецкая и незамысловатая, тихая и родная, как сама наша пятиэтажка со старой кирпичной кладкой и этой угловой квартирой.

Было лишь два драматических (или эпических) эпизода, которые вонзились в эту московскую идиллию как бы со стороны, обнажив всю ее хрупкость.

Первым эпизодом был московский ураган, произошедший в ночь с 20 на 21 июня 1998 года. Мы вернулись с дачи и не узнали наш двор.

Ураган был такой страшной силы, что легко повалил огромные деревья, снес крыши с автобусных остановок и гаражей, уронил столбы электропередач, и кончилось это трагедией, одна женщина наступила в лужу, куда упал электрический провод со столба, и погибла от тока, были раненые во время падения высоких конструкций на машины, всего тогда погибло несколько человек.

...Я шел по своему двору и не узнавал его. Вывороченные из земли трупы деревьев казались еще живыми. Оголенные желтые сломы как будто сочились. Я гладил деревья, садился возле них, долго смотрел и не мог поверить, что нашего двора, в том виде, каким я его знал, больше нет. Одна из груш погибла. Ветки березы больше не стучали в наши стекла (одно стекло в квартире, кстати, разбилось). Но главное – не было больше того солнечного света сквозь листву, который меня так очаровывал. Понадобилось несколько недель, чтобы распилить эти десятки, может быть, сотни мощных стволов и вывезти их за город. Упали все тополя, которые стояли в два ряда вдоль улицы Кедрова. (Сегодня уже выросли новые деревья, но не такие большие.) Дом стал каким-то голым.

Когда я шел в тот день, потрясенный и ошарашенный, возле подъезда стоял Витя.

– Вот... горе-то какое, – сказал он. И зашагал своим хромым шагом куда-то к метро.

Примерно за год до этого мы купили собаку.

Это была рыжая девочка, помесь, как нам сказали, лабрадора и сеттера, последняя из помета, слабая и дрожащая. У девочки было врожденное заболевание, приступы собачьей эпилепсии, когда эти приступы начинались, дети замирали и тихо гладили ее, скулящую и бьющуюся в конвульсиях. Это было печально.

Но это была наша первая собака, и мы ее очень любили.

Нам удавалось провезти ее в метро до Нескучного сада, в какой-то большой сумке, чтобы как следует погулять. Прогулки эти были упоительны, особенно осенью. Однажды мы таким образом дошли до знаменитого пруда под горбатым мостиком, который, говорят, построили еще для Екатерины Великой. Пруд был невероятно живописен. Мне было так хорошо, что я отпустил собаку и не заметил, как она прыгнула в ледяную воду. С трудом могу сообразить, каким образом мне удалось поймать ее за ошейник с берега и вытащить на берег. Джуля страшно дрожала. Я завернул ее в свою куртку, свитер, взял на руки как ребенка и буквально побежал к метро. Казалось, что она умирает. Это имело, конечно, свои последствия.



Приступы участились, болезни стали более продолжительными. Она умерла в возрасте семи лет.

С Джулей можно было идти мимо лавочек в темноте, где светились огоньки сигарет, забираться с ней в любые углы, на любые пустыри. С собакой было как-то спокойно.

За эти годы, которые прошли на Кедрова, много чего еще случилось – война в Чечне и выборы президента, дефолт и взрывы домов, но то, как были выворочены деревья, словно прошла бомбежка, и то, как я бежал с собакой, которая замерзала и задыхалась от ужаса, запомнилось очень остро.

Как я уже говорил, непрочность этого мира была мне явлена именно тогда.

Что же касается моего соседа Вити...

Он всегда казался мне фигурой в какой-то степени символической, и тут, наверное, нужно какое-то обобщение.

Так уж повелось, что Москва никогда не делилась на богатые и бедные районы, по имущественному или социальному цензу. Это даже при том, что при поздней советской власти очень полюбили строить целые дома или кварталы «для начальников» – «дом МИДа» на Смоленской, «министерский дом», «генеральский дом», «цековский дом» – и все равно их всегда окружали дома, так сказать, «со смешанной структурой». Люди давали этим домам для начальников на смешливые клички – «ондатровая деревня» (у советских начальников были в моде такие зимние пальто с ондатровым воротником, их шили в специальных партийных ателье), или «царское село». Но эти самые «царские села» тонули в общем океане московского равенства, и никогда не определяли статус района.

И это при том, что Москва в поздние советские годы уже была невероятно «блатным», как мы все говорили, городом: по блату поступали в институт, по блату добывали кусок мяса в магазине, по блату лечили зубы, по блату покупали книги, по блату брали путевки в санаторий. И тем не менее, более богатых и более бедных районов в Москве никогда не было. Ну вот не было их, и все!

Этот – по сути, главный – принцип московской жизни, легко было увидеть невооруженным глазом.

Можно было, например, войти в любой практически двор на Арбате, увидеть черную «Волгу», смиренно ждавшую у подъезда какого-нибудь заместителя министра, и тут же, через десять шагов, натолкнуться на такую жуткую пьянь, что не приведи господь. Это вот и были *соседи*.

Такое всегда считалось в Москве нормальным.

Возможно, думаю я сейчас, это была единственная мировая столица, где жизнь упрямо строилась именно по такому принципу.

И никому – ни Брежневу, ни вечному московскому начальнику Гришину, ни Горбачеву, ни Ельцину Москва не давала этот принцип изменить.

То, что происходит в Москве сейчас – это, в сущности, бунт властей против этой практически столетней демократической традиции.

Против той традиции соседской культуры, которая в этом городе была всегда. Была и до революции (всегда рядом стояли совершенно непохожие по социальному составу дома), и уж тем более после нее.

Сегодняшний градоначальник и его команда решили сломать эту важнейшую московскую «скрепу». Идея с реновацией – это же не просто делание фантастических денег из воздуха, или строительная афера, или проект гигантской реконструкции.

Для меня лично – это прежде всего попытка расселить Москву по разным социальным кластерам.

Всех богатых засунуть внутрь Садового кольца, всех бедных – по периметру МКАДа и в Новую Москву, ну, а средних, их пока оставить где-то посередине. Устроить в одном городе несколько совсем разных городов.

В принципе, идея, как говорится, не нова. Взята, так сказать, из мирового опыта. Ровно так живет, например, Нью-Йорк. Манхэттен это вам не Бруклин, а Бруклин совсем не Квинс. Такая же петрушка наблюдается, в общем, и в Лондоне. И даже отчасти в Париже. Там так удобней. Там все к этому привыкли.

Но только не в Москве!

И дело тут не в том, что в Москве так никогда не было. Просто такая имущественная сегрегация сразу дает выход чудовищному московскому жлобству, вот этой нутряной соседской ненависти, страшным социальным конфликтам, тяжкому бесправию людей, и в конечном итоге – революции и погрому.

...Я это понял, когда гулял недавно в районе той самой фабрики, которой в 70-е годы командовал мой отец – второй, кацко-отделочной имени Свердлова. Прошел мимо старых фабричных корпусов, теперь там что-то вроде конторы, прогулялся в районе 1-го Зачатьевского, Хилкова, наконец, Молочного переулка. Кругом стоит дорогая пустая недвижимость. Но Москвой тут точно больше не пахнет.

Само устройство города, само социальное соседство всегда прикрывало в Москве это ее скрытое зловонное дно, такое устройство заставляло богатых держаться скромней, а бедных – приличней. Воспитывало людей.

Сам город поглощал их взаимную агрессию в каком-то особом своем растворе.

Двор, район, переулок, подъезд – не ссорили, а мирили этих вечных антагонистов.

Их примиряла не идеология, не «политика партии и правительства», а сама Москва. «Порт пяти морей».

Даже в самые тяжелые 90-е, даже в голодные 80-е, даже в страшные 40-е этот миф сохранялся. Миф о том, что мы вместе, мы москвичи, мы все преодолеем, что мы «перетрем», перетерпим эти суровые времена. Что мы вместе играем с мальчишками во дворе в футбол, вместе отмечаем праздники, вместе выставляем на окно радиолу и танцуем летними вечерами.

...Но как бы Витя чувствовал себя в этой новой Москве?

Трудно сказать. Писать на дверях дацзыбао с распечатанными на принтере листовками об отчетно-перевыборных собраниях, ремонте шлагбаума и прочих высоких материях – мне кажется, Витя бы не стал. Его бы это не заинтересовало.

Вообще «соседская культура» – это такая сложная вещь.

В Америке, например, если сосед бьет жену, люди сразу звонят в полицию. И правильно делают.

У нас бегут выяснять в чем дело, порой пытаются усовестить. Или просто молчат в тряпочку, пока он ее не убьет.

Как надо, я и сам не знаю, не могу научить.

А вот Витя знал, как надо.

Когда мы переезжали, Витя радовался за нас. Он сказал мне: что, в большую квартиру переезжаете? Очень хорошо!

Я это знал – что хорошо – но расставаться с нашим «внутренним лесом», пусть и поредевшим, с нашей пятиэтажкой, наконец, с Витей, мне было немного тяжело.

Но мы переехали, конечно.

Люди, которые въехали в результате купли-продажи в нашу квартиру на Кедрова, вдруг оказались отчасти коллегами, и пару раз я встречал их на книжных ярмарках.

За квартиру они почему-то меня благодарили, она им очень нравилась.

– А как Витя? – спросил однажды я. Кажется, это было в Красноярске.

– Ой, вы знаете, а Витя умер.

– Жаль, – сказал я.

– Да, очень жаль, – подтвердила молодая женщина, которая была долгое время, видимо, Витиным новым соседом. – Очень, очень жаль.

Я повернулся и пошел прочь.



## Вместе с Балу

Мы переехали на новую квартиру, и как-то вдруг быстро выяснилось, что гулять с собакой в буквальном смысле нигде. То есть вообще. Всюду институты российской академии наук, асфальт, люди, ноги, Никулинский районный суд, адвокаты, работники коммунального хозяйства, ни пописаешь, ни покакаешь.

...Когда Балу появился, а это было на предыдущей квартире, я совершенно не задумывался об этой проблеме. Мы бодро выбегали в широченный двор, легко взлетали на кучье клумбы, уставленные для красоты на таких каменных круглых подставках (сейчас узнал, они называются сложным словом «габионы»), смело бродили по всякой траве. Балу легко доносил свой груз до железной калитки, никогда не отправляя надобностей на *своей* территории, потом мы спокойно шли себе на собачью площадку, или в дальний путь – к префектуре «Кунцево», вокруг которой располагался небольшой живописный парк. Или в липовую аллею, зажатую между двумя автострадами, ну то есть мест было полно – и я даже не думал о том, что тут может быть какая-то проблема. Иногда нас гоняли, оттуда и оттуда, иногда нами любовались, говорили, какая красивая собака, это был золотистый ретривер, немного больше, чем положено, продолговатый и вытянутый, но, в общем и целом, совершенно классический, словом, люди реагировали по-разному. Но я-то знал, что путь наш тверд, прям и неизбежен. И лишь одно меня расстраивало – увидев любую собаку, молодой тогда Балу начинал проявлять дикую сексуальную озабоченность. Он упрямо, преодолевая все мое сопротивление, буквально на брюхе, доползал до сучки и начинал свои безобразия, иногда получая визгливый и могучий отпор. Дамы хихикали над ним (а гуляли со своими собаками в основном дамы), а я стеснялся, оттаскивал, ругал и даже иногда пихал ему в бок. Это было как-то стыдно.

...Здесь же, на Профсоюзной, был совсем другой коленкор.

Пес постарел, видел плохо, пережив операцию на ухо, слышал тоже плохо, ходил уже не так резво, а главное – никак не мог разобраться, где можно, а где нельзя. *Вся* новая территория была для него чужая, поэтому мои крики и стоны он воспринимал с некоторым удивлением.

Для того, чтобы попасть не то чтобы на «чужую», но хотя бы на нейтральную полосу земли (возле самих подъездов у нас все было засажено цветами, как на ВДНХ), нам нужно было быстро-быстро спуститься по высоченной железной лестнице, которую и человек-то преодолевал с трудом. А Балу поначалу просто сваливался с нее кубарем, ударяясь всеми ребрами, так что даже смотреть на него было больно.

Там, внизу, была узкая асфальтовая дорожка, по которой бесконечно ходили разные люди, в основном адвокаты, приставы, прокуроры, свидетели, истцы и потерпевшие – они орали в мобильный телефон про номера статей УК («сто двенадцатая часть вторая! Да, вторая!») и про следственные действия («а тогда выписывай постановление о временном аресте имущества!»), какать и писать под ноги этим людям тоже было довольно нехорошо, да и как-то страшно.

Балу забирался в сложно устроенный куст, на крошечной полоске между этой «дорогой скорби» и глухой бетонной стеной Института Дальнего Востока, запутываясь в колючих ветках и запутывая свой поводок, и я с трудом выволакивал его оттуда.

Впрочем, через месяц пес привык, а я стал водить его куда-нибудь подальше, постепенно шаг за шагом изучая наш новый район.

Как-то раз мы с ним шли по тропинке, протоптанной в траве, мимо заброшенных гаражей, вдруг Балу напрягся, слегка зарычал и встал как вкопанный.

Я начал озираться.

Местные дагестанцы, которые держали тут самопальный шиномонтаж, перекинули свой провод на фонарный столб, он безыскусно и откровенно шел прямо по веткам деревьев над нашей головой (и как потом обнаружилось, во время дождей слегка искрил), но вряд ли Балу могло это

заинтересовать... Огромная кошачья семья, давно получившая гражданство тут в подвале пятиэтажки, вышла на улицу погреться и подставляла все свои животы солнцу, но мой пес всегда решительно обходил кошек стороной (хотя, впрочем, бывали и исключения).

Вороны, прыгающие по траве в поисках объедков и иногда летавшие мимо нас со злобной целью клюнуть Балу в макушку, тоже куда-то подевались. Подул странный сильный ветер и сразу стих.

– Старик, ты что? – спросил я его.

Балу стоял на месте и немного дрожал.

Наконец я огляделся получше и все понял.

Человек лежал на земле, между грудой мусора и кучей веток – лежал тихо, и, повернувшись на бок, не подавал никаких признаков жизни.

Одет он был в обычную старую рубашку и брюки. На ногах имелись штиблеты. Присмотревшись к нему и даже подойдя чуть ближе, я окончательно убедился, что незнакомец просто спит. И что нам с Балу не нужно его будить.

Не приходя в сознание, гражданин отогнал от лица муху и перевернулся на другой бок.

– Ну че, пойдём, что ли? – осторожно спросил я. – Или как?

Балу продолжал стоять и упираться, глядя куда-то вбок.

Что-то и мне мешало уйти из этого места. Справа перед нами тянулась серая кирпичная пятиэтажка – все подъезды были с другой стороны дома, где двор и показательная детская площадка, а с этой, не парадной стороны – было что-то вроде пустыря с гаражами, с вытоптанной среди травы тропинкой, ничейное место, ничейное настолько, что жильцы могли сюда выбросить что-то из открытого окна или форточки: пустую пачку сигарет, рванный целлофановый пакет или недоеденный кусок арбуза, а то и пустую бутылку; под водосточной трубой стояли старые эмалированные железные миски, с какой-то жижей, состоявшей, видимо, из хлеба и дождевой воды – старушки кормили здесь подвальных кошек; висела на стволе грубо сколоченная кормушка для птиц, используемая зимой, в траве всегда в большом количестве валялись пустые банки из-под пива или кока-колы, опорожненные чекушки и прочие следы ночных пиров и торжеств (например, пустые блестящие пакеты из-под семечек и чипсов); мы с Балу на все это постоянно натывались, и я силком тащил его за поводок от этой гадости...

И вдруг, в это тихое мгновение, я вспомнил, что такие вот клочки пустой, дикой городской земли – именно они особенно привлекали меня в детстве. Я тогда останавливался и внимательно анализировал воздух этих мест. Где трава растет сама по себе, и по-настоящему пахнет землей.

Только здесь и мог спокойно заснуть этот богатырь земли русской, этот таинственный незнакомец, который сладко прикорнул на задах гаражей, буквально возле кошачьих выводов и чьих-то торопящихся ног.

Здесь, как маленький принц, он обрел свою планету.

Нет, я не испытывал к нему никакой брезгливости, больше того, я его хорошо понимал. Среди сентябрьской листвы, на холодной уже московской земле, в этом укромном месте, *ему было хорошо*.

Эта была та самая внутренняя Москва, которую я всегда старался постичь, ну, не умом, а как-то иначе. Это была волшебная для меня, хоть порой и грязноватая пустота...

Этого нет в настоящей природе – там горизонт указывает направление, и нужно идти с самого начала и до самого конца. Город же весь состоит из этих потайных карманов, как бы вшитых у него за подкладкой.

Между тем человек этот, лежавший между двух гаражей, долго не выходил у меня из головы. Кто он и что он, выгнали ли его из своей квартиры или сам он гордо покинул ее, под проклятия чад и домочадцев, долго ли он так проживет, ночуя на земле? Обо всем этом я успевал подумать, когда мы опять и опять шли с Балу через то же самое место.

А буквально в двух шагах от нашего дома, во дворе физико-технического института российской академии наук, жили, или как бы это лучше сказать, *обитали* самые настоящие городские бродяги, или бомжи, точнее мне сказать было трудно. Про себя я их называл «банда четырех». Главным из них был огромного роста мужчина, который командовал остальными. Все они, вчетвером, повинаясь его воле, целеустремленно порой ходили по району, но чаще никуда не ходили, а просто сидели – в этом самом служебном дворе и жгли костерок.

Костерок им кто-то, явно облеченный властью, разрешал разводить в любое время дня и ночи возле служебной же помойки. Проходя вместе с Балу мимо ворот института, я иногда даже заглядывал внутрь, привлеченный пьяной разноголосицей и каким-то съестным запахом. Что уж они там жарили на костре, не знаю, может быть, объедки, найденные на помойке, может быть, черствый хлеб, а может быть, и еще что-то... Голубей?

По крайней мере, на Балу они поглядывали то с явной неприязнью, а порой и как-то плотоядно, и я инстинктивно вел его ближе к себе.

Надо сказать, что Балу, будучи собакой с врожденными благородными чертами – преданностью, нежностью, искренним весельем и любовью к людям, его окружавшим – в то же время не был в прямом смысле этого слова собачьим интеллигентом. То есть он был, конечно, интеллигентом природным, но как бы это сказать, не вышколенным, не обученным (не «образованщиной», как сказал бы писатель Солженицын, мир его праху), то есть мог вполне сорваться и куда-то поскакать, и я по привычке водил его на длинном поводке, отпуская при этом метров примерно на пять.

Так вот, эту самую «банду четырех» Балу недолюбливал.

Вероятно, он чувствовал исходящий от них запах – суровой и опасной дворовой жизни, помойки и спиртосодержащих веществ, ну и, может быть, запах всего того, что доводилось им жарить на костре во дворе института.

Кстати, о спиртосодержащих.

...Однажды зимой я встретил «банду четырех» в аптеке возле Профсоюзной. Они вошли в храм здоровья, как всегда, плотной шеренгой, буквально все вместе, чуть ли не держась за руки, и встали возле двери, тревожно поглядывая в сторону продавца. Наконец, «главный» (я хотел придумать ему какое-то имя, но ничего, кроме Коляна, в голову не приходило) решительно сделал шаг вперед и громко попросил настойку боярышника – четыре флакона.

Я заметил, что Колян был одет в чрезвычайно модную ярко-рыжую дубленку с цветной вышивкой (рукава, правда, были ему сильно коротки) и какие-то странные розовые бархатные штаны, а на ногах у него имелись довольно крепкие, хоть и поношенные замшевые ботинки.

«Какой же богатый город Москва! – восхищенно подумал я тогда. – Какие вещи люди выбирают!»

В походке, движениях, да и вообще в общей стати Коляна, а он, конечно, тоже меня запомнил, и не то чтобы кланялся при встрече, но как-то приметно шурился – было странное сочетание огромной внутренней силы и какого-то уже очевидного полураспада.

Он немного косо ставил ноги при ходьбе, нервно растопыривал руки, когда говорил со своими товарищами из «банды четырех», ну и так далее. Было видно, что Колян в своей прошлой жизни пережил какой-то «удар», и теперь преодолевает его последствия.

Их блаженные посиделки в институте у костерка продолжались несколько лет, но потом «банда четырех» стала искать работу, вероятно, и на них сказался общий экономический кризис – например, они устроились на шиномонтаж ухаживать за газоном и кустами, а дагестанцы беззлобно на них покрикивали.

Потом все они вдруг разом исчезли.

Я гадал: возможно, «банда четырех» просто переместилась в какой-то соседний двор? А может, их куда-то увезли, так сказать, «устроили»? Но куда?

Гулять с Балу было затруднительно, главным образом из-за научных институтов. Они тут были везде.

Из нашего окна, например, виднелось двухэтажное здание архива Академии наук, похожее на склад с боеприпасами (окна в архиве по ГОСТу должны быть узкими, как бойницы в крепости, а сам он представлял собой два уродливых серых бетонных куба, как бы вставленных один в другой). Из другого окна – узкое как кишка и покрытое тошнотворной зеленой плиткой здание Института Дальнего Востока (архитектору он виделся, наверное, океанским кораблем, но общую унылость это не компенсировало), ну, а чуть дальше виднелся институт океанологии имени П.П. Ширшова. Тоже вполне себе монстр, но с претензией на шедевр.

...Ну и упомянутый уже ФТИАН, чуть слева от океанологов. Все это вместе соединилось в глубокое каменное ущелье, миновать которое было никак невозможно. Ущелье почему-то никто не чистил от снега и льда. Если «зады» пятиэтажек казались мне дикими, но прекрасными, то «зады» институтов были другими: унылыми и неприятными.

Правда, никаких ученых в этом самом ФТИАНе, видимо, давно уже не было, на верхних этажах даже вроде кто-то жил, судя по дешевым занавескам и разномастным светильникам, зажившимся в темное время суток, ну, а первые этажи занимали разные «коммерческие структуры», как их называют в России, то есть фирмочки и оптовые магазинчики, самый крупный из них торговал кондиционерами и обогревателями, и во время жуткого московского холода или жуткой жары, а и то и другое периодически случалось, к железным дверям на «задах» ФТИАНа сразу начинали подъезжать грузовики и газели. А что там было на средних этажах – я даже не знаю. Смотреть на физико-технический институт было больно – если другие институты являлись замкнутыми, закрытыми, так сказать объектами, «вещью в себе и для себя», то этот монстр очевидно разлагался, от него отваливались куски фурнитуры и прежней гордой отделки, на крыше ржавела не используемая никогда конструкция из световых панелей – лишь трепыхавшиеся в летнее время занавески, которые стремились прочь из окон, придавали институту хоть какой-то человеческий вид.

Вообще, как я понял из архитектурного справочника-путеводителя «Москва. Архитектура советского модернизма», которую написал один мой знакомый, всю эту безумную красоту должен был замыкать еще один, четвертый академический институт – но ушлые ученые подсустились и вместо института построили себе жилой дом.

Теперь мы тут, собственно, и жили, в этом доме.

Я даже придумал свою историю про медленно разлагающийся ФТИАН – ведь когда в 1986 году Горбачев вернул из ссылки Андрея Дмитриевича Сахарова, ему сразу же предоставили «рабочее место», то есть дали маленький кабинет в каком-то институте. К бомбе его не допускали, и он самостоятельно пытался заниматься «теорией струн» и прочими малопонятными обывателю вещами, и вот, выходя с Балу по утрам на прогулку, я почему-то представлял себе Андрея Дмитриевича Сахарова, который скромно, на метро, никем не узнанный, ездил сюда на работу в 1987-88 году. Ездил, может быть, не так уж часто, раз в неделю, в руках нес портфельчик, а в портфельчике, помимо бумаг, лежали заботливо приготовленные Еленой Георгиевной бутерброды.

Я даже как-то сказал Асе:

– Знаешь, а возможно, тут был кабинет Сахарова.

– Не говори ерунду, – просто ответила она.

Впрочем, вполне возможно, что только нам с Балу эти институты казались такими некрасивыми. В том же самом справочнике «Москва. Архитектура советского модернизма» об институте океанологии имени Ширшова, например, было сказано: «...Величественная лестница, ведущая от тротуара к входу в институт, уже создает пафос, а верхняя часть здания и вовсе похожа на замок. Исторические ассоциации выражены еще очень сдержанно – самой формой каре и вертикальной разделкой фасадов с намеком на зубчатое завершение, но в них уже чувствуется приближение постмодернизма».

На другой стороне Нахимовского проспекта находился знаменитый ИНИОН – научная библиотека, в которой хранились книги и рефераты, недоступные простым смертным, здесь ког-

да-то занимался сам Егор Гайдар, читая на английском языке книги зарубежных экономистов, тут же рядом с библиотекой стоял ЦЭМИ – экономико-математический институт, в котором в разные годы работали такие гиганты мысли, как Петраков, Канторович и Каценеленбоген, воспитавшие потом Ясина, Шохина, Нечаева, в общем, весь цвет отечественной либеральной экономики. Потом тут заседал клуб «Перестройка», раскачавший общественную жизнь в 80-е годы. Сам Егор Гайдар тоже, кстати, работал недалеко отсюда.

В общем, тут, от Ленинского проспекта до Профсоюзной, располагались десятки, если не сотни, храмов науки, и еще с 1930-х годов угнездились такие люди, как Капица или Ландау, в каждом втором портфеле у прохожего вместе с бутылкой кефира или водки могла лежать кандидатская или докторская диссертация.

Конечно, когда-то я хотел жить именно здесь, среди ученых, и встречать среди прохожих на улице – людей с печатью глубокого интеллекта на лице, но, во-первых, все они быстро куда-то подевались, а во-вторых, с некоторых пор я иначе стал смотреть на эти вещи. Меня начал мучить вопрос: почему десятки тысяч этих умных голов не произвели на свет какой-то важной идеи, которая могла бы нас всех спасти, короче говоря, мне хотелось просто понять, что же именно они сделали, в чем был результат их работы?

И почему-то мне стало казаться, что половина их изобретений пошла на пользу только войне.

Конечно, сгоревший во время страшного пожара ИНИОН с его десятками тысяч сгоревших книг и рефератов мне было жалко. Долгое время тут, на Профсоюзной, вместо него зияла огромная черная яма, которая ощутимо воняла пожаром, и это, конечно, был очень яркий образ – сгоревшей без следа великой книжной культуры, которую я застал только по касательной. Впрочем, нам с Балу было туда и не надо, ИНИОН, как и ЦЭМИ находился на другой стороне шумного Нахимовского проспекта, в этом месте разделенного куцым бульварчиком. Но не гулять же с собакой там, среди машин. Словом, вскоре нам с Балу надоели и все эти институты, и живописные бродяги, и мы начали ходить на пруд.

Пруд наш был небольшой, вытянутый в длину, и сразу мне понравился – в воде отражалось небо, по берегам цвели кувшинки, пруд постепенно зарастал зеленой тиной, и каждое лето люди в больших резиновых сапогах его чистили баграми, но самое главное, в нем жили утки.

Это меня настолько поразило, что я сказал, что больше ни в какое другое место ходить не хочу.

– Ну ходи, ходи... – примирительно сказала Ася. – Певец городской природы.

Уток было поначалу только две, с рыжей грудкой, очень красивые, так называемые «огари», а потом у них появилось целых одиннадцать утят.

Папа-огарь взлетал и садился на фонарный столб, и сверху гордо взирал на свой выводок, а мама-огарь учила их плавать на радость всем окружающим обывателям – «один, два, три», считали мамы с маленькими детьми, и мы с Балу тоже их считали. Когда утят стало не одиннадцать, а девять, все мы загоревали, но вскоре один пропавший утенок объявился, оказывается, его выкармливали где-то там, в траве, в кустах, и он радостно присоединился к остальной банде.

Насчет же одиннадцатого – грешили на кошек, собак, на алкоголиков и бедных азиатских дворников, но точной и окончательной версии ни у кого не было.

Когда мы впервые увидели утят, это было так радостно, так волнующе, что мы с Балу прибежали к Асе, и я сказал, что она немедленно должна на это посмотреть. Она посмотрела, но через пару недель, когда утята уже выросли и перестали быть такими крошечными.

Вообще я любил пруд не только из-за уток, которых потом стало довольно много (наверное, другие утки увидели наших и решили развить ареал обитания), и не только из-за исходящей от воды радости и покоя, из-за низких кустов и деревьев, но главным образом – из-за того, что пруд ощутимо притягивал к себе людей. Причем самых разных.

Утром здесь опохмелялись алкоголики, в жаркие дни загорали молодые и не очень женщины, привольно расположившись на солнечном берегу в своих изящных купальниках, их белые тела

издалека сверкали на солнце, здесь занимались спортом, ходьбой и бегом, сторонники здорового образа жизни (как старые, со шведскими палками и без них, так и молодые, нарезавшие круги вокруг пруда упертые джоггеры), здесь жарили шашлыки и выпивали сторонники нездорового образа жизни, здесь дышали и сидели на лавочках ветхие пенсионерки и выгуливали младенцев молодые мамы – и счастливые, и несчастные, одуревшие от недосыпа и послеродовой депрессии.

Здесь выгуливали собак. А иногда и кошек.

Ну то есть, короче говоря, это было место самой разной жизни – иногда некрасивой, а иногда красивой; впрочем, как я понял, не красота отделяет живое от неживого, а что-то совсем другое.

Определить это «другое» я своими словами не мог, хотя много над этим думал, но оно было очень хорошо и ясно *выставлено* (не представлено, а именно выставлено) на всех берегах нашего продолговатого пруда, и я любил в него, в это «другое», которое отделяет живое от неживого – пристально вглядываться и вслушиваться.

По утрам иногда здесь бывали немолодые уже пары, которые... ну как бы это сказать, впервые провели вместе ночь, мужики были довольны собой, женщины стыдливо прятали лица, а иногда – наоборот, радостно пили пиво, опохмеляясь с раннего утра, один такой бодрый мужик буквально напал на нас с Балу, с громким криком: «Эй, вы куда воду из пруда дели?», и радостно захохотал. Пруд и правда немного обмелел, но вступать в пререкания с ним я не стал, мы просто обошли стороной этого дурака и пошли себе дальше. Женщину было жаль.

Иногда здесь были и сладкие молодые парочки, но больше я обращал внимание на тех, кто постарше, тут были драматические диалоги такой силы, что заставляли меня буквально превращаться в слух: «Ты опять, опять меня унизил перед всеми, но учти, я тебе больше этого не прощу...», а мужик возражал ей, не понимая, чем он таким ее унизил, и оба они прихлебывали из бутылки что-то зеленоватое, типа крепкого и сладкого одновременно. Добрых друзей и знакомых у нас тут не появилось, все-таки мы были на пруду немного пришлыми. А может быть, дело было в нашей с Балу врожденной нелюдимости и склонности к одиночеству.

Была тут, правда, одна одутловатая старушка с синеватым лицом, которая ходила с трудом, опираясь на палку – ее я вижу до сих пор, она как-то еще справляется, и была бегунья, очень сутулая, сухая, видимо, профессиональный спортсмен, зимой и летом с большой скоростью она нарезала круги вокруг пруда, в одинаковом плотном темпе стайера, она иногда лишь просила нас уступить дорогу.

Вот их я запомнил.

Словом, экосистема пруда развивалась в разные стороны, сюда вдруг запустили каких-то мелких рыб, на берегах засели незадачливые рыбаки, утки активно продолжали плодиться и размножаться... Один псих запустил сюда на время даже водяных черепах. Но пес уже с большим трудом преодолевал наши «две дороги» (так говорила Ася – вы ходите через две дороги), и ходить даже хотя бы сорок минут в день ему было трудно.

Он иногда падал на обратном пути, и мне приходилось переворачивать его на бок, гладить по пузу, уговаривать, чтобы он встал и продолжил идти домой.

...Не помню точно, в каком это было году – когда мы с Асей пошли на митинг против реновации.

Мы уже не жили в пятиэтажке, но все равно пошли. Не только затем, чтобы поддержать «гражданский протест» (а мы с Асей ходили буквально на все митинги, пропуская их очень редко) – нет, была еще и другая причина.

Я просто очень любил эти пятиэтажки.

Черемушки – слово нарицательное в русском языке. Дмитрий Дмитриевич Шостакович написал целую оперетту, или симфоническую поэму с таким названием в шестидесятые годы. Черемушки есть почти в каждом областном и районном городе страны, если не на карте, то в



обиходном языке, и помимо самих домов и кварталов, это еще и народная память об эпохальном переселении из коммуналок и жутких бараков в отдельные, хоть и крошечные, квартиры.

Так вот, изначальные, самые-самые первые Черемушки, так сказать пра-Черемушки – они тут у нас.

Входя в этот двор с пятиэтажками, по дороге к пруду, я всегда останавливался. Да, я понимал, что из этих домов, где во время дождей на верхних этажах протекает потолок, где четырехметровые кухни и крошечные коридоры, где все давно прогнило и начало отваливаться, где из подвалов поднимается сырость, и жить, наверное, уже невозможно – люди хотят уехать. Но вот этот конкретный двор мне было до слез жалко, и я ничего не мог с этим поделать.

Дерева здесь росли порой чуть выше крыш, ну или вровень с верхними этажами. На ветках висели кормушки для птиц, иногда деревянные, иногда просто пластиковые бутылки для воды с вырезанной в них дыркой, вдоль всех первых этажей были высажены палисадники с садовыми цветами и кустами. Рядом с одним подъездом был построен целый сказочный городок: огромный деревянный гриб и фигура садового гнома соседствовала со сказочным домиком для детей, а также крошечной песочницей. И в палисаднике, украшенном петуниями, гортензиями, садовыми ромашками в человеческий рост, лилейниками и бог его знает чем еще, если я все правильно помню, все эти детские радости смотрелись очень уютно. Конечно, все это было старое, немного уже разошедшее под дождями и снегом.

Но во всем, как говорится, была видна рука человека – а не жилуправления.

Это был замкнутый в себе маленький мир, особенно он хорош бывал осенью, когда листья начинали желтеть и сильно шуметь.

Прохладный свежий ветер пробегал по нашим с Балу лицам, низкое солнце играло на деревьях, кричали птицы, и было хорошо. И во всем была какая-то сырая терпкая свежесть.

Я с ужасом представлял себе, как сюда придут экскаваторы и бульдозеры – и разнесут весь этот экологический рай (это должно случиться уже довольно скоро, но сейчас, когда я пишу эти строки, старые дворы еще живы).

...Там, на митинге, меня поразило не только количество людей – сорок тысяч, по нашим московским меркам, это было совсем немало, поразило то, каким образом они тут собрались. Одиночек почти не было, люди выходили районами, кварталами и домами, подъездами, улицами, они шли с плакатами типа: «Дегунино против реновации!» или просто: «Джонгарка», «Проспект генерала Карбышева, дом 12», многие названия мне были даже незнакомы, я там ни разу не был, вся окраинная, простодушная Москва собралась в тот день здесь, на проспекте Сахарова, все радовались друг другу как дети, и были настроены решительно, но это ничему не помогло.

Как я узнал потом (в пятиэтажках возле пруда у меня жила старая знакомая), жители домов проголосовали за реновацию почти в полном составе. Моя же знакомая, переводчица и литератор, была в ужасе – она много денег вложила в ремонт своей старой квартиры, все благоустроила, она обожала район и привыкла к нему, она тоже любила эти деревья и этот пруд – с которым теперь неизвестно что будет.

Но у ее соседей не было таких завиральных идей.

А главное – у них не было ресурсов, чтобы улучшать и обустраивать свою жизнь самим. Своим детям (а стариков тут было немало) они хотели оставить в наследство квартиры именно в новых домах. А не в старых.

Однажды мы с Балу пришли на наш пруд 9 мая.

Это было удивительное зрелище – под каждым деревом сидела праздничная компания, здесь в этот день собрались буквально сотни людей. Жарили шашлыки, расстилали покрывала, выставляли закуски, иногда пели «военные песни», вился дымок, играла попса из радиоприемников, звучала многоголосая и разноязыкая речь.

Вдруг я понял, что не могу точно сказать, сколько именно неизвестных мне наречий я одновременно здесь слышу.

Наверное, не меньше десятка.

Женщины в праздничных восточных платьях, запахи еды, детские голоса, смешавшаяся в единый хор разная музыка – словом, мне был явлен сам смысл этого чужого, присвоенного государством уже давно праздника. Все эти дворники и разнорабочие из разных мест бывшего СССР, все эти жители пятиэтажек, которых скоро должны были выселить, – отмечали этот день потому, что им можно было выйти всем вместе на пруд и сидеть на земле, предаваясь радостям жизни. Они знали, что никто в этот день им слова худого не скажет, никто не погонит, никто не обзовет и не оштрафует. Это был праздник страны, в которую они приехали жить. Как 4 июля когда-то для американцев, «понаехавших» с всего света.

Пораженный этим открытием, я прислушался и к русским, поющим что-то патриотическое.

Их было значительно меньше, чем той, другой, разноязыкой толпы.

И я, честно говоря, порадовался, что все тут равны и всем довольны.

Летом 2006 года мы с Асей сняли дачу в районе Кубинки по Минскому шоссе, в садовом товариществе, где обитали бывшие международники, то есть журналисты и иные деятели, выезжавшие в длительные зарубежные командировки.

Мы прежде дачу на целое лето никогда не снимали, это было дорого.

Только потом я понял, что Ася решила на этот поступок ради Балу, собаке исполнился год, и ему нужно было гулять, таким образом дачу она сняла именно для него, а не для меня, например, хотя официальная версия была такая, что «тебе нужно закончить роман». Собственно, я его и закончил этим летом, где-то в июле, и даже хотел поместить, как положено советскому писателю, в конце текста скромные географические подробности – типа «Переделкино-Кубинка», но не стал.

Показалось претенциозно.

Дом же оказался в довольно запущенном состоянии – хозяйка давно и тяжело болела, не приезжала. На мебели, не говоря уж о плите, посуде, люстрах, был целый слой исторической липкой пыли, которая остается после зимы, если дом не проветривать. Что уж говорить о матрасах и подушках. Словом, Асе пришлось приезжать специально, чтобы все это привести в порядок.

Я же ничего этого не заметил. Полтора часа пути прошли в увлекательнейшей беседе с хозяином, который рассказал мне массу любопытных вещей – о своей службе в Лондоне в качестве руководителя корпункта.

Формально АПН вчера – это то, что «Раша тудей» сегодня, но тогда, в той службе работали исключительно интеллигентные люди, с нехилым знанием языков и страны, порой циничные, но талантливые и довольно яркие, а сегодня работают какие-то больные на всю голову пропагандисты.

В чем тут загвоздка – рассказывать не интересно, и вообще не для этой книжки.

Так вот, по дороге в Кубинку (а я уже знал, что Михаил Иванович много лет проработал в Лондоне руководителем корпункта АПН) я решил задать много лет мучавший меня вопрос: подписывали или нет соглашения о сотрудничестве, то есть о том, чтобы после каждой поездки писать отчеты «туда, наверх», такие, например, люди, как Виталий Коротич или Евгений Евтушенко, или даже Андрей Вознесенский, то есть те, кто довольно часто ездил в «капстраны» представлять нашу «великую культуру»?

– Ну... – сказал Михаил Иванович. – Соглашения подписывали вообще все, без этого не пускали, другой вопрос: писали они отчеты или нет после поездок, но это не значит, что все они служили в конторе.

– Вы не служили? – быстро спросил я, заметно краснея.

– Я не служил... – хладнокровно ответил он. – Хотя другие служили.

– Хорошо... – задал я свой следующий каверзный вопрос. – А как англичане, например, узнавали, кто из вас агент, а кто просто журналист?

– А чего там было узнавать? – ответил вопросом на вопрос Михаил Иванович. – Если у нас каждый день была своя планерка, а у них – каждый день была своя, в определенное время, как сейчас помню, в шесть вечера? И они там все собирались во главе с резидентом?



Я заржал.

Словом, разговаривать с Михаилом Ивановичем было интересно. Да и дом мне понравился.

На кровати в спальне лежало огромное покрывало «Юнион Джек» – то есть британский флаг в натуральную практически величину, как на военном корабле.

На втором этаже стоял роскошный камин из красного кирпича, мы пробовали пару раз топить в дождливые дни, но ничего не получалось, дом наполнялся едким дымом и запахом, и все. Рядом с камином возвышалась настоящая барная стойка, а за стойкой, разумеется, был бар, но с пустыми уже бутылками.

Да что там говорить – когда я открывал дверцы каких-то стеллажей в стене, там сразу видел целую батарею выпитого виски.

Даже ручки вентиляей в батареях отопления (да, собственно, и сами батареи) были с надписью «Made in England».

Весь дом был памятником эпохи холодной войны, со всеми своими говорящими деталями. В кабинете хозяина хранилась подшивка старых английских газет – для растопки, тут был, насколько я помню, и «Дейли Телеграф» и «Таймс». Конечно, даже со словарем я в этих газетах не смог бы прочесть ни одной заметки, но меня волновал сам шрифт, макет, сами эти страницы. Я взял тогда одну пачку и перевез, с разрешения хозяев, к себе на балкон.

Они там долго лежали и становились черными от городской пыли.

У Михаила Ивановича же они просто благородно пожелтели от времени.

Дом стоял в высокой, давно не кошеной траве. Увидев эту высокую траву, Балу, конечно, совершенно взбесился. Он бегал вокруг дома, нарезая огромные счастливые круги.

Вода в дом поступала из бака, который располагался на крыше. Нужно было повернуть не без труда вентиль, и бак начинал наполняться, воды хватало, если я правильно помню, на несколько дней. Но если уровень воды поднимался до нужной отметки, надо было срочно выворачивать вентиль обратно.

– Стой здесь, следи за водой! – говорила по утрам Ася. – Увидишь струю, сразу беги туда и там все выключай. Ты меня понял?

Утром на участке бывало жарко, яркое солнце отражалось в стеклах веранды, я стоял и ждал, когда пойдет маленькая струйка сверху.

Но иногда в этот момент я задумывался...

Задуматься я мог совершенно на разные темы – например, о своем романе «Психолог», в котором одна девочка влюбляется в Путина и дурит всем голову с этой маниакальной идеей. «Должна ли она так уж сильно в него влюбляться, или это все же больше игра?» – думал я, ожидая струйки воды. Или я думал о рассказах Михаила Ивановича – они мне напомнили фильм «Шпион, пришедший с холода». Например, Михаил Иванович рассказывал, как англичане пришли и выкопали лежавший в земле кабель и смотали его, когда АПН переезжало с одной штаб-квартиры на другую – этот кабель предназначался, конечно, для прослушки. «Они сделали это не скрытно, не ночью, не потом, а сразу, на наших глазах».

Из этих дурацких и бессистемных, в общем-то, деталей в моей голове рождалась целая картинка – сырые улицы, люди в болоньевых плащах, брежневская эпоха с ее тайнами и военными секретами. То, чего мне в жизни (может быть, и слава богу), не досталось.

Тут Ася бежала с криком:

– Ну я же тебя просила! – и я, уже почувствовав первые брызги на лице, мчался выворачивать вентиль. На другую сторону дома. А на потолке уже появлялись первые сырые пятна.

Словом, жизнь тут требовала ответственности – Асю, например, волновало то, что Балу вырывал на участке огромные ямы, в свой собственный рост глубиной, чтобы в них спрятаться от жары, ей казалось, что он наносит хозяйству какой-то урон, меж тем урона не было – все кусты и цветы давно уже заросли сорняками, огуречные и помидорные грядки тоже, на участке осталась одна густая трава, которую я пытался косить косой. Но получалось как-то не очень.

Балу легко делал подкоп и под забором, чтобы вырваться на оперативный простор.

Там, на воле он нашел небольшой пожарный пруд и плюхался туда во время жары, весь покрываясь страшной зеленоватой тиной.

Ему это запрещали, а от меня требовали навести порядок – и я находил все новые и новые доски в лесу на свалке, загораживая дыры в заборе. Балу их снова подкапывал, и вновь и вновь погружался в пожарный пруд с тиной.

Тогда его требовалось мыть под струей.

Я достал из рассыхшегося сарая шланг, мы его поливали, а он скакал вокруг. Ася хохотала.

Мне кажется, гуляя с Балу, я часто думал о том, чем мы с ним отличаемся и в чем похожи. Конечно, может показаться, что жизнь его была скудна впечатлениями и переживаниями, не то что моя. На самом деле это не так, даже наоборот – Балу видел и чувствовал этот мир настолько острее и глубже, что мне даже страшновато было об этом думать. В его чистых и искренних глазах (вот тут Дидулов, конечно, попал в точку) я видел гораздо больше света, яркого света, чем во многих других – человеческих. Мы сидели порой рядом, и я гладил его тихонько, чтобы почувствовать, как он думает, что там у него внутри.

Но это оставалось загадкой.

Как и любой пес (ну как бы пес по своей душе), я тоже часто бродил по Москве, и брожу до сих пор, но бесцельно – пытаюсь понять, и не понимая окружающую меня жизнь.

В то дачное время в Кубинке Ася часто повторяла, что возможно, во время этих коротких отлучек за забор Балу все-таки стал или станет мужчиной, но я не очень верил в эту перспективу.

Тем не менее, как будто услышав ее слова, Балу в лесу однажды исчез надолго. Я сидел дома, тут пришла Ася со слезами на глазах, и сказала, что я должен идти искать пса. Хотя это, может быть, уже бесполезно.

Мы разошлись с ней в разные стороны и долго кричали. Вместе с нами ходила и кричала наша подруга Аня Ч., которая приехала нас навестить. Наверное, мы кричали целый час.

Это был очень хороший, чистый сосновый лес, совсем не такой, как у нас сейчас в Тимашево, где не пройти через бурелом и где лежат поваленные стволы огромных сосен, и где уже много лет никто ничего не убирает и не чистит, нет, там в Кубинке были настоящие сквозные тропинки, просеки и лесные дали.

Но Балу все не было и не было.

Я хорошо помню эти страшные минуты...

Я ходил и кричал, уже почти охрипшим голосом. Тогда я понял, как это страшно – когда пропадает, исчезает твое родное существо, даже ненадолго, потом я пережил это много раз.

Родные мои существа всегда, слава богу, возвращались, вернулся в конце концов и Балу, веселый и довольный, но за этот час мы много пережили. Как будто время остановилось.

Придя в себя, мы пили вино на веранде и долго рассуждали на тему о том, не сбылось ли предсказание и не совершилась ли мужская инициация?

Ася ходила с ним потом по лесу очень далеко, выходила на огромное поле, которое называла «полигоном» (местные ей объясняли, что тут происходят стрельбы, и надо бы поосторожней), я отговаривал ее туда ходить – но она все ходила, потому что там, по краю поля, были целые заросли лесной малины, и можно было спокойно загорать – она раздевалась, ложилась на простынку, а Балу бегал рядом.

В небе же летали истребители с военного аэродрома по соседству – со страшным грохотом они носились над обнаженной Асей, делая в небе фигуры и пируэты и оставляя за собой волнистый след.

...Тогда казалось, что это всего лишь мирные тренировки. И даже с эротическим подтекстом.

В сентябре, как и было условлено, мы уехали с дачи не без сожаления.

Позднее, когда Балу стал ложиться на землю во время наших прогулок на пруд, я начал поневоле думать: что же было лучшим моментом в его жизни?

Бывало у него с нами разное: Белоруссия, где он принес в зубах из леса настоящие оленины рога, сброшенные диким животным, и мы привезли их в Москву, отполировали и повесили на даче, были еще эти сумасшедшие игры в футбол на новой квартире, были наши бесконечные прогулки в садах и парках, были его бешеные прыжки через нашу супружескую постель, когда он поднимал меня утром к завтраку, были дни, когда он не ел и не пил всю неделю, если Ася уезжала, и были эти зеленые лужайки, зеленые лужайки...

Зеленые лужайки.

И все же перед самой смертью, я почти в этом уверен, он вспоминал тот момент, когда заблудился в лесу и некоторое время не знал, где мы. Вспоминал со страхом, но и с восторгом.

Приехал ветеринар, такой умный парень, и объяснил, что, в общем-то, уже все...

Почечная недостаточность, почти полная слепота, онкология, и еще пара неизлечимых диагнозов.

Но главное – просто старость.

Вся процедура стоила шесть тысяч. Плюс кремация.

Последние месяцы его жизни были сплошным мучением – перед утренней прогулкой Балу надевали собачьи подгузники, но они порой ему не помогали.

Но не только произвольное мочеиспускание было проблемой – было просто видно, что псу очень тяжело жить.

По краям белков глаз появились толстые красные прожилки, Балу тяжело поднимал голову в ответ на очередные наши вздохи, и как будто просил нас его отпустить.

Не помогали таблетки, не помогали уколы, не помогало уже ничего.

...Ветеринар расстелил на полу коврик. Балу лежал, расставив лапы перед мордой, как лежал он всегда, лицом к людям, терпеливо и верно, ожидая от нас дружбы, и понимания. Никаких признаков страха не было вообще.

Ветеринар объяснил, что именно сейчас произойдет, каково действие лекарства, на какие органы оно подействует, в какой момент отключится сознание и душа покинет его тело.

Я понял, что надо прощаться. Губы у меня задрожали, когда я заговорил (Ася молчала, она говорить не могла, просто сидела, глядя в пол).

– Прощай, Балу. Ты был нам хорошим другом.

И заплакал. Ася посмотрела на меня и отвернулась.

Балу, на самом деле, был ее пес. Я вообще не представлял, как она это переживет.

Я же – я всегда просто с ним гулял.

Потом мы повезли урну с прахом на дачу, завернув в покрывало, ехали молча. Есть такие магазины, для садовых надобностей, где продают всякую всячину, в том числе большие камни. Ася сказала, что ей нужен рыжий камень, я перенес его в машину.

Потом рыли яму.

Была идея поместить на камень какую-то фотографию, надпись, но мы не стали. Все мы и так знаем, кто там лежит.

Ольга АНИКИНА

ВОЛОКОНЦЕ

\*\*\*

не показывай мне лица  
как беглец во время охоты на беглеца

лети как звук, но не облакайся в звук,  
оставь нас обоих молчать как молчит паук

оставь сокрытым летучий взгляд  
как в чёрном облаке белый град

горло и плечи спину и бёдра спрячь  
оставь  
только кончики пальцев и острый носок туфли  
пускай я буду глух и незряч

пускай я буду свободен и твои полюбив слова  
я буду их повторять  
я буду их понимать едва

\*\*\*

сколько стёкол пройду я насквозь,  
чтобы в воздухе вдруг оказаться  
сколько крохотных волоконце  
выдерну из тайно из пряжи  
сколько раз украду из кудели

кто красть не умеет средь белого дня  
и прятать  
и прятать прозрачную нитку –  
на пальце, за пазуху или в карман,  
а потом делать вид, что не брал,  
не вплетал в полотно  
не носил на запястье

---

*Ольга Аникина родилась в Новосибирске, окончила Новосибирский медицинский институт и Литературный институт им. Горького. Публикации в журналах «Сибирские огни», «Новый Мир», «Знамя», «Октябрь», «Новая Юность», «Дети Ра» и др. В «Волге» публиковались стихи, рассказы, роман «Белая обезьяна, черный экран» (2018, № 5-6).*

не накладывал шов –  
простой, п-образный, кишечный,  
по холстеду, по пирогову –  
даже тот, кто всё это умеет –  
когда-нибудь да попадётся.

нитка-ниточка, волоконце  
волосок, ресница, шерстинка  
ничего ты не вешишь, ничего ты не стоишь  
на меня ты страшно похожа  
не затем ли опять  
и опять прохожу сквозь оконные стёкла  
чтобы в воздухе  
тайно  
поскорее поймали меня

\*\*\*

он градусник разбил  
и спрятал под подушкой  
зрачок дрожащей ртути

как в зеркало, в луну  
глядят, глядят лягушки  
ночами на запруде

в прозрачном лунном рту  
под языком лежит  
жемчужина икринка

и прямо в темноту  
бежит по животу  
как вор с большого рынка

о чём они кричат  
куда уводит след  
из общей спальни

что в каждой тайне яд  
что в каждой тайне нет  
что в каждой тайне

### Конь

смогу ли сегодня  
прорваться сквозь мутный поток  
холодного дня  
прочитать его тёмные письма

в городе, где осень с весной  
родные братья зимы  
а короткое лето  
проносится мимо быстрей скакуна

в морозном воздухе  
эхо стука копыт  
стирает залиvistый ветер  
остаётся лишь память о нём

летащем мимо  
со взмыленными боками  
с глазами как угли  
и гривой, горящей огнём

чтоб увидеть его  
я всегда закрываю глаза  
чтоб пробиться сквозь холод  
я просто иду за конём

### **Огоньки**

Летают ночью огоньки  
над голубой травой.  
Их золотистые зрачки  
висят вниз головой.

И в перевёрнутом огне  
мелькает тишина,  
как в перевёрнутом окне  
рука или спина.

И в самом центре огонька –  
горящего мяча –  
щеки касается щека  
или плечо плеча,

и перевёрнуто глядит  
неспящий адресат,  
как память медленно летит  
и озаряет сад,

как память  
вдруг –  
о чём, о ком?  
становится живой,  
и тут же гаснет светляком  
над голубой травой.

\*\*\*

Живот земли раскрыт, столпились люди возле,  
застыли и глядят, не смыслят ни черта.  
Молчат, как прежде не молчали никогда,  
и мёрзнут так, как никогда не мёрзли.

Дрожат и думают о холоде земли,  
о том, как на ветру легко сосновым крыльям,  
о том, куда плывут, покачивая киями,  
опущенные в землю корабли.

И чернота внутри вздымается, гудит.  
Грудной мешок трещит, выдерживает еле,  
и тьма кипит в отдельно взятом теле,  
и всё сожрав дотла,  
никак не победит.

\*\*\*

рама дышит, рама дышит  
пара лёгких – переплёт  
воздух движется-не движет-  
ся,  
и песенку поёт

это ветер прикатился  
словно слово с чьих-то губ  
это с облака спустился  
невидимка хулахуп

хлоп да хлоп колышет стёкла  
близко, близко холода  
то ли вёсла то ли сёдла  
скрип да скрип туда сюда

бьётся сердце старой рамы  
в раме сломан шпингалет  
ветер к дому влез в карманы  
ничего в карманах нет

только в сумраке лиловом  
чья-то тень идёт к окну  
и молчит и ни полсловом  
не встревожит тишину

РЯПУШКА И КЛЮКВА

Рассказ

Первый лёд хрупкий, но может порезать до крови. Трескучая паутина разбегалась по замёрзшей матовой поверхности озера. Многоугольные пористые пластины уходили в чёрную холодную воду, скребли резиновый корпус лодки, и сердце рыбака замирало. Михаил, опасаясь острых обломков, способных вспороть днище и борта ветхого челнока, специально сел на корму, дабы облегчить нос. Вёсла погружал мягко, плавно, без рывков.

Перволёдок застал врасплох. Вечером ничего не предвещало морозов. Михаил Сутулов ставил сети в тихих красноватых сумерках, быстро выгребал к знакомой поляне, стараясь вернуться до темноты, не чувствовал холода, даже вспотел и скинул отцовский ватник. Вытащив лодку, развёл костёр, попил чаю и лёг спать.

Проснулся он в четыре утра от холода, окна потрёпанной «Нивы» украсили серебристые узоры. Толкнув примёрзшую дверь, поёживаясь, вышел к воде и чертыхнулся: озеро у берегов покрылось льдом, хоть и тонким, толщиной в пару сантиметров, но очень опасным для его старенькой резиновой лодки.

Михаил вздохнул. Ничего не поделаешь, сети надо поднимать, иначе к весне снасть забьётся тиной и мёртвой рыбой.

Сутулов подкачал резинку, разбил веслом лёд, освобождая фарватер, покуда позволяли бродни, и отправился в свой «ледяной поход», как он сам усмехнулся про себя.

– Ледокол «Ряпуховый» на сутулой тяге отходит по расписанию, – пробормотал он под нос, выплюнул окурок и запрыгнул в утлый, едва возвышающийся над водой чёлн.

Михаилу Сутулову не чужда была самоирония.

С детства за ним закрепилась кличка Сутулый. Странно, если высокого застенчивого, постоянно сгорбившегося над книгами мальчика с фамилией Сутулов наградили бы другим прозвищем.

Сутулый не обижался. Во всяком случае, так казалось окружающим.

На востоке побледнело. Где-то далеко кричали запоздавшие журавли. Основные птичьи эшелоны улетели на юг пару недель назад.

Сутулов по дороге на работу наблюдал многочисленные стаи, ломаными клиньями разрезающие осеннее небо и оглашающие окрестности грустным гомоном, словно жалеющие людишек внизу:

– Курлы, курлы... Мы-то свободные и летим куда хотим, а вы давайте работайте, скоро вас засыплет снегом и наступит бесконечная зима. Жаль вас, жаль вас, курлы, курлы.

От этой картины и прощальных птичьих песен сердце у Мишки Сутулова сжималось от тоски. Он знал, что спасёт его только рыбалка. Пора было ехать за ряпушкой. Да и клюквы не мешало бы набрать.

---

*Владимир Тренин родился в 1977 году. Работает инженером-геологом. Окончил КГПУ и аспирантуру при ИВПС КарНЦ РАН. Автор трех книг. Публиковался в журналах «Север», «Дружба народов», «Роман-газета». В «Волге» печатались рассказы (2022, 2023). Живет в Петрозаводске.*



С началом осени он частенько застывал у прилавков в продуктовом магазине, где работал на все руки: грузчиком, фасовщиком, раскладчиком товара, иногда подменял кассира, не слышал звонков и ругани посетителей:

– Сколько можно ждать, откройте ещё кассу, – кричал самый решительный покупатель.

– Михаил, что с тобой происходит? Опять заснул, видишь, люди ждут, помоги, – ворчала и мягонько трясла Мишку за плечо администраторша Ксения Петровна, пухлая, добрая седая тётенька в очках на шнурке. – Ты не заболел случайно? Всё хорошо?

– Норм, – кивал он, как будто и не застопорился на несколько минут, бросал в тележку мятую пачку гречи, которую он всё это время неосознанно теребил в руках, садился на кассу. Пробка в горле магазина постепенно рассасывалась, и Сутулов возвращался к прилавкам.

– Норм, – так он отвечал старым приятелям в соцсетях на стандартные дурацкие вопросы: как сам, как жизнь и как дела? Обычно о нём вспоминали раз в год, когда поздравляли с днём рождения, а после того как Михаил скрыл личную информацию в профиле, и эти разговоры отпали. Теперь его праздники отмечались рассылками по электронной почте от банка, мобильного оператора и сайта государственных услуг.

Всё «норм» у Михаила Сутулова, а что могло быть ненормальным?

Жил он один, в своей, доставшейся от родителей, двухкомнатной квартире. Кредитов, ипотек не имел, не пил, не играл, работал, правда, зарплата маленькая, так и у него были небольшие запросы.

В реальной жизни, за пределами интернета, общался Михаил только с коллегами по работе и с соседкой – бабой Олей, сухонькой старушкой за восемьдесят. Она заехала в новый дом одновременно с родителями Михаила и знала его с рождения.

Отец Стулова трудился всю жизнь на заводе, вредных привычек не имел, не унывал никогда, странно, что жена бросила его и почему-то оставила сына. Это было так давно, Миша ходил в октябрятах, и о маме сохранилось мало воспоминаний: толстая русая коса да зелёный халат с ромашками. Ещё он помнил длинные пальцы и белые ладони, наполненные красной смородиной. Рука приближалась к его лицу, маленький Миша тянулся за ягодами, и рот наполнялся кислой горечью. Он морщился, а мама звонко смеялась.

Почему она не забрала его с собой? Наверное, не разрешил взять тот, новый? Возможно, ушла к интересному, более разговорчивому человеку, чем отец. Все семейные снимки, где присутствовала мама, папа сжёг в раковине на кухне. Едкий дым от горящей фотобумаги и сгорбленную фигуру плачущего отца Михаил не забудет никогда, а вот лицо мамы стёрлось из памяти. Иногда ему снилось, как высокий брюнет крепко хватает волосатой лапой родную прохладную ладонь с длинными пальцами и тащит маму за собой. В проёме открытой двери мелькает коса, женщина поворачивается, вот-вот Миша увидит её в профиль, а может и глаза, но чужой чёрный затылок над вытертыми плечами кожаного пиджака закрывает мамино лицо.

Сутулов-старший воспитывал сына в соответствии со своими чёткими понятиями о жизни. Всё по режиму – и сон, и приём пищи. С утра – зарядка, отжимания, гантели и холодный душ. Летом Михаил отправлялся в пионерский лагерь, сразу на две смены. Отец приезжал навестить сына один раз в месяц. Родные люди сидели под соснами за столом из тёмных от времени досок. Они хотели сказать друг другу что-то главное и тёплое, очень хотели, но не знали как.

– ...Да, всё хорошо, кормят норм... купаемся, никто не обижает, – мямлил Михаил, теребя сдвоенную длинную хвостик, пил принесённый отцом лимонад «Мальвина» из картонного стаканчика, закусывал шоколадом, рассматривал его рыжеватые седеющие усы и ждал окончания тягостного свидания.

Отец тоже вздыхал с облегчением, когда приходило время прощаться, неловко обнимал сына:

– Не грусти, Мишка, тоска – удел лентяев и бездельников, нам ли быть в печали, осенью поедем ряпуху ловить с ночёвкой на заветное озеро и клюквы наберём.

– Хорошо пап, – кивал Михаил.

Он не очень любил ездить на рыбалку, а уж тем более собирать ягоды, но не хотел разочаровать родителя. Сутулов всё готов был сделать, чтобы этот хмурый мужчина не расстраивался и не повторилась та сцена, когда папа рыдал на кухне.

Мишка делал уроки, помогал по дому, готовил ужин, выносил мусорное ведро, занимался в секции настольного тенниса три раза в неделю, поступил на лесоинженерный факультет, учился сносно, закончил всего с двумя тройками.

Как же так произошло, что он чувствовал себя несчастным и никому не нужным, ведь делал-то всё по плану, делал всё правильно?

Устроился на работу по специальности, женился сразу же после окончания университета. Через два года случился сбой, жена собрала вещи и ушла. Повторилась история его родителей, правда, ребёнка они родить не успели. В целом же ничего в его жизни не поменялось. Он работал в селекционном центре, получал грамоты на третье воскресенье сентября, занимался восстановлением леса. Выезжал за город в питомник, сушил сосновые шишки, луцил семена, высаживал деревья.

Нравилась ли Сутулову такая жизнь? Как это понять, оценить, кто скажет? Проснулся человек, пожарил яичницу, съел бутерброд или творожок, сполоснул глаза, зубы почистил, улыбнулся себе в зеркало и вперёд, на работу.

Сутулов, будучи студентом, даже вёл дневник до развода, где записывал впечатления и интересные события, погружался в серьёзную литературу, отдельно выносил запоминающиеся цитаты. Он почерпнул когда-то из умных книг, что страдание меняет личность, и человек после испытаний начинает смутно догадываться о своём предназначении. Михаилу казались странными подобные мысли. Ранние увлечения, круговорот событий, весёлые практики и студенческие пьанки не способствовали метафизическим размышлениям.

Спустя время крупницы света, не усвоенные много лет назад, начали проникать в его четко расфасованный, разложенный по нужным полкам, разум. Вот сейчас, без отца, оставленный матерью и женой, один, в пустой квартире. Для чего-то он оказался выброшен в эту жизнь?

Почему нельзя просто жить, радоваться и понять цель? Или цель вовсе не важна?

Значит, кто не страдает, кто не болеет, не мучается – и смысла своего существования не поймёт никогда? Может, эта жизненная рутинка, этот творожок каждый день и есть долгий путь к осознанию себя.

Страдал ли Сутулов? Да, наверно, так ему казалось, но разве могут переживания физически здорового мужчины сравниться с муками людей, поражённых смертельным недугом, или родителей неизлечимо больных детей. Возможно, обыденность существования Сутулова, как и большинства людей на земле, и есть главное испытание жизни?

\*\*\*

Михаил не был плохим или жадным человеком, особой добротой не отличался. Посторонним людям помощь пожилой соседке показалась бы проявлением заботы и любви к ближнему. Скорее, это являлось обыденным автоматическим и равнодушным движением, подобно открыванию двери перед особями противоположного пола. Ну, попросила баба Оля купить что-нибудь, сходил, Михаилу не трудно. К соседке он относился с такими же чувствами, как к кусту шиповника у подъезда.

Приносил ей товар со скидкой, а баба Оля отсчитывала денежки из старинного кошелька кирпичного цвета. Иногда она угощала его чаем и серым беже, засохшим ещё при другом президенте. Все её подруги умерли, и Михаил остался единственным связующим звеном с миром людей.

Он покорно садился за стол и пил чай, немного морщился от запаха прокишей тряпки, но виду не подавал. Липкие ложки и потёртая клеёнка на столе. Михаил не хотел приходить в эту квартиру, но почему-то не мог отказать, а с недавнего времени жизненные обстоятельства так сложились, что связь соседки с Сутуловым стала неразрывной.

Баба Оля сама позвонила в его дверь однажды ранним субботним утром:

– Мишенька, прости, что побеспокоила. Помоги старухе, пенсию не принесли, сказали по телефону из банка, что теперь по карте надо получать.

– Да, баб Оль, сейчас оденусь, выйду.

На улице она взяла его под руку, как сына, и долго извинялась.

– Толкую им, я старая и не смогу. Они спросили, ходячая, не инвалид ли я? Ой и глупая, говорю, всё у меня хорошо, добреду. ...Вот и приходите. Дурында, не захотела больной притвориться.

Сутулов помог ей получить карту для начисления пенсии, подвёл к банкомату. Баба Оля передала ему зелёную пластину:

– Мишенька, сделай сам, а я посмотрю.

Пенсия у соседки оказалась больше чем зарплата у Сутулова. Михаила даже немного позабыл этот факт. Он получал тридцатник, иногда чуть меньше, шесть тысяч тратил на квартплату, на остальные жил, и даже удавалось откладывать на чёрный день.

«Старушка-то с деньгами, может, стоит освежить запас зефира в серванте?» – усмехнулся про себя Сутулов. Реликтовые злые смешки наверняка достались ему по наследству от мамы. Отец любил пустого зубоскальства.

– На жизнь хватает, не жалуясь. Всю дорогу в мэрии проработала экономистом, считаюсь госслужащей, государство доплачивает, да ещё на девятом десятке накинули, – словно оправдываясь и чувствуя мысли Михаила, рассказывала баба Оля по дороге домой.

Она пригласила Сутулова в гости, достала из серванта графинчик зелёного стекла и два гранёных лафитника. Дрожащей рукой нацедила тёмной вязкой жидкости.

– Выпьем сливовицы по такому случаю.

– Баба Оля, может не стоит? – вяло сопротивлялся Михаил.

– Ну, как? Такое дело, помог.

После настойки соседку потянуло на откровения.

– Чувствую, Мишенька, немного осталось. ...Племянник Федька в Свердловске живёт, на Урале, ты, пожалуйста, возьми его телефон, – она протянула ему свёрнутую бумажку из ученической тетради в клетку. – Как помру, свяжись с ним, единственный наследник, квартира ему достанется, пусть и хоронит тогда. Паршивец он последний, звонил уж и запаматовала когда, до эпидемии, спросил мой сотовый, а у меня и нет, зачем? Он свой продиктовал, сказал, всегда на связи. ... Неинтересно ему. А вдруг тётки нет в живых, лентяй, весь в отца, братца моего младшего.

– Живите долго, баба Оля, не надо думать о плохом, но если что случится, обязательно позвоню.

С этого дня раз в месяц соседка просила его сопроводить к банкомату. Внимательно следила за суммой на экране и тщательно пересчитывала купюры. Старушка снимала всю пенсию, уважала только наличность, расплачиваться картой за продукты принципиально не хотела.

Отношения их стали ближе. Иногда вечером, он сам не зная почему, заходил к ней. Слышала баба Оля плохо, телевизор молотил на полную громкость. Михаил скручивал звук и громко рассказывал свежие городские сплетни, подхваченные от продавщиц на новом рабочем месте.

Несколько лет назад карьера лесного инженера прервалась. Селекционный центр, где трудился Михаил, закрыли.

– Лес растёт долго, результата в столице не видят от нашей работы, считают, что мы бездельники, – подытожил на последней планёрке начальник Сутулова.

Контору распустили, огромные площади лесопитомников под городом ушлые люди сразу же перевели в нужную категорию землепользования и нарезали участки под элитную застройку.

В отличие от многих своих коллег, Сутулов не рвал волосы в отчаянии. Вечером, по окончании последнего дня службы, он спросил в ближайшем магазине о свободных вакансиях, получив согласие, уже утром вышел на смену. Администратора не смутило высшее образование и большой стаж на другом производстве. В торговле трудились бывшие лесники, учителя и научные работники, а большинство молодых ребят, устраивавшихся на работу, приходили со студенческой

скамьи не из профильных техникумов. Место по специальности в городе, где жил Сутулов, найти было очень трудно. Молодёжи жилось ещё сложнее. Социальные лифты давно застряли на одном уровне и привычно двигались по горизонтали, как электрички. Вчера ты был студентом, а сегодня – в красной кепке, меняешь масло во фритюрнице или сидишь на кассе в продуктовой лавке. Но всё равно ребята пытались искать и не задерживались в магазине, уходили в кафе, доставку еды и цветов, а Михаил решил остаться в своей торговой сети до пенсии.

Он, опытный лесной инженер, не стеснялся любой работы, наверное, сказывалось папино воспитание. Отец говорил: «Надо дело делать. Все люди созданы, чтобы работать».

«Ведь я делаю, пусть небольшое дело, но делаю, с какого же хрена мне так плохо, папа?» – Сутулов начинал догадываться, почему его бросила жена и от отца ушла мама: «Кто захочет жить со скучными людьми, цель у которых только работа?»

Водки он не пил, к продавщицам не приставал. Равнодушие к спиртному и противоположному полу вызывало кривотолки. Коллеги подозревали Мишку в нетрадиционной ориентации, и первое время это было поводом для соответствующих шуток. Сутулова называли «противным» и сватали к молоденьким таджикам, продающим орехи и сухофрукты в ларьке, на арендованной площади за кассами. Вскоре выяснилось, что Сутулов никакой и не «противный», а очень даже и «ходок». На Новый год он внезапно пригласил весь коллектив в полном составе к себе домой. Праздник удался. Две молодые кассирши остались ночевать, и что там было, можно только догадываться. Кажется, он смог чем-то их поразить. У девушек выпытывали:

– Ну и как Мишка?

Допрашиваемые молчали, переглядываясь с улыбкой. Загадочность добавила Михаилу очков и окружила его таинственным ореолом героя-любownika. Слухи разлетаются со сверхсветовой скоростью в женском коллективе. Подозрения в гомосексуальности растянули вместе с прошлогодним снегом. Продавщицы начали смотреть на него с желанием, даже с вызовом и некоторой обидой: и почему он раньше не обращал внимания на коллег по работе?

Теперь он стал своим. Сутулов возвысился, а Ксения Петровна, в один прекрасный день на утреннем чаепитии перед открытием магазина, сказала, что Миша Сутулов похож на актера, играющего Ришелье в фильме про мушкетёров, такой же носатый, длинный, худой и задумчивый. Ещё усики отрастит, вылитый кардинал!

Молодые кассирши, не смотревшие популярный в своё время фильм, нашли в интернете фото актера Александра Трофимова в красной прелатской шапочке, удивлялись: «правда, похож».

– Девки, а вы заметили, какие у Мишки крупные ладони, как лопаты? – громко спросила уборщица Зинка с дугообразно подведёнными синими бровями, придающими её испитому лицу удивлённое выражение.

– Угу, и что?

– А вот что, моя бабка говорила: чем больше кисти у мужчины, тем крупнее у него хозяйство, – яркие и изогнутые брови, как Гималаи на картинах Рериха, взметнулись к небесам. Зинка торжественно оглядывала притихших продавщиц и фасовщиц.

Все вопросительно посмотрели в сторону Наташки, одной из счастливиц, ночевавших у Сутулова.

Покрасневшая кассирша не стала дожидаться расспросов, поставила чашку, задвинула стул.

– Без двух восемь, пора открывать, – Наташка неожиданно громко хлопнула дверью комнаты для приёма пищи, провожаемая десятью парами любопытных глаз.

– Ну что, девки, надо брать мужика в оборот, – сказал кто-то.

В атмосферу было вброшено слово, и Сутулов даже и не мог и подумать, каким романтично-привлекательным шлейфом вдруг обернулась его скромная фигура. Даже высокомерные девицы из косметического салона выше этажом зачастили в продуктовый отдел, с любопытством поглядывая на долговязого задумчивого продавца.

– Что было с кассиршами-то, расскажи, – спросил как-то запоздавшего Михаила охранник Ипполит, закрывающий общий выход из торгового центра.

- Ничего, напились да облевали всё. Я полночи квартиру отмывал, – соврал Сутулов.
- Всего-то делов, а разговоров, эх... – Ипполит разочарованно махнул рукой.

\*\*\*

Сутулов аккуратно выгреб на чистую воду. Лодка пошла веселее. Добравшись до места, Михаил бросил длинный ржавый болт на бечёвке и зацепил притопленную сеть. Верхоплавом снасти не ставил, боялся рыбадзора. Он периодически застывал, как зверь, вглядываясь в горизонт, обращался в слух: не тарактит ли мотор?

Тишина. Только поскрипывала заиндевевшая резина под броднями. Михаил с усилием тянул шнур, встряхивал снасть от воды и укладывал на дно ветхого плавсредства. Он поставил ряд на триста метров. Вытащил первую сетку с двумя маленькими вялыми ряпушинами. Начало не вдохновляло, хотя место уловистое, то самое, сюда он приезжал с отцом, и вода ледяная, подходящая для нереста.

Сутулов выбирал сеть, вспоминая слова возбуждённого отца, вытаскивающего добычу:

- Бляха-муха, рыбы-то, свезло нам, сына!
- Пап, ну ты чего?
- Извини, Мишка вырвалось, – Сутулов старший редко ругался.

Потом, после рыбалки и сборов, очистив сети, загрузив улов и багахло в багажник, отец, немного успокоившись, по дороге домой за рулём «Нивы», читал лекцию:

– Ряпушка, маленькая рыбка из рода сигов, очень красивая, с плавничком на спинке между основным и хвостовым, похожим на запятую, он называется жировым, у семейства лососёвых как визитная карточка. Знай, Мишка, увидишь такой плавничок – улыбнулась тебе удача!

Как-то гостил у Сутуловых дальний родственник из Москвы. Отец ради такого случая вытащил из морозилки пакет, наварил и нажарил ряпухи.

Гость морщился:

– Не понимаю, что вы в ней находите. Мы такое не едим. Форель я люблю, сейчас её много в магазинах, а эта салака не по мне, мелковатая.

– Имя форели обещено, нет никакой форели, всё, что вы там покупаете у себя в магазинах, это гадость синтетическая. Мясо красной рыбы не должно иметь оттенок жаркого заката. Природное – оно прозраченькое, легкого нежно-оранжевого тона. А от вашей искусственной яркой рыбины глаза режет и ядовитого жира в сковородке по рубчик. Ни в коем случае не бери садковую форель. Если бы ты знал, какой мерзостью её кормят. Ряпушку в сезон покупай, замораживай, и будет тебе счастье весь год, – так учил отец непутёвого столичного родственника.

– «Ряпушка самая лучшая рыба на свете», – любимая отцовская присказка, которую он постоянно повторял, прихлёбывая уху. – Вкуснее рыбы, чем ряпушка и сиг, нет и не было в этом мире, так учил меня дед, а он, между прочим, промысловик со стажем. Раньше ряпушку бочками заготавливали, солёных сигов обозами в столицу возили...

«Разве пустая снасть должна так тянуть ладонь?» – Михаил оживился, увидев поднимающуюся с глубины мерцающую мозаику.

– Вот она рыба моя, ряпуха родная, сколько же её?

Сеть, слегка нагружавшая руки в глубине, становилась невыносимо тяжёлой над водой. Рыба блестела, билась и казалась, лодка наполнялась живым серебром и могла пойти ко дну под грузом. Пришлось отвязать ряд и грести к берегу.

Он возвращался ещё два раза. Разбитого льда уже не боялся, волновался только, что рыба не влезет в багажник.

С трудом загрузив в «Ниву» улов, заполнив все мешки и ёмкости, Сутулов решил на обратном пути посмотреть клюкву, остановился на краю болота и, сам не ожидая от себя, набрал целых два ведра. Они всегда так делали с отцом, хотя маленькому Мише после рыбалки очень не хотелось вылезать из нагретого салона машины на промозглое болото. Сегодня мох покрылся белой измо-

розью и хрустел под ногами, странно, он даже получил удовольствие от сбора ягоды, чего раньше терпеть не мог:

– Старею, – хмыкнул Сутулов.

Приехав домой, раскидал ряпушку и клюкву по полиэтиленовым пакетам, закинул в старую морозильную камеру, места не хватило, большую часть рыбы оставил в мешках на балконе, благо мороз поджимал.

До полуночи Михаил рассматривал в интернете морозильные камеры. Некоторые агрегаты обошлись бы ему в полугодовую зарплату. Он оставил закладку на странице поисковика и выключил компьютер.

На следующее утро притащил на работу рюкзак с ряпушкой, раздал продавщицам, чем ещё более повысил свой авторитет.

Тянулись дни. Сутулов раскладывал продукты, ловил воришек, выбивал на кассе товар. С началом зимы он почти не стопорился у прилавков. Реже всплывали в памяти детские обрывки: плеск озёрной воды, запах дыма, резко уходящий под воду поплавок и рыба, бьющаяся на крючке.

В последний раз завис, когда вытаскивал лотки с просроченной курицей со дна холодильников, будто поднимал сеть, наполненную рыбой. Сердце замерло, и он мечтательно улыбался. Громкий скандал на кассе вырвал его из сладких грёз. Администратор Ксения Петровна держала за плечо нервную худенькую женщину, ещё не старую, но с одутловатым серым лицом, верным признаком глубоко пьющего человека.

– Что вы себе позволяете! Только зашла пшена купить попугаю, а тут локти выворачивают, – уверенно и нагло заявила пойманная дама с упаковкой крупы в руках.

– А это что? – Ксения Петровна показала на узкие джинсы, сквозь грязную ткань которых проступали очертания бутылок.

– У меня опухоль на коленях! – закричала маленькая бродяжка.

– Сейчас я тебя вылечу, вытряхивай опухоль свою, а то ментов вызову, – администратор прекрасно понимала, что полиции дела нет до таких случаев, но приём работал.

Воровка с трудом вытащила из каждой штанины по бутылке водки, передала тару Михаилу, вырвалась от ослабившей хватку Ксении Петровны и убежала.

– Беги, беги, чтобы больше тебя здесь не видела! – крикнула ей вслед Ксения Петровна и подмигнула Сутулову

– Алкашка, опухоль у неё, придумают же? – смеялись пенсионерки в очереди.

Михаилу почему-то стало жалко эту маленькую дрожашую заблудшую женщину.

Он взял водку, пробил на кассе, сказал, что деньги закинет позже, выскочил из магазина, спрыгнул со ступенек, догнал воровку и всунул ей бутылки в руки:

– Держите.

– Спасибо, неожиданно и приятно. Мужчина, хотите познакомиться? – спросила она игривым тоном. – Вы опоздали, я занята.

– Держите и больше не воруйте.

– Пошёл ты ...!

Михаил с сочувствием посмотрел в злые заплавленные глаза, поднялся обратно к двери, обернувшись, увидел, как женщина передала водку потрепанному человеку с палкой, тот радостно ухватился за спиртное, отвернул крышку и отхлебнул. Она взяла его под руку. Пара удалялась всё дальше и дальше, бездомный сильно хромал, а маленькая спутница что-то рассказывала ему и яростно жестикулировала. Эти люди, возможно, были влюблены друг в друга, и не показались Сутулову несчастными.

Вечером Михаил разморозил пакет с ряпушкой, сварил ухи. Поел сам и принёс кастрюльку бабе Оле. Он уже делал так несколько раз после того знаменательного улова.

– Что-то в сон тянет, я спать уже приготовилась, не ждала тебя, – соседка зачерпнула немного жидкости с кружочками жира, поднесла ложку ко рту, шамкнула беззубым ртом, закрыла глаза. – Вкусно, люблю ряпушковую уху.



Минуту они молчали.

– Ешьте на здоровье, баба Оля, рыбы ещё много, – нарушил тишину Сутулов.

– Спасибо тебе Мишенька, за всё... – она откинулась на спинку дивана.

– Да бросьте... – Сутулов задумался о своей жизни, о странной паре, увиденной сегодня. – «Хромого бездомного алкоголика любят, а любил ли кто-нибудь меня? Только отец, наверное. Всё так прожито несерьёзно и мимо», – ему показалось, что эта старая женщина сейчас самый близкий для него человек. Он очнулся, подняв голову, увидел, выпавшую ложку из рук соседки.

– Баба Оля! – Сутулов вскочил и легонько потряс её за высохшие плечи. Прислушался. Старушка не дышала. Пульса не было.

Она как будто бы задремала, выражение лица было счастливым и умиротворенным, может потому что в затухающем мозгу теплилось последнее ощущение в жизни, вкус ухи из маленькой рыбки рода сегов.

Михаил Сутулов растерянно вышагивал по комнате, он видел покойников в своей жизни, но никто не умирал в его присутствии. Надо было что-то делать. Позвонить? Проблем не хотелось. Полицейские косые взгляды, протоколы, вызовы на допрос, вдруг заподозрят в убийстве, накормил бабку неизвестно чем, она и умерла.

«Как объясню, что делал в чужой квартире именно в момент смерти?»

Он уже проходил однажды свидетелем по краже и не хотел связываться с судебной волокитой.

«В конце концов, умер же не родственник, одинокая женщина, мало ли умирает одиноких старух по всей стране», – так он рассуждал про себя.

Михаил вылил уху в унитаз, вымыл посуду и забрал с собой кастрюлю. Немного замешкался в прихожей в поисках ключей, увидел на крючке рядом с зеркалом, улыбнулся отражению по привычке. Посмотрел в глазок, убедившись, что на площадке никого нет, вышел из квартиры, закрыв дверь на два оборота.

Он курил и думал на своей кухне без света. Мысли кружились, сталкивались между собой.

«Почему так волнуюсь, в конце концов, я же её не убивал. Умерла тётка от старости. Посидит на диване. Можно так говорить о мёртвом человеке: посидит? Осталось тело, оболочка. Процесс разложения начнётся, запах в подъезд. Я первый подниму тревогу, вызову полицию».

Михаил представил, как баба Оля медленно гниёт, тлетворный дух заполняет квартиру, наверное, это будет долго длиться. Учитывая кубатуру гостиной, коридора, прихожей.

«А вдруг открыта форточка? Диван у окна. ...Форточка. Никто не почувствует месяц, а то и больше. Плоть распадается и слезает вонючими кусками с лица и дряблых рук, в её глазницах копошатся черви».

Сутулов вздрогнул: «Да что же это такое!»

Включил свет. Достал из холодильника початую бутылку коньяка, оставшуюся от продавщиц с новогодних посиделок. Плеснул в стакан, с трудом выпил, зажмурился, нащупал графин, разбавил бюджетную ванильную горечь кипятком.

Михаил решил не оставлять покойную соседку. Нашёл бумажку с телефоном племянника бабы Оли. Позвонил, ответила женщина, Сутулову не показалось это странным, он попросил позвать мужа.

– Простите, я с плохой вестью, тётя Оля сегодня умерла.

– У меня нет никакой тёти Оли, что за шутки. До свидания, – усмехнулся мужчина. – Так меня ещё не разводили.

– Подождите, а вы разве не её племянник Фёдка, простите Фёдор, с Урала, города Свердловска, то есть Екатеринбурга.

– Я не Фёдор и живу в Тамбове. До свидания.

Михаил покачал головой: «Шутник этот Фёдка, не хотел, чтобы бабуля беспокоила лишний раз. ...А может, она мне по ошибке чужой телефон дала?»

Сутулов прокрался на цыпочках через лестничную площадку, отворил дверь в соседскую квартиру, чертыхнулся на себя за двойной оборот ключей.

Стараясь не смотреть по сторонам, открыл сервант. Пахнуло запахом лекарств и старого печенья. Блеснул графинчик с настоек. На нижней полке теснились упаковки со сладостями. Наверху Михаил разглядел старинную жестяную коробку от чая. Рядом лежал знакомый кошелек кирпичного оттенка. Сутулов покосился на диван, выдохнул и открыл кошелек. В одном отделении аккуратно уложены деньги, недавняя пенсия соседки, а в другом банковская карта. Михаил вскрыл коробочку и ахнул. Внутри свернулась толстая пачка купюр.

Чёрный холодный червь проник в сознание:

«Ведь никто не узнает. ...Я звонил племяннику, последнюю волю исполнил. Нет на свете Федыки. Одинокая баба Оля придумала себе родственника. Карта, скоро пенсия. ...Зачем теперь ей это?»

В голове сложился план. Собравшись с силами, глянул на соседку: «Сидит, улыбается, интересно, как там?»

Сутулов аккуратно завернул тело в серое покрывало. Выключил свет, заглянул на балкон и приготовил место, убрал хлам и горшки, под голову кинул подушку. Перенёс ношу с дивана на бетонный холодный пол. Странно, невесомая на вид старушка оказалась очень тяжёлой. Отдышавшись, Михаил сходил в спальню, взял пуховое одеяло и накрыл кокон с телом.

Деньги рассовал по карманам, карточку зажал в ладони, коробочку и кошелек с небольшим остатком пенсии положил на место. Прислушался, нет ли кого на лестнице, прикрыв дверь, тихо хонько щёлкнул замком, повернув на один оборот.

Он покрывлся испариной, так не волновался со студенческих лет, когда списывал на экзаменах. Закурил, немного успокоившись, пересчитал деньги. В пачке было больше трёхсот тысяч рублей. Михаил, выпив коньяку, разглядывал наличку и пластиковую карту.

«Зелёные и красные бумажки, что вы делаете с людьми?»

– Мишка, это чужое, – Сутулову послышался голос отца.

– Папа я потрачу на хорошее дело. Карта ещё не скоро кончится, код знаю, подкоплю пенсию. Придёт время, бабу Олю похороню. Ей уже не нужно. Всё сделаю. Тебе памятник хороший поставлю, а то с продаванской зарплатой за всю жизнь не накопишь. Новую лодку куплю, большую, ты мечтал о такой.

– Кого ты обманываешь? Старушка будет лежать на балконе весну, лето, осень? Я догадывался, Мишка, что ты фантазёр, но не настолько же! Да в ближайшую оттепель уже плюс. В нашем-то климате, – усмехнулся голос.

Михаил рванулся к компьютеру. И точно! Проклятый циклон, мороз заканчивался через пару суток, к концу недели обещали аномальное потепление и дожди.

Он долго тупил на иконки, изображающие тёмные тучки с выпадающими косыми линиями, под которыми синел жирный плюс и цифра пять. Помутневший от коньяка взгляд ползал по экрану сонной весенней мухой, растерянно и бесцельно. Всякая ерунда с артистами, горячими новостями, перемежалась рекламными картинками с сайтов резиновых лодок, моторов, холодильников.

Сутулова озарило. Судорожно защёлкав мышкой, открыл недавнюю закладку. Посмотрел наличие самых больших домашних морозильных ларей в ближайшей точке продаж бытовой техники и кинул покупку в корзину.

Засыпал он счастливый и немного пьяный.

На следующий день отпросился на час у Ксении Петровны, сбегал в магазин, оплатил агрегат наличными и заказал доставку товара на вечер.

Большая коробка с трудом разворачивалась на лестничных переходах. Вспотевший Михаил руководил процессом. Он хотел занести покупку в квартиру покойницы, тербил горячую связку ключей в кармане, но как назло в это время поднимался сосед из квартиры напротив. Он не торопился, тактично остановился на площадке ниже и ждал, когда освободится проход. Сутулов готов был его задушить. Быстро открыл свою дверь и пропустил грузчиков:

– Ребята ставьте в большой комнате вдоль стены, я потом сам справлюсь.

Сосед, проходя мимо, вежливо поздравиł:



- С обновкой вас. Холодильник?
- Да, – кивнул Сутулов, стряхивая пот со лба.

Подключив морозильную камеру, он снял сетки для продуктов, освободив ёмкость на всю глубину. Мёртвую старушку решил перенести сегодня же ночью. Дождавшись двух часов, открыл дверь нараспашку. Проскользнув в соседскую квартиру, рывком поднял тело, закутанное в серый саван, промчался чёрной тенью через гостиную, прихожую и лестничную площадку, чудом не зацепив мебель и углы. В его большой комнате ждала, светилась уютным зовущим огнём открытая морозилка, волшебный саркофаг, космическая капсула для анабиоза, готовая принять своего путешественника.

Сутулов нежно погрузил тело и закрыл крышку. Прислушался. Так обычно замирал на рыбалке: не тарыхтит ли мотор рыбанадзора. Тишина в доме, только мирно гудел шедевр холодильной техники.

На следующий день он освободил старую «Бирюзу», выключил от сети, решил продать по объявлению. Пакеты с ряпушкой и клюквой разложил, замаскировал главное содержимое. Михаил подумал, что так будет правильно, мало ли заглянет кто, опять же экономия электричества.

Новый год Сутулов отмечал в одиночестве. Приготовил оливье, поджарил рыбы, даже купил шампанского. После обращения президента открыл морозилку, чокнулся бокалом о крышку.

- С Новым годом, баб Оля, с новым счастьем!

Крючковатый нос, покрытые инеем сморщенные щеки старушки обрамляли прозрачные полиэтиленовые пакеты, наполненные клюквой. Свободное пространство морозилки занимали ягоды, а от подбородка спускались многочисленные кульки с ряпушкой, и казалось, что баба Оля покоилась в роскошной пурпурной королевской мантии с серебряной оторочкой.

Сутулов долго смотрел на неё. Заиндевшие мёртвые губы улыбались.

– Хорошо же, баба Оля? Вы как спящая королева, в ряпушке и клюкве. Не обессудьте, полюбите, а потом я схороню. Сделаю, обещаю. И памятник, оградку, всё как у людей.

В дверь позвонили. Михаил аккуратно накрыл лицо соседки большим пакетом с рыбой и хлопнул крышкой. Замешкался, куда поставить бокал, так и пошёл с недопитым шампанским открывать дверь.

– Не спит, смотрите. ...С шампунем встречает! ...Вот это я понимаю, Мишка, можешь же, когда захочешь! Это год будет обязательно счастливым! – в прихожей раздался знакомые возбуждённые голоса продавщиц.

– Ого, жареной ряпушкой пахнет! Девки, я же говорила, у Мишки деликатесы фирменные. ... Наливай, друг сердешный! Хотя что ты можешь предложить? У нас есть свои, строевые напитки.

Днём, выпроводив последних гостей, он убрался на кухне, вымыл посуду. Вынося мусор, Михаил услышал на площадке звонок в квартире покойницы, остановился, стал шарить по карманам, сделал вид, что искал зажигалку. Трезвон длился несколько минут, кто-то упорствовал на том конце провода.

Возвращаясь, Сутулов опять услышал звонок, очень долгий, нервный. Вечером не включал телевизор и компьютер, замер, сидя посредине своей кухни на табурете в режиме тишины, словно лёг на дно в подводной лодке с выключенными двигателями. В двадцать один час четырнадцать минут опять позвонили. Он сквозь дрему отчётливо различил противный звук, ошибки быть не могло, проверил, приложил недавно вымытую от оливье широкую салатницу к стене: звонок пробивался отчётливо и упрямо.

Михаил взял ключи, открыл дверь соседки, поднял и сразу отодвинул трубку от уха, оглушённый радостным пьяным басом:

– Алло, тётя Оля, ну вы дрыхнуть, не дозвонитесь до вас, начал волноваться, чесслово. Узнали? ...Это же я Федя, Федька, с наступившим вас, с новым счастьем! Думал, нет тётки, таво, пора за ключами от квартиры выезжать. Шучу! Привет от ...

Сутулов зажал дрожащей ладонью клавиши отбоя, аккуратно положил трубку и вышел из чужой квартиры, закрыв замок на один оборот.

Владимир ЕРМОЛАЕВ

ИЗ ЦИКЛА «ИСЧЕЗНУВШИЙ ОБЪЕКТ»

I

**Оттенок красного**

до черного  
от темного  
бордо  
недалеко

земля  
сгустившаяся  
кровь

исчезнувший  
объект

оттенок  
красного  
#260100

новинка  
ultrablack

и вой  
из пустоты

неслышимый  
но  
зримый

**Парк вечером**

высокие  
пустеют пьедесталы

---

*Владимир Ермолаев родился в 1950 году в Иваново. Окончил Ивановское музыкальное училище и философский факультет МГУ, а также докторантуру Латвийского университета по кафедре истории философии. Автор семи сборников верлибров. Печатался в журналах «Арион», «Новый берег», «Воздух», «Интерпоэзия», «Волга», «Дружба народов» и др. Живет в Риге.*

сошедшие  
уходят на закат

где арка светится  
в конце аллеи

хрустят ракушки  
словно гравий

едва заметно  
качаются кусты

и звери  
с птичьими губами

выходят медленно  
из темноты

ночь движется

### **Колесо обозрения**

мохнатый оборотень  
спиной к воротам  
лицом к аттракциону  
Ferris-wheel

помост высок  
огни со всех сторон  
подсвечивают слезы

ночное разноцветье  
фейерверк

тот город далеко  
звук выстрела  
теряется в салюте

грохочет музыка  
в прихожей юбилей

быть может  
с террасы виден  
берег океана

вместо гостей и писем  
обилие птиц  
зверей

цветы  
лишь продолжение корней

инстинкт глухой  
уводит оборотня  
прочь

в безлюдный лес

три четверти луны  
в тени

мелькают  
разноцветные  
огни

и конфетти

крик чибиса

спокойный  
плеск воды

тропинка  
вьется лесом

тростник уснул

скрипит  
старинное железо

и лодка  
с прахом инженера  
уходит в ночь

### **Предсказание**

здесь пруд  
и камни в ряд  
на расстоянии шага

большая рыба  
лениво  
смотрит из воды

там город башня  
треугольник Рёло  
и близнецы

один покрыт водой  
другой словами

и крыша  
в окружении стекла  
откуда видно все

ты будешь там  
но в сумерках вечерних  
на закате

### **Огненный дракон**

камни сваленные  
грудой

легко ли превратить  
в скамью

а башню замка  
в каланчу

глядящую на лес  
где не было пожаров  
с тех пор  
как улетел дракон

дождаться ли заката  
у обелиска

в надежде  
что зверь сойдет  
с пластины из металла

окрасит башню  
в цвет огня  
раскинет мишуру

рог прозвучит  
копыта стукнут

нет ни к чему  
пора  
в обратный путь

ты знаешь расписание

когда охота  
пронесется лесом

ты будешь  
далеко

и с мыслью  
о другом

зачем играть  
в старинную игру

### **Вереск**

от сумасшествия  
до вереска три шага

ровесница чумы  
секвойя  
хранит все даты

словно  
жесткий диск

рождение композитора  
отмечено

смерть нет

он жив  
хотя и болен

полулежит лицом к реке  
сжав кулаки

все совершается  
одновременно

гигантская секвойя мира  
ширится растет

и Рейн течет  
и вереск розовеет

### **Волны**

изгибы  
выдающие себя  
за волны

несут на юг  
страдающего  
от морской

болезни  
музейных залов  
Эренхофа

Бетховен  
Заратустра  
Гейне

согнув колено  
ступню поставив  
на валун

восходят в никуда  
Рейнтурм  
маяк туриста

Штадттор  
и пьяные дома  
обозначают вход

в реальность  
трезвеет путник  
у воды

под небом  
отраженным  
в хмуре Рейне

### **Концерт**

и вот ты здесь  
среди кариатид грифонов

обернут золотой фольгой  
почти буквально

прибой разнообразных звуков  
струнных духовых

и царь-рояль  
и пианист во фраке

и благовест звучит

ты в сердцевине блага  
его ядро  
оно живет в тебе  
и умирает

ты умер бы  
не переплыв реки

но удалось

и этот благовест  
антракт

минута слабости  
секунда ностальгии

### **Музыка**

жужжит пчела  
и ангелы скорбят  
и римский столб  
неподалеку от креста  
с Распятым

тишина  
июньский жар без ветра  
между крон  
на млечном фоне  
темнеют кольца Арсенала

в неведомом углу  
под идиллической травой  
покоятся останки Музыканта

лишь часть останков

череп с трещиной  
от темени к виску

за сотни километров  
от кладбища св. Маркса

среди другого хлама  
в урочный час  
дрожит как резонатор  
при звуках фортепьяно  
флейт  
кларнетов



благословляя  
зальцбургских  
студентов

### **Public Matters**

значение  
отрубленных ступней  
поставленных  
как туфли  
за дверью номера  
в отеле  
и тела позади  
принявшего вид  
взбитых сливок  
темных  
как патинированная  
бронза

неясно мне

понятнее  
белый сфинкс  
и путти у фонтана  
укротители коней  
паук  
в два метра  
высотой  
и пресловутый  
«Поцелуй»  
с его глазурью  
платиной  
и золотой фольгой

### **Шаг в темноту**

одновременно  
в трех пространствах  
до после и внутри

прозрачен  
словно занавеска  
ванной

в прозрачности  
реален  
как циркач Пикассо

широкая  
спина гимнаста

плечо и локоть  
на свету  
и ягодица  
и позвоночник

видны  
текстура полотна  
и вертикальный ход утка

гризайль разбавлен охрой  
справа слева  
а в середине бездна  
тьма

и шаг уверенный атлета

### **Всадник**

а этот всадник  
полуобнаженный  
с маргышкой на плече  
сосудами горшками  
связками ключей  
циновкой и трубой  
притороченными к седлу

весь серый  
с головы до пят

на лошади  
покрытой пеплом

пепельный номад

галопом  
или ровным шагом  
удаляясь от гряды вершин

услышал будто зов  
далекий вздох  
крик стон

на миг застыв  
прислушивается  
смотрит

и снова

спиной к прошедшим  
временам

пускает лошадь вскачь

### **Карфаген**

у развалин Карфагена  
со временем преобразившихся  
в руины Рима  
ты можешь постоять  
исследуя  
фонтан Двух рек  
обломки стен и арку  
рельефы фриза  
статуи без рук без головы  
и головы отдельно в медальонах

кто посмелее  
может перелезть  
через ограду  
и коснуться камня

распад величия  
величие распада

всё здесь

широкие дорожки  
лес

и темный разум  
Пиранези

### **Розы**

античный город

часть в цветах часть в камне  
вместо реки посередине  
путь для машин трамваев  
автобусов велосипедов  
самокатов

аромат  
не всякое чутье уловит

но для глаза  
такое изобилие красок  
праздник

царица в тишине  
поэт при музыке и шуме  
друг против друга  
вдалеке

их разделяет храм  
по типу греческого  
для героя  
годами позже  
переселившегося  
в большой дворец

уткнулись в мраморные  
книги мудрецы  
через дорогу  
за спиной Афины

предпочитающей  
смотреть на  
парк

копье в руке  
и Ника на ладони  
шлем золотом блестит

вечерний свет  
на мраморах  
и розах

### **Гризайль**

ягоды и фрукты

виноград бананы  
груши яблоки  
орехи

несъедобны

страницы нот  
нельзя перелистать

как ни старайся  
из рояля  
не извлечешь ни звука

и свечи не зажжешь

на полотне  
не разглядеть  
рисунка

фон и фигуры  
в сером цвете

того же цвета рама

и женщина  
и грудь ее  
и джинсы

открытый ноут  
на столе  
перед диваном

пес рядом с ним

и череп  
между книг

### **Ландшафт**

проводя экскурсию  
у подножья  
гряды

подзывая отставших  
окликая сошедших с тропы

но воздерживаясь от  
художественных  
исторических  
и других объяснений

молча шагая впереди

указывая тростью  
или  
может быть  
альпенштоком  
на шутовской колокольчик  
барабанные палочки  
и барабан  
на книгу и ножницы

предлагая из находок  
сложить трудный  
пазл

кто поспособней  
увидит лицо  
в профиль  
глаз губы нос

кто подгадливей  
поймет  
вот это усы  
а это  
рот

фальшиво состарившиеся  
обломки образуют  
ландшафт  
души

бронза уже  
не раскрошится  
рельеф прочен  
но осторожнее  
на обратном  
пути

### **Щебень**

розовый черный белый  
широкими слоями

но в двух камнях  
цвета истолчены  
и перемешаны

разнообразные  
граниты

манки для мысли  
хризалиды

### **Образы**

рыбы пойманные  
выдернутые из воды  
и брошенные на лед

парадная лестница  
бледно-песочного цвета

здесь пуля пронеслась  
сквозь сердце человека  
учившего доверять  
лишь слуху осязанию  
зрению и ничему больше

кафе для бедных  
основанное семейной парой  
процветающее

яблочный штрудель  
с чашкой крепкого кофе

обелиск черной смерти  
скрытый под  
взбитыми сливками  
святых ангелов путти

незримый собор  
и его макет  
возвышенное  
сошедшее  
к чутким пальцам  
приниженное

радуга завета  
обманного  
в струях фонтана  
возле флага  
в руке солдата

образы  
сверкающие  
но не живые  
для витража  
не пригодные

брошенные на лед  
рыбы

заиндевшие  
ломкие

### **Падение**

река выгибается навстречу  
летящему вниз

(бронзовый якорь)

вздывается  
(стеклянный пузырь)  
отражением оврага

разбивается купол  
(Рейхстага)

осколки сверкают  
(хрустальные перья)  
взрезая лето

день умирает

(солнце прячется  
за колонной Победы)

### **Портрет**

здесь  
в тесной комнате  
все тихо

рот закрыт  
взгляд резок  
и пытлив

двойник из мрамора  
охраной служит

но где-то там  
за океаном рождается  
беззвучный крик

и цвет меняется

в недвижимом воздухе  
раскалывается  
бюст

осколки  
ранят  
глаз

но обостряют  
слух



### **Голубятня**

купол прозрачен  
видны лишь ребра

костяк Рейхстага

вазон на крыше  
вместо флага

воды и зерен  
вдоволь

дверь на замке

решетка мелкая  
приварена прибита

нежным птицам  
не выбраться  
не улететь  
в синеющее небо

да и зачем

там на свободе  
они лишь исчезающие виды

### **Изгнанные и обезглавленные**

Давыдов из Женевы  
и Брюс из Лондона

нашедшие приют  
в одном квартале

следы их  
по соседству

так близко  
что дым сигары  
касается Минервы

а в тихую погоду  
тонкий аромат  
услышат Горн  
и Эгмонт

чье обоняние  
по-прежнему  
остро

взгляд горд  
осанка  
безупречна

### **Памятник**

француз

покрытый  
алюминиевой  
рябью

стоит  
сияющей  
скалой

ни волн-убийц  
ни ветра-ассасина

застыло время

четырекратно  
умножен рост

сверкая  
как альпийский лед  
и духом тверд  
спокойно смотрит  
граф  
за горизонт

### **Ich bin froh**

рад что стоял здесь

малыш карапуз  
мертвый младенец  
из книги Solaris

рад что видел собор  
и Painting 1971  
(позднюю версию  
Painting 1946)

понял связь между  
зонтиком малышом  
и выпотрошенным быком

и заодно пополнил  
гlossарий

### **Вечер**

купол церкви  
чумной бубон

парит  
между двух игл  
тряяновых колонн

их отражение  
в овальном водоеме  
дрожит

у края водоема  
купол из костей

две арки

и шар-дитя под ними  
скрыт

позеленевший  
гладкий

таинственный  
бон-бон

### **Город Зеро**

город на острове  
дома идут волнами  
тьма проникает  
сквозь поры  
тело  
преображается  
в зеро  
преображается  
в озеро

внутренности  
его черны  
словно das Interieur  
блохи  
заселенное палочками  
бубонной чумы

он  
складной метр  
Zollstock

разложенный  
на косые  
и прямые  
углы

зеро в виде звезды

### **Сад**

на постаменте в семь рядов  
из красных кирпичей  
мамаша Эй

о Гете  
напоминает книга бюст  
сад пуст

разделены прудом  
Китай и Греция молчат  
кувшинки спят

темнеет сад  
и укрывает всех детей  
мамаша Эй

### **Триумфатор**

пусть львица ластится  
и поводок в руке

но кто кого ведет  
неясно  
миг прихоти

рывок  
возок сколочен крепко  
это правда

обманчив профиль  
скулы подбородок

какая мощь  
в звериных лапах

здесь правят страсти  
не ездок

не Марк Антоний  
лицом и телом похожий  
на больной картофель

### **Луна**

чистый  
обветренный  
отскобленный  
до белизны  
череп  
лик

возле беременных  
возле рожениц

в любой час  
ночи и дня  
луна

солнце  
над этими башнями  
не поднимется никогда

аромат сирени  
и ладана  
слышен даже  
в аптеке Ангела

### **Vanitas**

фитиль недавно погасший  
и тонкий дымок

бокал опрокинут

крышка откинута  
стрелки больше  
не двинуться

высохшее перо

пара берцовых костей  
бурый череп  
с пробитым виском

семь зубов  
магическое число

устойчивость черепа  
(пресс-папье  
на стопке листов)  
и всей композиции  
гарантируется  
отсутствием челюсти

### **Явление няни**

стекло  
преобразует няню  
в призрак

парящий  
среди других картин

в пространстве  
Штеделевского института

согнув колени  
руки

обнажена  
и рот раскрыт

и погнуты очки  
и глаз кровоточит

сквозь распадающуюся  
плоть  
видны  
младенцы Базелица

*Упавший* Голуба  
и *Лутен* Аппеля

коляска катится

«Потемкин»  
поднимает флаг

иллюминаторы  
над головой  
что лампы  
в операционном  
зале

### **Symphonion**

по сторонам витрины  
два взвода  
целятся друг в друга

стеклянные  
шары с цветами  
между ними

невидимые пули  
пробивают сталь

о музыка  
о «Голубой Дунай»

### **Новый Вавилон**

линии горизонтальные  
нотный стан

вертикальные  
ливень  
приводящий  
к потопу

город тонет  
под «Героический марш»

белое на фиолетовом  
иллюминаторы  
корабля

красное вывески

может быть  
пятна крови

### **Шаги**

график шагов меняется  
с изменением перспективы

темп неровный

к вертикальным  
фигурам  
относятся  
фонари  
люди  
и небоскребы

горизонтальные  
прогулочные корабли  
набережная скамьи автомобили

мост можно перейти

черту можно перейти  
за которой

### **Икар**

затеряться в дебрях  
ночного дозора  
ветреных тревожных  
кто в рог трубил  
охота приступ  
оборона  
где враг где друг  
вокруг  
ночная суматоха  
стук лязг  
шаги  
одежды шелест  
грай петухов  
лай псов

пой соловей  
кукуй кукушка  
и заглушай  
удары барабана  
треск выстрелов  
и всплеск  
в реке

### **На дне**

что ищешь ты  
в морском песке



взгляни  
так много рыб  
в прохладной  
глубине

разнообразных  
странных

как будто  
нарисованных  
в Affinity Designer

легко поймать их  
подплывают сами  
лови сачком

а под песком  
найдешь  
другой песок

или  
обычный  
камень

«МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО КАК ЕСТЬ ПУТЬ ЧАЯ ИЛИ ПУТЬ САМУРАЯ,  
ТАК ЕСТЬ И ПУТЬ ПОЭЗИИ...»

Из переписки **Андрея Таврова** и **Николая Болдырева**

### Публикация Николая Болдырева

**От публикатора:** Мне посчастливилось в последние десять лет жизни Андрея Таврова находиться с ним в дружеской переписке, начатой, кстати, им. Думаю, это общение было плодотворным для обоих. Прежде всего не столько даже из-за тонко укрытого нерва полемичности в разговоре на тему, что есть поэзия и чему она служит, сколько из-за нашего взаимного натиска на эту тему, где мерилом была доверительность, но ни в коем случае не интеллектуализм. Для меня Андрей Михайлович был не просто выдающимся поэтом со своей оригинальной эстетикой, но духовным искателем, всерьез пытавшимся обрести в литературе бытийное основание и высший смысл, от чего давно уже все отступились, приняв словесность в качестве изящной игры и способа едва ли не гедонистического самоутверждения.

Предлагаю читателям «Волги» фрагменты нашей обширной переписки. Письма АТ публикуются с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

### Андрей Тавров

**28 января 2015 г.**

Николай Федорович!

Если б Вы знали, как я Вам благодарен за посылку! (Семитомничек переводов из Рильке с моими комментариями. – Н.Б.) Рильке тянет меня как магнит, начиная с 10-го класса, когда одна моя знакомая показала мне в журнале «Смена» переводы своего друга из Рильке и, увидев сравнение лепестков розы с веками, я почувствовал восторг и зависть, почему-то к переводчику (ну, это, впрочем, понятно по ситуации). Мне кажется, что некоторая «недоведенность» (а что мы довели до идеала?) не помеха тому духовному контакту, который я испытываю почти каждый раз, когда читаю Ваши статьи и книги. В сочетании с поэзией Р. эти Ваши «рабочие тетради», предвещающие более крупный замысел, в котором от сердца желаю Вам успеха, для меня чрезвычайно интересны.

Надо сказать, что Вы побудили меня с новым интересом обратиться к Целану, мне хотелось бы прочитать что-то из Вами написанного на эту тему, но на Вашем сайте я специальной статьи о Целане не нашел. Может быть, плохо искал... подскажите, пожалуйста, если такая имеется. Послесловие переводчиков, заключающее большое издание Целана с письмами (Ад маргинем, 2008) на меня внятного впечатления не произвело – как и в случае с Рильке, мне кажется, Целан понимается ими больше с филологической, чем с более глубокой точки зрения. <...>

Ваш Андрей.

**29 января 2015**

Дорогой Николай Федорович! Спасибо за Целана, читаю. В последние несколько лет на меня произвели большое и радостное впечатление книги Тик Нат Хана, современного буддийского автора, родом из Вьетнама. Еще одна прекрасная книжка, которую я недавно прочитал – Тон Латхауэрс, голландец и европеец по воспитанию, практикующий дзен. Там есть активный диалог с русскими авторами – Шестовым, Достоевским, а также с Кьеркегором, мягкий глубокий подход практикующего. Это я делюсь с Вами.

То, что Вы пишете на Вашем сайте об изобилии культурных реалий в Проекте (Имеется в виду книга «Проект Данте» – Н.Б.), словно спешащих вытеснить одна другую (примерно так) вызвало у меня желание немного объяснить ситуацию. Для меня уже давно стало ясно, что и в религии, и в других важных сферах жизни цитата как таковая является средством подмены. Наиболее показательно это видно на примере священников, которые, цитируя святых отцов или Евангелия, сами не соответствуют тому, что предлагают слушателям как пример для поведения, жизненную парадигму. В одном из первых своих высказываний на эту тему я даже написал, что цитата ведет в церкви жизнь антихриста, обесценивая духовные практики. Менее заметна роль культурной цитаты в литературе – мы привыкли к тому, что, начиная с первых шагов русской литературы – Третьяковского, Державина, цитата необходимо присутствует в их творчестве как органическая составляющая. Далее, в век постмодерна, она становится необходимой составляющей «университетской поэзии», да и любой другой, претендующей на современность. И тут она становится цитатой в чистом виде – думаю, что с оттенком того же свойства, что и цитата-Антихрист. Но существует одна тонкость. Цитата в Церкви перестает быть цитатой, когда она «раскавычена». Каким образом можно это сделать? Думаю, что весьма определенным, хоть и не простым – осуществить в жизни то, о чем речь идет в цитате. Если в проповеди говорится «блаженны нищие духом», то проповедник раскавычивает цитату, рассказывая, как именно он практикует «нищету духа», делась опытом, и тогда цитата становится не «частью речи», а частью жизни.

Она раскавычивается.

Думаю, что и среди культурных ссылок в поэзии – всех этих имен, скрытых или явных цитат возможны именно эти два подхода – цитатность или экзистенциальность. Для меня, например, цитатность в поэзии неприемлема. Для меня, скажем, Франциск или Гроссетест ближе к слову черепаха или ручей, чем к информативному или цитатному присутствию. Для меня и черепаха, и Кавальканти – один, что ли, материал, и явление культуры, как в Китае или в старинной Японии, неотделимо от природы, является святой частью святого и живого, смыкается и отождествляется с явлением культуры, увиденной не поверхностно. Ду Фу здесь, конечно же, ближе к дереву, чем, скажем, к университету, чем к сегодняшнему европейскому роману. Возникает вопрос, как снять кавычки с Данте или с Лао-Цзы и стоит ли упоминать подобные имена столь часто? Здесь я не могу ничего утверждать, но думаю, что такие имена у меня ближе к некоторым универсальным иероглифам, которые Я ПО-ДЕТСКИ ПРИДУМАЛ сам для себя для обозначения некоторых глубоких ситуаций и эмоций, которые я пережил в связи с этим именем и которые теперь я переживаю снова. Например, когда меня забрали прямо с платформы Перedelкино, и я отсидел в КПЗ три часа, меня очень заботило, как бы милиционеры не залезли в сумку (дело было в СССР) и не обнаружили там ксерокопию Жизнеописания Будды и другие, куда более одиозные по тем временам книжки. Все это входит в некоторую авторскую внутреннюю форму слова-имени, которую я не дешифрую, но которая, мне кажется больше не цитатна. Тут есть о чем говорить дальше, но я пока что ограничусь сказанным.

Понимаю, что в моей книге много погрешностей, но для Вас мне хотелось бы уточнить мой подход к сути дела в надежде как-то высветлить текст. Смех Бодхидхармы – конечно же, но и плач, и пение этих культурных имен-иероглифов. Плач от их угасания и пение все еще – животворящее. Тем не менее, я вполне разделяю Ваши наблюдения по поводу литературной аскезы, если можно так выразиться.

Спасибо Вам большое за Ваши высказывания в «Дневнике» (их мне переслали знакомые) по поводу «Матроса» и «Проекта».

Ваш А.

**Николай Болдырев**

**30 января 2015**

Дорогой Андрей Михайлович! Я внимательно прочел Ваш комментарий к вашему методу, и он мне понятен и вполне симпатичен: так мне, по крайней мере, кажется. Растворить в себе некий

чужой опыт (войти в соприкосновение с будто бы чужим) и выйти из него непогрешенным и несогбенным – высший пилотаж, своего рода аскеза, хотя это и всего лишь плавание к самому себе. Но вот Вы сказали «нищета духа». У одного богослова я прочел, что в оригинале исходное понятие было не собственно дух, но то, что, скажем, дух в немецком слове Geist – это больше ум, а если и духовное, то в смысле интеллектуальном и разумном, но никак не в том, в каком его употреблял, скажем, Серафим Саровский, когда говорил о «стяжании духа святого»: о таинстве присутствия говорил, об открытости той святости мира, которая всегда здесь в качестве таинства спонтанного диалога, говорил о той кротости и отпущении на волю своего эго, когда обретается как раз нищета умствований. Но не стоит ли за всей современной ситуацией как раз этот самый главный грех: стяжание духа как умствований? Если одна часть общества стяжает деньги, золотого тельца в прямом и примитивном смысле слова, то вторая стяжает «духовные блага». Но поскольку дух по природе своей не причастен к этому измерению душевной жизни, существуя лишь там, где эго «выведено за скобки», то стяжать можно лишь интеллектуальное. Так что я бы переписал «блаженные нищие духом» в «блаженны нищие умствованием» и делу конец.

Кстати, Киркегор (а затем и Швейцер) бросили пасторскую должность именно по причине катастрофической опасности и бессмыслицы проповеди «истины Христа», не будучи самому в истине. Ведь это, если память не изменяет, именно Сёрен сказал гениально: «истину нельзя знать, в ней можно быть или не быть». Что очень рано поняли и Швейцер, и его ровесник Рильке. Сегодня мир разделен именно по этой границе. Вы ведь об этом и пишете: поэт – тот, кто *бытийствует* в слове, а не оперирует значениями. Конечно, вы вправе ожидать от читателя того же естественно-природного чувствования реалей, пришедших формально из текстов. Но здесь встает глобальная проблема современного «образования» притом виртуального пошиба. Поле поэзии и прозы перенасыщено нерастворенными в авторской душе знаками, знаками его «начитанности» и нахватанности. *Образованец* демонстрирует (и прежде всего себе) свою «причастность» к тотальному обладанию «всем», т.е. всем универсумом знаний. В то же время людей, способных вписать культурные реалии в свою экзистенциальность (способных экзотические слова вполне этически естественно поставить рядом, скажем, со словами «топор» и «унитаз»), – единицы. Здесь часто бываешь «на автомате» насторожен против виртуальных фокусов, самозащищаешься. Лично я склонен видеть эту опасность столь обнаженно и столь «наивно», что мне, например, кажется блефом, если поэт, никогда не видевший плуга, пользуется этим словом так, будто стоял за ним, или словом подпасок – так, словно был когда-то подпаском. На мой взгляд, он имеет право (этико-экологическое право) пользоваться этими словами именно в контексте лишь виртуального о них знания... Я бы хотел (как какой-нибудь Савонарола), как бы это ни казалось смешно, укоротить блефующий пыл современного человека, держащего «демиургически» возвыситься над реальностью, то есть подмять ее и забыть про нее. Ведь что такое «плуг» или «подпасок»? Это цитаты из мира, где поэт уже не бывал. Но как их вывести из цитатности? Ввести в свою бытийность. Последуй человечество этому принципу, чуть ли не мгновенно очистились бы авгиевы конюшни культуры. Разумеется, это было бы обрушение принципов так называемых «прав личности» и «свободы слова», так как они существуют исключительно в эстетической парадигме. А она-то как раз оказалась бы обрушена, ибо ее принцип – играть словами и в слова.

Когда Данте или Лао-цзы пережиты вами «по-детски», тогда они становятся частью ваших тактильных ощущений, той причастностью к нашему донцу-атману, куда стекаются все праинтуиции. Конечно, чуткий читатель это почувствует, но не обязательно сам окажется в присутствии. Требуется еще и наличие подобного опыта присутствия. Конечно, опыт таких сугубо экзистенциальных состояний «присутствия», о которых Вы пишете, остается в поэте подобно фактам, которых вовсе не требуется «разъяснять». Интуиция читателя, обладающего подобным опытом, совершит нужный прыжок. «Авторская внутренняя форма слова-имени», о которой Вы пишете, весьма сильна, кстати, у Целана. Он откровенно (как бы) не озабочен тем, чтобы быть понятным или даже понятым. Он просто-напросто открытым текстом крайне эскизно описывает свои душевные, экзистенциальные или метафизические переживания – записывает так, как пишут в

дневнике, который ведут действительно и на полном серьезе *только для себя*. (Хотя без частицы иронической дистанции тут обойтись невозможно). Зачастую его стихи весьма прямолинейно-просты в психологическом смысле, если знать биографическую составляющую их возникновения. Но поэт, разумеется, комментариев не давал, и зашифровка получалась серьезная, стихи вставали как парабола или фантастическая метафора или еще что. В этом смысле он действовал в русле позднего Рильке, который почти совершенно забывал о читателе, фактически выводил его за скобки, хотя и писал весьма внятно. В этом одна из прелестей целановского метода дыхательности. Там, конечно, есть важные коррективы этико-метафизического замеса, но это был бы долгий разговор.

Однажды я в живом журнале «Русского Гулливера» прочел подряд три ваших стихотворения именно-таки в стиле «Проекта» и они меня покорили моментально, я пришел в восторг, прочитав на единой вертикальной волне как неразмыкаемую целостность. Вот после чего я заказал книжный вариант «Проекта Данте». Там, в книге, мое восприятие раздвоилось: иногда я попадал в то же поле, а иногда застревал. В один из моментов застревания и написал в дневнике эту реплику. Для чтения «Проекта» нужно поистине освобожденное внутреннее пространство, нужен благоприятный настрой. Мое чтение *Проекта* еще далеко до вхождения в то состояние, которого он заслуживает. Что у нас есть кроме внимания? Лишь *качество* внимания определяет, что именно нам открывается. <...>

Ваш НБ.

### Андрей Тавров

**30 января 2015 г.**

Дорогой Николай Федорович!

Я с радостью читал Ваши строки почти как свои собственные – настолько они мне близки и понятны. Спасибо за столь созвучное письмо, оно поддерживает и вдохновляет, не говоря уже об открытом усилии к пониманию довольно-таки плотных строк Проекта.

Надеюсь написать Вам поподробнее об «основных созвучиях» и не только – сейчас, после похода к зубному и антибиотиков, это несколько затруднительно, к сожалению.)

Ваш А.

**16 февраля 2015 г.**

Вторую неделю я читаю Рильке в Ваших переводах, и так сложилось, что начал с его «статей о Боге». Я благодарен Вам за ту атмосферу чистоты и углубленности, в которой оказался, как благодаря автору, так и (не менее того) комментатору и переводчику. Статья о Целане также произвела на меня сильное впечатление, за что отдельная благодарность.

Рильке, действительно, становится ближе и родней в результате такого чтения – но вот что предварительно мне хотелось бы сказать. Те обвинения, которые Рильке предъявляет христианству, направлены, конечно же не на Христа и не на его слова. Иисус многого не произносил из того, что произнесли потом богословы и церковные люди, проецируя на немислимое, доминировавшее в его словах, свое мыслимое с акцентом на мысль и логику. Мне кажется, что и к «логосу-слову» подход должен быть более осторожный, во всяком случае не отождествляемый с «креативной проективностью». Скорее, если уж отдавать предпочтение Ветхому Завету, это понятие (а нам невольно приходится говорить о «понятиях», а не о Христе) располагается ближе к «слову» Псалмов (которое пребывает между людей как и закон буддизма), чем к греческой философии.

Если Вы когда-нибудь рассматривали Древо Сефирот – великолепный словарь символов и живых богов-сил для поэта – то могли бы обратить внимание на то, что анонимные создатели поместили Христа в центр, в сферу «Солнце», которое взаимодействует и с землей и с неизреченным (Айн-Соф), откуда приходит Творение. Но поскольку Творение осуществлено отчасти вне времени, то говорить о проекции Логоса не предполагается возможным, потому что в Древе

все сразу и во всем, пока не вмешивается мысль. К тому же Бог трогает человека, но и трогается человеком и это обратное творчество тоже происходит вне времени, как и вся голографическая и факральная картинка-карта Древа. На мой взгляд, в Христе есть что-то утонченно-простецкое (вернее в молитвенном отношении к нему, которое его и выявляет), что-то опережающее мысль и время. Современная церковь, да и предшествующая ей во многом, это то место, на мой взгляд, где искать Христа труднее всего, во всяком случае, имея в виду тех, кто ее структурно определяет. «Молодой рабочий» пишет о потусторонности христианства, и он, вероятно прав, но мне не кажется правильным утверждать то же самое, имея в виду пророка из Назарета. Он любовался цветами, говоря, что они красивей Соломона, созерцал птиц, оплакивал родной город, а о запредельном говорить часто отказывался, как и Конфуций: «я вам говорю о земном и вы не понимаете, как же вам говорить о небесном?» (Иоанн, кажется). Мне кажется, что образ Христа так искажен, как никакой другой на сегодня, и поэтому меня радуют такие книги, как например, книга Тик Нат Хана, современного буддиста из Вьетнама, о котором я Вам писал, «Христос и Будда – родные братья». Я же, читая Рильке, с радостью отмечаю те места, где его интуиции сходятся с евангельскими (в моем личном, естественно, понимании) и слежу, как растет это тонкое здание единства, где ничто не мешает ничему. Мне очень помогли Ваши размышления по поводу «Прибытия», вещи для меня (не владеющего немецким) крайне зашифрованной вдобавок теми переводами, с которыми приходилось иметь дело. У меня сейчас забытое чувство радости чтения – прочитал всего одну книгу! – остальные меня ждут и я предвкушаю радость общения с ними.

Ваш А.

### Николай Болдырев

*17 февраля 2015*

Дорогой Андрей Михайлович, я совершенно с Вами согласен, что Рильке рассматривает Христа, «оприходованного» практическим богословием (и вполне понимает это, хотя никогда специально об этом не говорит), а реального Христа (насколько мы можем Его представить и ощутить) как реального мистика понимали именно на Востоке, ставя его в ряд аватар. Именно Восток имел верную интуицию Логоса, не определяя его терминологически, но созидая ощущение его косвенными способами, близкими к интуициям Дао и к другим «дхармическим» структурам, где слово ни в коем случае не ассоциируется с логикой в европейском смысле. Не случайно даже Ницше называл Христа мистиком в некоем высочайшем смысле слова. Реального Христа европейская прагматичная элита уж точно никак не смогла бы использовать в практических своих целях.

У меня не было задачи как-то высказываться по поводу личных интуиций, связанных с образом Христа. Мне надо было лишь хотя бы очень грубо набросать эскиз некоторых важных приятий и отрицаний Рильке, у которого была своя глубоко интимная история с Христом, которую, он, конечно, не пытался обнародовать. Скажем (один из нескольких моментов), его очень отвлекала от фигуры Христа мать; ее патетико-интеллигентская, экзальтированная набожность, с культом Христа, действовала ему на нервы. В ее безоглядном «иномирии», оторванности от «святости земной» он видел и чувствовал фальшь и ложь, когда земное предается, как ближний предается во имя дальнего. Мне кажется, с детства Рильке вынес отвлечение к громоздкой и напыщенной словесной конструкции христианства. Конечно, Христос в качестве Бога для кого-то факт, не нуждающийся ни в каких доказательствах. Так что тут логика и богословие не помогут. Для Рильке важна не конструкция и не идеология той или иной религии, а реальная фактичность «бытийных монад» и «бытийных происшествий». Его трогал Франциск, некоторые другие святые. Но характерно, что Христа он обходит даже в «Часослове», словно бы его божественность была для Рильке неубедительна, и здесь мы просто перед фактом внутреннего видения, где божественное всегда не там, где его пытаются обозначить этим словом. Вероятно, Христа пытались ему навязать в качестве чего-то обязательного, и ребенок в нем это не принял.

Актуальным для Рильке всегда и неизменно была трансценденция, ее опыты. В реализации

ее он и становился постепенно мастером и магом. Равновесие и равноправие миров – вот один из важнейших пунктов его личного катехизиса. Ни тот мир не высший и наш не низший, но они оба сосуществуют лишь в актуальности наших переходов туда и обратно, в актуальной динамике нашего их претворения в реторте духовной плавки, где топливом служит неизменная сила благоговения, ибо в «реальности» они вдвинуты друг в друга и друг без друга бессмысленны в каком-то непостижимом наивысшем «смысле».

Логос как первомантра тоже трактовался бесчисленными способами, иное дело, что постепенно мистические энергии в нашем его (коллективном) восприятии обессилены, так что фактически мы имеем сегодня подмены как в случае с Христом, так и в случае с Логосом, что в каком-то смысле было и есть одно. Разумеется, логос изначальный не мог быть связан с функциями и логикой нашего интеллекта, но являл себя в измерении вневременном и в том святом, в котором только и происходят все подлинно важные онтологические события (хотя и масло масляно, но именно так). В свое время меня поразила Бёме своим необычайно смело-естественным восприятием мистической целокупности Христа как вписанного во всю бездонно-безбрежную космогонию. Мне даже показалось, что он заново изобрел каббалу, на свою особицу, и его мировое мистическое древо (в поэзии Рильке постоянно присутствующее, но без отсылки к Сефирот) непостижимым образом вписалось (внутри его духа) в конкретику этического закона Христа, так что этика оказывалась главным измерением в мировом растении. Так вот туманно я вспоминаю впечатления тех давних лет. <...>

### **27 февраля 2015**

<...> Что касается Рильке, то хотя он и жаловался постоянно Лу Саломе на свое невежество и на жажду образовываться, фактически же он обладал отменным инстинктом «дикого зверя», страстно подчиняясь интуициям, в отношении которых все время шел вглубь и вглубь, в ту дремучую пред-рожденность, где наша потенциальность хранит память того грандиозного срыва/перехода из бытийного измерения святости (эдемский сад) в интеллектуально-счетную вселенную, объятую воистину пьяным пафосом познания Всего.

## **Андрей Тавров**

### **28 февраля 2015 г.**

Дорогой Николай Федорович, Ваши письма я получил и очень им рад. Мне совершенно близки Ваши мысли по поводу христианства Рильке, думаю, что и в наше время все затруднительнее становится называть себя христианином на фоне столь успешно торжествующей Православной церкви, во всяком случае, лично мне. Спасибо за фотографии. <...> Я на днях напишу более обстоятельное письмо, в частности по поводу чтения Элегий в Вашем переводе – столь решительно внятном и убедительном. Думаю, что Вы проделали огромную и бесценную работу в плане идентичного переноса Рильке на русскую почву. Сама форма переводов, окруженных столь уместным комментированием и другими документами – чрезвычайно удачна и Вы это делаете с невероятной чуткостью и вкусом, я это заметил еще при чтении Ваших антологий по Дзэну и И-цзину. Мое путешествие с Рильке с Вашей подачи продолжается. Сегодня воскресенье и намечен ряд дел, я не прощаюсь, вернусь к письму чуть позже, хотелось бы поделиться с Вами одной идеей.

Ваш А.

### **2 марта 2015 г.**

Дорогой Николай Федорович!

То, что Вы пишете о произвольной этической доминанте в поэзии как условии для существования самой поэзии, для меня понятно, близко и несомненно. Вне этики поэзия (как и проза) теряет внутреннюю энергию, свернутую внутреннюю пружину и превращается в одну из форм (не



самую интересную) игры в бисер. И понятно, что такие поэты, как Гельдерлин, Рильке, Тракль, – утверждают прежде всего этический приоритет поэзии, через переживание которого им дано (и они приглашают читателя присоединиться) заглядывать в начало-начал, в область бесконечной и внесловесной потенциальности, которая является родиной и источником жизни и сил для любого, вне зависимости от того, ведает он об этом или нет.

Но мне хотелось бы сказать пару слов в защиту «индивидуалистической поэзии», не споря с Вами, а скорее, делаясь своими соображениями по этому поводу. Такие поэты, несомненно разные, как Лорка, Цветаева и, скажем, Есенин, при всей их непохожести, тем не менее имеют одну общую составляющую их лирики, которую Лорка называл дуэнде, Цветаева – огонь, а Есенин, кажется, и не называл никак, но этой составляющей, которую чаще всего именуют словом «вдохновение», обладал вполне. Я перечислил первых пришедших на ум поэтов из тех, чье творчество Вы относите к эстетическому по своей природе (индивидуалистическому). Я совершенно согласен с Вами, что именно в поле эго-поэзии рождается наибольшее количество замкнутых на себе, ярких, но безжизненных поэтических образцов, не говоря уже просто о скучных стихах скучных авторов. Эта неинтересность происходит, как мне кажется, от невозможности для автора выйти с поверхности вещей и ощущений, вызванных собственно поверхностностью эгоистического, эгоцентрического мироощущения, невозможностью, в силу этого мироощущения, добраться до глубины-глубин, откуда и происходит магия и волшебство поэзии. Когда контакт с этим изначальным источником, предшествующим слову, достигнут в процессе творчества и осуществлен в стихотворении, оно начинает жить вполне безусловной жизнью. Оно сильно отличается от «обусловленных» поверхностными мышлением и порывом стихотворений, спеленатых привычными конвенциями, модой, концептами, наработанным языком и т.д. В них есть абсолютная новизна, абсолютное прибавление жизни к жизни, то, что Рильке называл преобразованием вещей и земли.

Тут я подхожу к своей основной интуиции. Мне кажется, что вдохновение – это (далеко не всегда) та священная сила, действие которой в поэте несомненно вызывает связь пишущего с изначальной глубиной вещей и вообще, форм, той глубиной, откуда само это вдохновение пришло. Не зря в первоначальной поэзии Музы были богинями, а не риторическими фигурами, а Вяч. Иванов, например, предлагал Дионисическое вдохновение сблизить с влиянием вдохновляющего святого духа. Оставив вопрос об этичности Богов пока что в стороне, я хочу сказать, что сверхъестественная сила могла застигать поэта врасплох, овладевать им и создавать через него шедевр (пользуясь поздним словом), причем зачастую сам создатель не обладал при этом сколько-нибудь повышенными этическими достоинствами. Эта тема тревожила Пушкина, когда он создавал жадного Импровизатора, обладающего даром улавливать божественное вдохновение и тут же воплощать его в совершенные поэтические формы. С точки зрения Сальери таким же недостойным Импровизатором был, например, Моцарт (отличающийся, кстати, в основном, кристальной чистотой жизни, что не отмечено, хотя и намечено Пушкиным). Так вот – не осуществляется ли присутствие абсолютного и неизреченного в творчестве Цветаевой или Лорки – через другое окно, окно священной одержимости при помощи внесловесного ветра. Обратим внимание на то, что этот внесловесный ветер вдохновения намного тоньше и изысканнее тех слов, которые он, долетев до поэта, рождает в его душе и гортани. Что слова, которые он вызывает к жизни, во-первых, намного грубей этого источника паруса, а во-вторых, вынося слова на поверхность, этот безусловный порыв каким-то образом влияет на их эллиптическую (двухцентровую) природу, изменяет удельный вес этой природы и отношения внутренних полюсов, утончает и преобразует слова. Весь этот процесс происходит вне осмысления его поэтом в период написания стихотворения, хотя бы потому, что раскладываясь как в квадратики киноленты, проецируясь на них, создающих иллюзию времени, сам свет вдохновения расположен вне времени.

Попросту говоря, не может ли порыв вдохновения сделать для эгоцентрического (эстетического) поэта до какой-то степени задаром, ту работу, которую выполняет поэт этический через



глубинное созерцание вещей и явлений? Не может ли он на миг самого поэта сделать «святым», причем понятно, что эта «святость» (этическая безупречность) надолго не удерживается, но все же реально присутствует короткое время творчества, что и дало возможность Пушкину задуматься над тем, совместимы ли гений и злодейство.

Тон Латхауэрс пишет об одном буддийском монахе из секты «Чистая земля», который, отчаянно боясь своего несовершенства, был однажды достигнут абсолютным интуитивным знанием, что, если Будда Амида спасает достойных, то недостойных он должен спасти в первую очередь – утверждение логически необидительное, но открывшееся ему с поразительной достоверностью в виде истины.

Быть может, и в поэзии существует такой канал, через который эгоцентрический и недостойный этически поэт достигает изначальной Чистой земли и имя ему – вдохновение, огонь или дуэнде. <...>

Ваш А.

### Николай Болдырев

**4 марта 2015**

Дорогой Андрей Михайлович, я думаю, высшая сила не будет ни у кого спрашивать совета и тем более разрешения, надо ли ей вмешиваться в те или иные человеческие дела. Каждый случай человека есть случай исключительный, и потому ничего нельзя исключить. Дух дышит где хочет, и тут книга Иова тоже нам говорит о возможности «невероятных несправедливостей», где чисто человеческая святость (близость к ней в человеческом ее уразумении) как бы презрена и даже наказана, почти обличена, выведена в парадокс. Так что и самые большие заслуги в сфере морально-этической могут не высечь ни одной искры «божественного огня», ибо не возникнет точки острого соприкосновения, но из темных родников какого-нибудь заблудшего, в смысле социально-сообщительном, сердца может протянуться серебряная или алмазная или иная антенна в немислимое и вызвать молнию прозрения, которую еще, конечно, надо воспринять, вместить в себя, вместить именно туда, где ей и место. Скажем, для меня Лорка поэт, преемствующий некое испанское народное ведовство; некое ухо древнее в нем жило. Это нам чем-то близко отчасти, я думаю, потому, что в Испании столь сильна была связь «гордой бедности» и «рыцарственного духа».

Ведь по большому счету святость есть высшая жизненная сила, скажем та, которую мы можем представить по атмосфере эдемского сада, где сексуального конфликта (ни внутреннего, ни внешнего) не было и в помине и эго в нашем смысле тоже отсутствовало и внимание было направлено на некие совершенно иные и ныне забытые модусы и модальности. Собственно, реликтовая интуиция в этом направлении и составляет, признаюсь, одну из сторон поэтической гениальности, мне интересной. Святость есть проявление той высшей жизненности, которую справедливо назвать полнокровным, полносоставным чувством бытия (не жизни только), тем чувством, что слышит (приходится говорить штампами) пульс сердца универсума (не мира только, но всей *misterium magnum*), поскольку только высший слух способен на такое слышание. Такой высший слух и есть инструмент святости, с высокоморальностью мало или вообще не связанной. Как раз в поэзии последнего века «безжизненных» проявлений словесности очень мало. Много именно очень жизненных, очень ярких, шумных, красочных и в бытовом смысле объемно-выпуклых картинок, сцен, переживаний, объемно-представимых порой до навязчивости, даже до прилипчивости, но – внебытийных. Как раз на поверхности вещей, как мне кажется, происходит неслышанно-невиданное количество нового, конвенции не застаиваются, постоянно меняются, равно и моды, так что нюансировки этих пейзажей непрерывно изменчивы и неожиданны, новизна комбинаторики здесь по существу бесконечно гарантирована. Полная иллюзия, что жизнь бурлит, и скучных книг уже не пишут. Но всё это – поверхность, хронос, «здесьшний мир», почти совершенно коллапсированный, отрезанный: от измерения атмана в нас («говоря по-восточному») или от на-

шей первой родины (говоря в традициях библейских). Однако в то же самое время (в то же самое вневремя) из «глубины глубин» идет всегда одно-единое, а отнюдь не многообразно-разное и в этом смысле новое, и, ежели оно берется в качестве эстетического, то оно «скудно». Для эстетического внимания, для эстетического человека великие тексты скучны, равно и музыка. Хотя сила соблазна в ней столь велика (и здесь Рильке прав), что в иных редких случаях ее хватает даже и на профанный слух, в силу великой ее многослойности. Симфонии и концерты Моцарта сегодня ловко приспособили для выбивания слезы десятки, если не сотни кинематографистов.

Вернусь к испанцу. Открываю наугад биографию Лорки, написанную его братом: «Федерико с ранней юности излучал неповторимое очарование человека, погруженного в нереальный (в том числе внеисторический. – Н.Б.) мир и одновременно совершенно простого и естественного». Это, я думаю, можно сказать и о Пушкине, и о Моцарте. Открытость к ведовству особого рода.

Мальчик искал свой голос,  
спрятанный принцем кузнечиком.  
Мальчик искал свой голос  
в росных цветочных венчиках.  
.....

Вот она, мелодия интуитивной трансценденции, превращающей поэта в наследника древних волхвов, называвшихся в Индии ришами, не помню, как их звали в Испании. Ведовство на каких-то глубинах связано перепутьем дорог, где в одном направлении – наша первая родина, эдемский сад, в другом – люциферизм, исполненный и жара, и страсти, и огня, и чары. Поэзия, и самая первоклассная в этом поле вполне возможна, да и представлена многими-многими именами. Здесь царство возможных тонких подмен, различных лишь на уровне интуиции, тонкого нюха. Проще говоря, человеку, живущему в двух мирах одновременно, попросту будет скучно слушать чародея сугубо этого мира, отрезанного от всего «божественного» объема. Один из моих любимых дзэнских мастеров говорил ученикам, что у истинного человека даже неистинный дискурс становится истинным. И наоборот. Но кто такой истинный человек? Я это понимаю, как человека, пребывающего в истине, то есть в бытии, где два мира вдвинуты друг в друга. Конечно, такой человек передает ритм истины своим присутствием. Он снимает покров абсолютности с текста как концепции, показывая факультативность и относительность слов в любых отрицаниях и утверждениях. Он понуждает прислушиваться к тому, что за словами. А это уже сфера настоящей поэзии.

Разумеется, миги святости случаются со многими людьми и даже не обязательно с поэтами. Но именно миги. Длитель их, разрабатывать словно это рудники – вот задача художника, заслуживающего дара трансценденции. Потому-то для меня всякий художник непременно должен однажды подойти к «теневой черте» и обнаружить рубеж, когда в нем умирает ветхий человек и рождается человек новый. Этот новый человек – человек с чувством перехода, с живым его ощущением. Когда это с тобой происходит, начинаешь ориентироваться в море поэзии, отделяя зерна от плевел, и никакой океан красот эстетического уровня тебя уже не обманет, а красавицу ты разглядишь и под самым заурядным, блеклым одеянием.

Есенин потому, на мой взгляд, и впал в безысходное отчаяние, что вдохновение приходило к нему главным образом через антенну паховой чакры. Сами по себе эти чакры священны, но им необходимо претворение. Он же износил эти энергии дотла, попросту паразитируя на них как на всецело чувственно-эстетических, данных для удовольствий. Но человек-то создан не для удовольствий, тем более поэт. Греховность Есенина (если дозволено говорить о столь щепетильных вещах) не в пьянстве, распутстве и тщеславии (комплекс, уныло повторявшийся у наших поэтов вплоть до Высоцкого и далее), а в том, что эти подростковые дела он всерьез принимал за «бегство в свободу», оставаясь глухо запертым в «здесь», в словесно-матрицированном материальном море. Киркегор верно отмечал, что противоположность греха – не добродетель, а неверие в Бога. То есть нечувствование трансценденции, не чувствование ее долга, грех одномомер-

ности и потому вброс всех сил (духовных клеток тела в том числе) в чувственный восторг, в том числе в чувственный восторг стихов, и потому либо глубинная незрелость, либо трусость перед необходимостью перехода на «новую стадию», где, конечно, надо будет оставить все привычные радости, в том числе и три вышеназванные.

Тема, которую вы затронули, конечно, труднейшая, и последнюю точку в ней едва ли кто поставит. Вдохновение, на мой взгляд, явление неоднозначное. Оно не обязательно экстаз, но может быть и энстаз, тихое вслушиванием в свой атман с одновременной трансляцией его музыки. То есть, выходит, самовыражение вовсе не обязательно плоско и эгоцентрично. Важно, откуда оно идет, из какого измерения нас самих. <...>

Как очень верно сказал кто-то из православных богословов, «пребывая в этом мире, надо постоянно из него уходить». НБ.

### Андрей Тавров

#### **5 марта 2015 г.**

Дорогой Николай Федорович!

Спасибо, за письмо, которое я сейчас перечитываю. В нем много мест, которые я когда-то выговаривал от себя почти слово в слово в моих статьях, что меня радует и вдохновляет. Место о перекрестках Люциферического жара и бытийных траекторий для меня особенно интересно, ибо отправляет к дальнейшим наблюдениям. Хотелось бы вывесить Ваше письмо в нашем ЖЖ. Как Вы к этому отнесетесь?

#### **6 марта 2015 г.**

Николай Федорович! Мне очень близко, то, что Вы пишете, как в последнем письме, так и в своих статьях. Переведа на более поэтический и необязательный язык, я бы выразил одну из центральных идей так, что ли – в современной поэзии, грубо говоря, присутствуют две основные техники – техника коллажа и техника витража. Коллаж прозрачен только для видения ряда слоев собственного (языкового) материала и представляет собой язык, развернутый на себя, забывший о том, что по В. Шкловскому, например, слово – факт жизни, а не языка. Витраж – это стихотворение, словно нарисованное на стекле, за которым располагается основное – солнце, звезды, сам источник всего, сама дословесная безмерность. Такое стихотворение на деле может не упомянуть о застеклости ни словом, оно ее – являет. Так закопченное стекло являет подробному рассмотрению лик солнца при затмении. Так витраж говорит не просто об истории, на нем изображенной, но – об истории, пронизанной светом солнца, а точнее – светом Бытия, изначальным светом. А.

#### **16 марта 2015**

Попытался написать Вам письмо, но оно пошло в форме, скорее, вопросов к самому себе и в результате оказалось весьма сбивчивым. Наверное, можно было бы и не отправлять, и все же я рискну, рассчитывая на Ваше великодушие.

Можно ли возвратиться в *сад Отца* после веков отпадения, веков, когда мы в себе и других этого Отца уничтожали в лице людей, зверей, самих себя и его сына, например? В чем тайна Гефсимании – не в том ли, что все разговоры о карме перестали иметь под собой прежнюю основу, что она как неизбежность была снята? Чего это стоило Иисусу и что творилось в его душе? – Вот вопросы на которые, мне кажется, у моего разума нет ответа, но которые продолжают манить, мучить и заставлять чувствовать родство со всем миром именно через те непосильные страдания в отверженности от постоянного контакта с Бытием Отца, про которую Пастернак сказал: <и был теперь, как смертные, как мы>.

М. Цветаева восхищалась тем, что Рильке не нуждается в посреднике (Христе), что он силен обойтись без него, а Яков Кротов (священник), например, пишет, что давайте будем маленькими и слабыми, как нас учил Христос. Обе точки зрения мне не близки:

Тут частичный ответ для меня в том, что каждый творит своего Христа, своего Будду, свою вселенную и, самое поразительное, что Она не возражает. Конечно же, единственный грех – отрыв от Бытия, об этом и Антоний Сурожский прекрасно писал (<единственный грех – утрата контакта с собственной глубиной>). Одно есть условие к таким <созданиям> разума, как Христос или Будда или Бытие и, на мой взгляд, оно заключается в том, что их ощущение должно располагаться вне времени. То, что располагается во времени всегда непоправимо замутнено и испорчено Роком, Фатумом, падшестью. Если я чувствую вещь или Христа вне времени и вне слова (ему, слову, как и року, туда тоже не втиснуться), тогда я имею возможность ощутить некоторый уровень подлинности, достоверности, <звательности>, которая тоже располагается вне времени, прежде слова. (Слово и возникает как ответ на эту вневременную звательность вещей мира, обращенную ко мне). Мне кажется, что и Кротов и Цветаева слишком сильно живут во времени, осуществляя свои интуиции.

Невероятное напряжение сил, о котором Вы пишете, говоря о святости после Эдема – для меня ценное и уточняющее наблюдение, требующее дальнейшего осознания. Мне, например, в течение целых периодов каждый день дается с боем, если уж речь идет о святости как устремлении и связи с Началом всего, иногда мне кажется, что все мое существо именно прелая бумага, через которую пробивается сминаящий ее призыв. На этом фоне удивительна органичность жизни Христа, не знавшего никаких <психологических> и других судорог и экстазов.

Мне кажется, что Иисус именно осуществил ту анонимность, о которой Вы пишете прекрасные слова (применительно к творчеству), меня восхищающие. Сказать Я и Отец – одно, это не выпятить себя, а совершенно – убрать себя. Тут ведь если и есть для других посредничество, то какое-то странное – до полного исчезновения, в котором все равно не затеряться. Думаю, что именно Иисус показал как обходиться без посредников, полностью нераздельно исчезая в Отце и все же <не сливаясь> с ним – вот условие для изначальной личности, которое умом не взять, но Рублев (в Троице) мне это открыл больше, чем богословие. Скорее всего, он это и предлагал ученикам – себя как полное исчезновение в Отце, как Дверь, причем, дверь открытую – пустоту. Удивительно тут то, что миг исчезновения и есть миг проявления.

Можно ли сквозь весь ужас истории (расположенной внутри каждого) придти к Дому, оставшемуся неизменным? Или сам Дом содержит что-то такое, что вечно растворяет этот ужас, отзываясь на него, быть может, поднимая его до нестерпимой красоты, но он не может не откликнуться (откликаться) на него хотя бы новым ручьем любви или слезой, что не одно ли и то же? Каббала ведь пишет о том, что Бога трогает молитва. Или ее, историю, надо рассматривать как некоторую духовную машину для отошедших от святости и служащую ее восстановлению? Невозможно: но Бога, страдающего внутри и вместе с историей знали уже греки. Выйти из истории без разрыва себя, мне кажется, невозможно. Но этот разрыв как раз и служит ее снятию, изживанию ее монолитного временного и тупого тарана, устрашающе наглядного и авторитетного для большинства жителей социума. Другое дело – <беспристрастен ли> остается при этом Эдем? – простите мне такую наивную и обусловленную словами постановку вопроса.

Я сейчас читаю Ваше эссе к восьмой Элегии и чувствую, что дышу живым воздухом. Удивительно, что мало кто способен понять, что Вы сделали для <русского Рильке>, выведя его из области <поэзии> в область жизни. Вероятно потому, что тот уровень жизни, о котором идет речь у Рильке, просто недоступен, к сожалению, большинству авторов переводов да и их читателям (знакомым поэтам, в данном случае, с которыми я иногда поднимаю эту тему).

Думаю, что Рильке жил и обитал большей частью в мире причин, о котором говорится в самом начале Дао Де Цзина, а общее восприятие загипнотизировано миром следствий. Смести этот акцент – и от Рильке ничего не останется ни в подлиннике, ни в переводе.

**Николай Болдырев**

**20 марта 2015**

Дорогой Андрей Михайлович, Ваше письмо словно бы вонзается в наш сегодняшний кровотокающий нерв. Здесь, конечно, всё решается не теми или иными «мировоззренческими решени-

ями», не постулатами, но исходной точкой силы или, точнее, той жёлтой, тем ручейком силы, которые у каждого свои. У каждого есть такой дарованный «сакральной силой» секрет, некий ключ к миру и к внемирности. В сущности, мы, взрослея, лишь вслушиваемся всё более внимательно в этот изначальный шепот, в ту «вневременность», которая все же отчуждена от истории, и живя в истории в качестве оболочки, бытийствует все же в том, где она пустотна в смысле кротости и нищеты, в смысле не искания тех ложных самоутверждений, приводящих к краху не только «научное сообщество», но и всех отдельных искателей. История не в состоянии ничего сделать с приватным существом, чья сущность не принадлежит никому, кроме того, кто создает феномен Великого Отсутствия. Есть неуловимость ни в какие сети, она-то и корректирует наш путь возможной расшифровки той «вести», которая в нас вложена при рождении, весть эта еще была потенциальной (зерно), хотя уже и хранящей все потенции.

Путей много, но нельзя сказать, какой самый истинный, поскольку ни один путь никуда не ведет (говорю штампами, но в данном случае оправданными), ведь подлинное движение вне-ременно (не объяснимо из времени) и тем более внепространственно. Принять вариант краха «эдемского дома» и нашей «сирости-брошенности» – значит пойти одной внутренней дорогой. Принять вариант чаньский, что твоя душа и твое сознание изначально чисты, изначально полны исходного света, – значит пойти иной внутренней дорогой. (Хотя в моем личном опыте они вполне естественно взаимосплетены). «Простор открыт – ничего святого!» Ибо святость изначальна, вы верно сказали – она из мира причин, истоков, корней. У Рильке было множество посредников между ним и Богом. Всё говорило ему об иномирье, всё говорило ему, что из щелей мироздания (а каждая вещь есть щель) бьет или сочится тайна, непознаваемое, мощнейший ураган сверхмерного, неподъемного (и потому смертельно опасного) Блага. Удержаться на тонком пограничье, выдержать и зовы ангелов, и кровавый натиск низинного социумного морока.

Мне кажется, Христос, после огромных духовных поражений, упадка еврейского духа, о чем свидетельство поздних иудейских пророков, дал толчок именно вненациональной потаенной жажде в человеке выбраться все же из морока следствий первородного греха. Это был указующий жест оптимизма: каждый может дать умереть в себе «ветхому» человеку (со всем его багажом и со всем накопившимся хламом) и родить в себе человека «нового», то есть начавшего осознанный возврат в эдемскую обитель, то есть назад из «мира науки», из мира, которым правит история и т.п. Разумеется, это требует полного внутреннего переворота и полного восстания против «духа времени». Потому это был и остается путь для немногих. Однако важно не это, а то, что этот путь существует, а это и есть как раз путь к свободе от греха, то есть от недоверия к Бытию. Но Бытие-то пребывает вне временных координат, в этом смысл наших попыток его касаний. Здесь точки, лежащие не на плоскости.

Пока всё. Я, конечно, перечитаю Ваше письмо и поразмышляю над ним более внимательно, там есть во что всмотреться. Мне хотелось бы осознать существо противоречия, которое Вы наметили, которое Вас мучит, осознать более тактильно-ощутимо. Спасибо за доверие. Ваш НБ.

**20 марта 2015, вечер**

Дорогой Андрей Михайлович, вдогонку к сегодняшнему утреннему письму. Тема тянет саму себя. Конечно, едва ли я сказал (да и могу сказать) что-то для вас новое, но, во-первых, не обязательно ведь при встречах в переулке с добрым знакомым говорить о чем-то кричаще оригинальном (собственно, даже нежелательно), а во-вторых, «банальности» всякий раз проживаются заново, как будто никого до нас не было. Как это ни покажется странным, но без истории нашего грехопадения (библейский миф) ничего не понять нам в тщетности современного человека. (Гнилость ткани, из которой шьется человек.) Святость первых людей была естественна и присутственна, абсолютно ненатужна. Они бродили/странствовали по земному саду, встречаясь иной раз с Богом и беседуя с ним так же ненапряженно и искренне-простоудушно, как с любым растением или зверем. Хотя и с особым благоговением. Так я наивно полагаю. Таков был их модус бытия. По сравнению с нашим нынешним он был невероятно внутренне энергоёмко (хотя

слово это здесь неудачно, ибо испорчено современным технологическим трюкачеством), ибо немыслимо чист от всякого мусора и психических отягощений. Эта неконфликтность сознания создавала особый модус парения, я думаю. В нашем падшем мире святость есть прежде всего выражение особого сверхмерного напряжения в чувствовании происходящего события жизни. Здесь то высшее качество желания и высшее напряжение (жажда), которые одни только и ведут к целомудрию. Здесь ищет себе выхода сверхмерная, идущая из интуитивных глубин взволнованность происходящим, непреходящее ощущение *сверхъестественной* природы всего без исключения, взволнованность эта приводит к непрерывному внутреннему блистанию. И неважно, сколько при этом собственно биологической витальности в человеке, переполнен он соками здоровья как Пушкин и Швейцер или угасает, начиная буквально с подросткового возраста, как Кьеркегор, Рильке или Симона. Здесь иные законы бушевания этой переполняющей силы/страсти. Ведь гуляя по эдемскому саду рядом с Богом (подобие), человек вовсе не подпрыгивал в нервном экстазе. Он был немыслимо прозрачно-промыт. Это был иной материал, иное вещество, хотя мы и наследуем ему в чем-то грубом, в измерении скотского.

Кстати, представив эти прогулки по саду и общение вне слов, вне интеллектуального (двоичного) дискурса (что и было чистой поэзией), мы можем как-то уже представить себе и ту особость первоначального Логоса-Ритма (Мантры), из которой некогда «пошло Всё». Тут может быть нам дан некий намек на характер этого таинственного Перворитма-Первдыхания-Первоблагословения-Первозавета.

Потому-то без понимания абсолютной важности *возвращения* на эту нашу первую родину ничего путного в искусстве быть не может. Лишь шум и чехарда подросткового уровня.

Удивительно, что вот прямо сейчас прочел замечательное наблюдение о. А. Шмемана: «... Таким образом, таинство покаяния – это *возврат*, это возвращение, путем раскаяния в «новую жизнь», уже данную, уже явленную...» Прямо в яблочко. Христос призвал к творчеству возврата на первую нашу родину, в сад Отца. И подкрепил своими обетованиями. Слабым это нужно. Нужно ли это сильным? Взрыв силы во Франциске был ли обусловлен исключительно образом Христа? Судя по биографии, нет. Юноша внезапно открыл для себя бедность как кардинальное свойство Бога, как измерение, которое (будучи взято и явлено в абсолюте) странным образом касается эдемского. Это его пронзило, и бьющая из него жизненность преобразовалась в бытийство. Ваш НБ.

**Андрей Тавров**

**12 ноября 2015 г.**

Дорогой Николай Федорович!

Ваши листочки (фрагменты из моих «Записок гиперборей», полностью так и не опубликованных. – Н.Б.), вначале показавшиеся мне грубоватыми, произвели на меня очень сильное впечатление. Вы один из немногих людей, который позволяет себе говорить правду, не оглядываясь на то или иное мнение, а на сегодня для этого нужно большое мужество. Такое мужество кроется в опоре на силу, большую, чем та, на которой стоит сегодняшний социум. Такое мужество заразительно и вдохновляет. Перечитав листки Гиперборей, я понял, что они никого не могут по существу задеть, тем не менее, заденут. Ибо есть некоторое культурно-обусловленное соглашение участников лит-процесса, по которому слово плебей рядом с Бродским это хуже, чем оскорбление собственной мамы)). В обычае современного человека отождествлять «себя» с некоторой системой приоритетных ценностей, а не с неименуемой собственной глубинной природой, и в силу этого, такие оценки звучат для них как посягательство на собственную жизнь в прямом смысле, несмотря на дальнейшие разъяснения по поводу того, что это относится (определение плебейства) в той или иной степени и к автору, по его словам. Ваши наблюдения – это расшатывание дурной магии, которая обладает гипнотическим действием на членов современного культурного сообщества. Меня тоже упрекают в «религиозности», имея в виду, что правильно писать сегодня



– это вообще обходиться без намека на слово Бог, Бытие, Источник, к которым в стихах я обращаюсь, впрочем, редко.

Не сговариваясь, смотрю на лица в метро, вглядывающиеся всем вагоном в мерцающие экранчики – с оторопью. Такое ощущение, что внимание, доля которого требуется хоть для того, чтобы задержаться на дереве или фразе из книги, отобрано как вид энергии и перенаправлено в нужную для матрицы отводную трубу. Картинка с одной стороны юмористическая, с другой – страшноватая.

Ваша идея пограничности и баланса мне очень близка, и конечно же ничего нельзя раз и навсегда. Вообще ничего, по-моему. И только в этом балансирующем мужестве быть, всей силой принимая все новые болезненные вызовы и есть залог жизни, отвечающей на тихий призыв Высшего, если уж выражаться высокопарно.

Идея анонимного письма, мне кажется, невероятно ценной, но хорошо бы понять, как следует, природу такой анонимности. Письмо *как бы никому*, мне кажется, это только предварительный подход к делу. Потому что он отрицает важнейший духовный принцип – служение. Мне предложено передавать то, что хочет через меня (любого, хорошего или плохого, сильного или немощного) на сегодня передать другим людям Высшее. Я проток, а не озеро, пусть даже анонимное. Моя истинная анонимность в том, чтобы забыть о себе, передавая. И тогда я получу новые силы к следующим работам такого рода. Я, исчезнувшее в такой передаче, и есть внутренняя анонимность. Поэтому можно вполне писать, адресуясь к неведомому читателю, и даже к ведомому, в процессе этого письма, растождествляясь с эгоцентризмом и предполагая, что обретаемая в нем (письме) терапия коснется и читателя. Зная, что это не моя заслуга и даже не ведая, каким образом это осуществится.

Ваше одиночество, а я думаю, что у человека, занимающегося тем, чем Вы, его не может не быть – невероятно плодотворно, потому что разделено с «одиночеством Бога». Еще раз спасибо Вам за Ваше бесстрашие и заряд бодрости, который я почерпнул из Вашей «Гиперборей». Если Вы не возражаете, я перешлю эти страницы Марианне Ионовой.

На связи,  
Андрей.

И вот еще – мне кажется, на глубине глубин этика и эстетика нераздельны, и, если эстетика не забыла своего кровного родства, то она может даже и преобладать у художника, во всяком случае внешне, а внутренне уходить, ведя за собой, желающего, к тому пространству, где красота и правда сплавлены в Софию-Мудрость. Это, естественно, не императивы, а некоторые личностные на сегодня утверждения, на которые мне можно опереться. Что касается манипуляций с эстетическим и только с ним – это, конечно же, духовное плебейство, и я не раз говорил об этом на вечерах, где современный «прогресс» письма выдавался за единственную правду искусства, и докладчик как будто забывал, что этому «искусству» срок – с утра до обеда, а предшествующее жило, накапливая прозрения веками и тысячелетиями.

**23 декабря 2017 г.**

Дорогой Николай Федорович!

Когда речь идет о все более жесткой ориентации на внешнюю и воспроизводимую «красоту», у меня нет никаких сомнений по поводу Ваших определений в ее сторону. Более того, Ваша позиция, благодаря ее мужественной стойкости, меня вдохновляет, ибо стойкость я наблюдаю сегодня по поводу совсем других вещей.

Понятно, что люди, постоянно повторяющие фразу «красота спасет мир», давно уже не понимают, о чем идет речь, да и понимания нынешний социум не требует даже в мире литературном – достаточно воспользоваться подходящей цитатой как средством для подтверждения своей правоты. «Исправления слов» не произошло, и, думаю, те времена, если и были хоть в какой-то мере, то прошли и вряд ли вернутся в качестве доминанты. Впрочем, я надеюсь, что они происходят и сохраняются в отдельных личностях, если можно так метафорически выразиться.

Я хотел бы поделиться с Вами одним своим глубинным переживанием. Еще со времен СССР люблю бывать в Сергиевом Посаде и время от времени туда приезжаю. В Троицком храме, как Вы знаете, покоятся мощи преподобного Сергия, и рядом с ними я несколько раз испытывал глубокие и неуловимые откровения. Каждый раз это бывало совершенно неожиданно. Года два назад, когда мы с женой приехали в Лавру и зашли в храм, я неожиданно для себя в какой-то вневременной отрезок увидел суть русской красоты, суть ее, России, глубинной культуры, вернее, света, ее преобразующего и ее образующего.

Это было настолько невероятно, настолько утонченно, настолько живо – ничего подобного, ничего похожего я никогда не чувствовал в качестве ауры или духовного истечения от других великих культур мира. Собственно, я сейчас пользуюсь словами, не выражающими смысл, а указывающими на него. Это сверкнуло и – осталось в душе, думаю навсегда. Это «послание», невероятно концентрированное, многое мне объяснило по поводу русскости и ее внутреннего наполнения. Эта красота была живой, действенной, беззащитно-непобедимой. Нестерпимо прекрасной, невероятно тонкой, тончайше простой, утонченно-светящей. Тонкая Европа с ее великими замками и поэтами казалась грубоватой рядом с тем, что явилось мне на миг как русское в своей глубочайшей сути. Кажется, я не выдержал этой близости и заплакал.

Я, вообще, не очень большой любитель логики и философствования, и многие вещи до меня доходят крайне трудно и медленно. Вероятно, поэтому меня ведут по смыслам жизни такие «телеграммы», в которых многое просто очевидно и постигается не через рефлекссию, а напрямую, как в детстве.

Мне кажется, что такая красота присутствует в каждом человеке, просто не все ее видят. Но без нее мы пропали бы. Это, впрочем, уже и не красота, а собственно «красота» – лишь следствие ее, этой глубинной жизни, наличности. Наверное, это переживание или похожее на него и побудило греков сформулировать свое определение этического идеала, как благо-лепия, калокагатии.

Мне нравится статья Аверинцева, в которой он пишет о понимании красоты русскими, приводя характерную легенду о том, что религию на Руси выбирали по признаку красоты, отдав в результате предпочтение пышной православной службе. Там же он упоминает о русской интуиции, которая звучит так: красиво, значит истинно. И мне кажется, что в этом есть своя правда. Ведь «лифт восприятия» ходит у почти что любого человека, достигая в некоторые мгновения и тех этажей, из которых видно небо и горизонт, в отличие от того, что открывается в подвале, в котором многие из нас проводят основное свое время.

Разве невозможна красота в природе или в человеке как форма богооткровения?

Я думаю, что в устрашающем потоке «жестко-красивых» форм, способность встретиться с красотой тонкой и божественной людьми все же не утрачена, хотя и переживает жесточайший кризис.

Истинная великая красота живет чаще всего в ранах, в убожестве, в «пресности», которую предпочитали китайские писатели. Но и через литературу, даже иногда не очень «духовную», нет-нет да и блеснет. Собственно, живет она, конечно же, в самом человеке, но есть слова и ситуации, к ней ведущие, ее активизирующие. Мне кажется, что одной из форм постижения живой красоты как откровения Бытия, была ситуация катарсиса, которая, начинаясь от мистериальных святых переживаний, прошла через греческий театр и в театр европейский и даже в литературу Европы. Сейчас и катарсис тонет в потоке бессмысленной и кричащей информации, ведь для того, чтобы противоречия обрели мучительную силу и потом блеснули молнией постижения всего сразу (когда сильнее, когда глуше), нужно время, для того, чтобы накопить эту энергию, разряжающуюся во вневременную вспышку познания. Такого времени и такого внимания сегодня почти что ни у кого нет.

Тем не менее, духовные пути неисповедимы, и иногда великие кризисы вели к обновлению, исцелению... хочется верить, что такая возможность все еще существует.

Простите, что так много написал, а до обещанной темы личности так и не добрался.

Конечно, хотелось сказать и несколько слов о возможности на первый взгляд недуховной поэзии и прозы все же выражать невыразимое, как это было у Рембо или в повести Грэма Грина



«Сила и Слава», а иногда и в простых до слез стихах Жуковского. Мне кажется, что Хемингуэй для меня, с его описанием сада после дождя, проявил Бога не меньше, чем некоторые действительно духовные стихи. Тут мне близко определение Вл. Соловьева о том, что прекрасное это ответ и пребывание Царства, небесного Рая на Земле; абсолютного и полного – в искусстве мира конечных вещей. Но, может быть, об этом в следующий раз. <...>

Ваш Андрей Тавров.

**19 марта 2018 г.**

Дорогой Николай Федорович!

Вчера читал в одном видео-проекте (сайт журнала «Комментарии», будет готово через месяц-другой) стихи Рильке в Вашем переводе. Обратил внимание на сильное расхождение с вариантом З.А. Миркиной, в частности, в цитируемой мной строке – «красоте так легко нас разрушить», контрастной по настроению благостно вспоминаемому высказыванию Мышкина по поводу того, что красота спасет мир. Мне с моим полным незнанием немецкого невозможно заглянуть в немецкий оригинал, но Ваш вариант меня тревожит (в хорошем смысле) и убеждает больше, чем вариант Миркиной, где речь идет о Бездне. («Ангел вводит нас в Бездну»). Красота, действительно бывает нестерпима, я помню несколько таких ситуаций из своей жизни, и она же – целебна. Говорил также о красоте идущей от Бесформенного (внутренней, духовной), и красоте, идущей от знака, протезируемой, созданной людьми по уговору. Кстати, об этом еще очень давно заговорил Аверинцев, сопоставив слово-вербум, западное слово, которое сейчас стало знаком, и слово-логос (греческое и русское), как раз то, что Вы называете словом-намеком.

Вот еще что. Я убежден, что поэзия сама по себе обладает даром прикосновения к богам, к Источнику той самой внутренней красоты, это, так сказать встроено в ее древний «механизм», ее божественную функцию, о чем, как мне кажется, размышляя о Гельдерлине, заговаривает Хайдеггер. З.А. Миркина недавно опубликовала довольно внушительное опровержение моим взглядам, и я, подумав какое-то время, ответил на это большой же статьёй, которую вскоре опубликует тот же журнал. Мне кажется, что как есть *Путь чая* или *Путь самурая*, так есть и *Путь поэзии*, и если его пройти серьезно до конца, то выйдешь к Прикосновению, делающему стихотворение Живым. В этот процесс входит и владение техникой, поэту, как и самураю или мастеру чая знание секретов ремесла необходимо. <...>

Сейчас гулял по парку с синичками и белками. Снег днем тает в сильных лучах солнца, несмотря на минус. Надеюсь, что и до Ваших мест весна добирается в лучах солнца и капели, и хорошо бы – в радости и мире.

Ваш А.

**19 мая 2018 г.**

Дорогой Николай Федорович!

Для меня большая радость узнать, что Ваш Рильке вышел отдельной книгой. Пускай они сокращают и режут, что всегда больно и мучительно для автора, но я убежден, что на сегодня это, возможно, лучшее о Рильке и не только на русском языке, и конечно же, постараюсь купить книжку в ближайшее время. Люди с философским образованием, считают, что им все по плечу в смысле восприятия сложных книг, но им никогда не дается, на мой взгляд, та простота созерцания, та смиренность, при которой вещь открывает себя, как и дерево, и небо, и ангельское пение (сокрытая для обычного уха музыка). Сегодня после некоторых трудных событий пошел относить квиток за воду и по дороге увидел гроздь сирени над головой, и все дело было в том, что они смотрят *так*, и что они в каплях, и в каждой капле есть и сирень, и ты, и все остальное, и это – родное, и это – та музыка, которая идет к душе, минуя ушную раковину. Какое чудо под боком! В том, что в нас вложено, чтобы сирень нас увидела, какое тишайшее чудо! (Кстати, пишу постфактум, интересно, что Беньямин давал определение ауры вещи как состояния, когда *вещь тебя видит*). Если б я шел и думал о Канте или об Агамбене, или о том же Беньямине, то вряд ли

бы я увидел то, что увидел. А то, что трудность, с которой я столкнулся, вызвала нужду общения и после – простоту общения с другом и переход от оперативного ума к смирению, открыло мне вход к сирени.

Большой спасибо за посылку с Вашими стихами – у меня лежат две Ваши зеленые книжки («Мост»), одна из которых совсем развалилась от употребления, и я купил вторую. Время от времени я их перечитываю, мне это нужно и важно. Послесловие о стихах, Ваш манифест, тоже крайне интересно и толкает к диалогу, к размышлениям.

Спасибо,  
Ваш Андрей.

### **Николай Болдырев**

**28 мая 2018 г.**

Добрый день, Андрей Михайлович! Вчера вечером просматривал ту стихотворную книжечку, которую Вам послал, и обожгло ощущение ненужности её распространения. Это такая районная самодеятельность; давно потерявшая всякий смысл эксплуатация слова «бог», как и многих прочих. И, размышляя о причинах такого рода графоманства, я подумал, что, вероятно, необходимо изойти словами, чтобы убедиться в их тщетности. Вновь и вновь пускаться в предприятие, заведомо обреченное на поражение, ибо это такая редкость, когда кто-то вылуливается из слов. Мне даже подумалось, что быть может вообще вся культура в целом есть не что иное, как выработка потенциала тщеты, отчасти с целью постижения человеком границ этой тщеты. Вполне вероятно, что вся культура – это строительные леса. Однако трудно предположить, чтобы Мировой Орел не наслаждался третьим концертом Рахманинова или 32 сонатой Бетховена, когда они дошли до его слуха. Есть ли у Мирового Орла свои строительные леса? Иные строительные леса, быть может, становятся собором или даже новой галактикой. Какой фантастический размах игры! Н.Б.

### **Андрей Тавров**

**28 мая 2018 г.**

Дорогой Николай Федорович! Сегодня я размышлял на ту же тему. Выбрался в Новодевичий к могиле Соловьева, там же недалеко А. Белый. И стоя перед темной Богородицей пережил что она касается меня, моей души, входя в глубь безусловными слезами, и при этом не нужны ей слова, сноски, пояснения и уточнения, потому что этой великой простоте нечего пояснять и прояснять, потому что она – такая. Вот такая, так. Однако это и явление культуры, которое помогает сформировать пространства Встречи. А потом стоял с колокольчиками, которые кто-то посадил на могиле Соловьева, и тоже было просто, как у иконы.

Культура, создающая пространство возможной Встречи... она нужна и прекрасна. Я прочитал сегодня первые страницы Вашего Рильке и они начали мой день, сделав его вдохновенным. Уверен, что тот же потенциал таится и в книжке Ваших стихов, за которой завтра иду на почту. Это не просто слова, конечно, это жест, указание, след Единого.

Ваш Андрей.

**14 октября 2018 г.**

<...> Спасибо Вам за содержательное и открытое письмо. Мне кажется, вы нашли удивительную тонкую формулу про смысл полемики – обмен исповедальностями. Это ведь и есть поднимающий смысл диалога на фоне большинства диалогов, опускающих уровень общения. Образ с кирпичом, действительно, ближе всего к коану – статьи и эссе из книги писались в период некоторого «штурма и натиска», связанного со становлением проекта, в котором я тогда принимал в течение нескольких лет активное участие, возлагая на него большие надежды, отчасти оказавшиеся ложными, но не прошедшие без пользы. <...>

**28 декабря 2018 г.**

С большим вниманием дочитываю Вашу работу об «изгнании в язык», переживая мгновения радостного сродства интуиций и раздумывая над теми абзацами, которые вызывают труд понимания или стремление уточнить сказанное. То, что язык сделался ловушкой, для меня совершенно очевидно, и столь точная подача аргументации этого обстоятельства мне в Вашей работе бесконечно близка. Но вот, например, ситуация с Евангельским Логосом у Иоанна требует, на мой взгляд, прояснения. Скорее всего, и это ясно просто из соображений здравого смысла, не мог иудей Иоанн быть знаком с тем, как понимали это слово досократики. И если Хайдеггер и реконструирует его в прежнем варианте как Бытие, то бывший рыбак Иоанн, конечно же, воспользовался современным себе его значением и пониманием как именно что – сущностного слова, смысла, деяния, тем более, что для верующего иудея той поры, которым он отчасти оставался, Божье слово (Логос) неразрывно с делом, и носит не философский характер и смысл, а, скорее, очень грудной, сердечный, трепетный по восприятию, вызывающий возвышенный страх, священный.

К тому же мне кажется, что ситуация со смыслом слова «Логос» в начале четвертого Евангелия прояснится, если мы вспомним высказывание Мейстера Экхарта: «В тишине Отца Бог произносит свое Слово». И здесь речь идет как раз о невозможности «произнесения», выговаривания Божественного Слова (Логоса) вне абсолютной бытийной Тишины, потенциально вмещающей все возможное и невозможное – одно без другого (Слово без Тишины и наоборот) не может существовать, если так можно выразится. Это, как мне кажется, очень близко к тому, что Вы говорите про чаньское слово, находящееся на границе слова и молчания.

Речь ведь идет не о том, что слово само по себе плохо, а о том, что оно плохо, когда оно «пало», заболело и к тому же тянет одеяло на себя, что является следствием больного состояния человека и человечества, в котором оно, человечество, оказалось не только в последнее время, а еще при Лао-цзы, и думаю, раньше. Ведь удивительный мудрец прибег же к языку и даже к письменному языку для выражения своего состояния в бытии – но в его исполнении это были «здоровые» слова, как раз пограничные, как раз указующие на большее, чем они, на неразрывность иероглифа с той тишиной, откуда он возник.

Ведь одно и то же слово, допустим, «человек», будет больным в устах менеджера и здоровым, т.е. совсем другой природы в устах Иисуса, например, или Чжуан-цзы.

В первом случае оно будет ловушкой, куда условный менеджер попал сам и загоняет свой персонал, а во втором – указанием на сущностное значение человека, эхом его глубины.

И большие поэты знают слово из тишины, и не раз свидетельствовали об этом чуть ли не прямыми высказываниями. Т.е. у больного духом человека, в его устах и здоровое слово заболевает, а чистый духом исцеляет и заболевшие слова.

Думаю, что эти заметки не противоречат основной идее вашей статьи, за которую я Вам в высшей степени признателен, во всяком случае, так дело обстоит для меня.

Счастливых Вам наступающих праздников, их, можно сказать, изреченной и безмолвной сути!

Ваш АТ.

**24 апреля 2019 г.**

### Вечерние дети

Вечерние дети еще не погасили последнего златоалого ствола.

Солнце падает в собственные ладони в попытке к ним прикоснуться.

Ах, они все играют и прячутся – нетленная серебряная зола

замечталась на их плечах, чтоб никогда не очнуться.

Ясноокие вечерние дети, запах розы да крик перепелки...

Вот он спрятался. Не найдет на свете его больше никто.

На шумящей-шуршащей горе сторожат золотые волки.

В воздух взлетает мяч – голубеет, как ангел со скрипкой или латаное-заланное пальто. Вечерние дети, благословите, опускаясь за веки, внимая каждому звуку. С крыши течет асфальт – кличит: «Домой!», но никто не вернется. Между вечерних стволов босоногие убегают в бухту, где стоит, покачивается высокий корабль тишины да лиловый архангел вьется. Вечерние дети перепутали стволы, пол отсутствует вовсе. Сады для скитальцев бьют хрусталем родников, новым чудят материнством, дети в порфире воздевают руки: синие, тихие срываются ангелы с пальцев. Вечерние дети летят и смеются, разбивая бесшумно сердца в золотом эфире.

Николай Федорович, читая те абзацы книги «Изгнание в язык», что посвящены «струению», вневременной процессуальности, Ваших присутствиях в беседах отца с друзьями в последней статье, на мой взгляд, удивительной (слова о непосильности любви для человека, весь рассказ о «школьной любви»), я вспомнил, что однажды хотел описать опыт, похожий на тот, о котором Вы так глубоко пишете, а вернее, к которому отсылаете. Я сделал это в романтическом ключе, мне тогда свойственным, но все же что-то, кажется, удалось передать.

**26 апреля 2019 г.**

Дорогой Николай Федорович!

Спасибо за добрые слова о моих стихах. Я сегодня как раз шел по улице (у нас первые листья и очень жарко) и вспоминал, какими живыми и слова, и имена были в детстве, как и вообще все немногочисленные вещи, которые меня тогда окружали – у каждой была бесконечная душа, которая нигде не начиналась и нигде не кончалась – и у кота, и у дерева за окном, и у ковра на стене, узоры которого я знал наизусть. Думаю, что это детское восприятие меня до сих пор поддерживает, ограждая от сплошной иронии. Я бы с большой радостью прочитал то, что Вы написали по поводу «Проекта».

Вчера смотрел фильм, посвященный Тарковскому, съемкам «Жертвоприношения» и испытал редкое чувство – успокоения, пришедшее на этот раз не от его фильма, а каким-то другим образом, просто при соприкосновении с его миром. Я долго не хотел смотреть этот документальный фильм – какие-то досадные мелочи мешали: то воспоминание о «капризном тоне» его интервью, то заметка одного поэта по поводу того, как он там матерится, когда узнает, что камера была неисправна, и т.д. И вот магическое чувство, когда все, что в отдельности было неприятным и вызывающим отторжение, собралось вместе со всем остальным, и все эти детали, которые мешали просмотру, во-первых, ушли совсем далеко, во-вторых приобрели совсем другой смысл в этой цельности, которая там стала просвечивать с первых же кадров и которая, конечно же, была дана Тарковскому как дар. У Вас наверное был опыт наблюдения за тем, как какая-то вещь, высвечиваясь, полностью меняла в своей цельности весь предыдущий и поверхностный смысл, который казался гипнотически однозначным. Как же прекрасно, что Тарковский возвращает наблюдателя именно в эту точку. Мне правда приходилось то, что он говорил о времени, переводить с его языка на свой, но и это не особо препятствовало радости. В его понимании, как я Вам уже писал, мне очень помогли Ваши работы.

Умер Тик Нат Хан, книги которого я очень ценю и с учеником которого, Борисом Орионом, практикующим дзэн-буддизмом, я встречался на медитациях в Москве. Именно он мне порекомендовал прочитать работу Тик Нат Хана «Христос и Будда». Сколько же светлых людей мне послал Бог в жизни!

Ваш Андрей.

Сергей БОРОВИКОВ

ЗАПЯТАЯ-24  
В русском жанре – 84

”

Если и сохраняются советские традиции, то исключительно скверные. Минувшим летом в нашем Союзе (посёлок назван в связи с планами возвращающихся из казахстанской ссылки на территорию бывшей республики немцев Поволжья, которых в скором времени саратовская власть во главе с Д. Аячковым успешно вновь изгнала) решили обновить детскую площадку, для чего первым делом расхерачили прежнюю, поставленную первыми недолгими обитателями. Сварные качели, лесенки, турники разбросали по сторонам и месяца на два оставили валяться. Я попытался в местной администрации выяснить: а) почему уничтожили целенькую площадку и б). почему не ставят новую. На первый вопрос ответили, что площадка не соответствовала мировым стандартам, а новую ещё не доставили. К осени привезли подобную прежней, но изготовленную не из стали, как прежняя, а из пластика и бумагоподобной жести.

Живущий в ближайшем к площадке доме гражданин, высадивший несколько сразу уничтоженных приехавшими саженцев, спросил надзирающую за работами замглавы администрации (есть и такая оплачиваемая должность в миниатюрном поселке), может ли он перенести снесенные качели на свой двор для внучек, что та запретила, серьёзно пояснив: «они у нас на балансе». Надо ли добавить, что все прежние детали площадки «на балансе» так и валяются, теперь уже укрытые снегом. А возьми кто молча – никто бы не заметил.

”

В моей старой жизни толчком к воспоминаниям часто служит ТВ. Так и перебегают мыслёшки от одного увиденного-вспомнившегося к другому. Вот мелькнул показ фильма «Каин восемнадцатый», который я и не видел, но почему-то он связан с дорогим моей памяти другом Петрусенко, и всё же вспомнил.

У Илюши была простительная и, как мне кажется, несколько еврейская слабость льститься знакомством с условно говоря известными, просто с людьми известных профессий. Когда мы были в незабываемой поездке (1964) в Ленинград, он увлёк меня в ихний тюз, чтобы похвастать как бы дружбой с актёром, фамилию которого я запомнил.

*«Вернов Геннадий Александрович. 18 сентября 1931 – 15 мая 1997. В 1960 году – актёр Ярославского драматического театра. С 1962 – актер Ленинградского ТЮЗа, затем – Ленинградского театра им. Комиссаржевской».*

В театр билетов не покупали, зашли через служебный вход. Оставив меня в вестибюле, Илюша ушёл в уборную к Вернову, прибежал оттуда возбужденный, со словами «Светка говорит: “какой красивый мальчик сидит! Каин восемнадцатый помнишь?”»

Поскольку меня даже мама красивым не считала, я и запомнил. В уборной у мужественно привлекательного Вернова сидела девушка, сейчас по списку ролей узнал: Светлана Лощинина. Вернов пел под свою гитару, я тогда услышал «На Тихорецкую состав отправится», ставшую потом всем известной по фильму «Ирония судьбы».

Я хоть порой и завидовал неиссякаемой жовиальности друга, не мог не удивляться тому, сколько сил и времени он затрачивает на достижение целей в общем-то второстепенных.

У нас был друг, а точнее, друг у него, мне же просто приятель – Алик Гольдфеде́р, живший в Саратове, когда отец его заведовал кафедрой в консерватории. Потом они уехали в Москву, а еще потом Сашка за границу. И спустя какой-то срок Илья с большими сложностями, т.к. занавес был ещё советский, сумел по приглашению Гольда к нему съездить в Голландию и Штаты. Не обижая память друга, всё же отмечу, что, конечно, не по зову сердца, а чтобы *побывать*, а после рассказать раз, другой и третий.

”

В связи с недавним потоплением судов в Чёрном море и постоянными историческими отсылками вспомнили и знаменитую гибель лайнера «Адмирал Нахимов» в Цемесской бухте Новороссийска 31 августа 1986 года. И – вы будете смеяться – в голове вновь выскочило имя всё того же Илюши.

Поздней осенью забытого уже по цифрам года я жил в ялтинском доме творчества, и Петрусенко оказался тогда там, затеяв отправиться с возлюбленной от Крыма до Одессы на том самом «Адмирале Нахимове». Корабль стоял у причальной стенки, и я провожал друга с его Ларисой и побывал на борту, где было как-то красно-бархатно-медно-зеркально у буфетной стойки. Да, мой друг умел интересно жить.

”

А вот ещё. В тэвэшке любят сюжеты о советском оружии, они и впрямь увлекательны, во всяком случае для меня. Даже сами названия или марки когдатошних крейсеров, танков, орудий, самолётов волнующе притягательны.

*«В сентябре 1974 года проведены лётные испытания серийного образца самолёта вертикального взлёта и посадки Як-36М, ставшего прототипом штурмовика Як-38. Первая посадка двух самолётов Як-36М на авианесущий крейсер «Киев» состоялась 18 мая 1975 года. В период с 1974 по 1989 год завод выпустил более 200 штурмовиков корабельного базирования Як-38» (Википедия).*

А в Саратове был авиационный завод.

*«Саратовский авиационный завод (САЗ) – авиастроительное предприятие в Саратове, функционировавшее до 2012 года. Производило самолёты ОКБ Яковлева, – истребители Як-1 и Як-3, пассажирские Як-40, Як-42, палубные самолёты с вертикальным взлётом и посадкой (СВВП) Як-38, а также самолёты и вертолёты других КБ» (Википедия).*

Ну, и где здесь место твоему легендарному другу? А вот где. Он в те годы повторно женился, и его избранница по имени Вера обитала вблизи аэродрома Саратовского авиационного завода, потом разорённого и распроданного руководством во главе с Александром Ермишиным, не понесшим за то наказания, теперь же идёт возня вокруг продажи заводских земель, а в гигантском здании сборочного цеха расположился т/ц «Ашан». Когда приходили к его теще, порой тряслись и дребезжали оконные стекла при взлёте Як-38.

”

Нет, всё же грех вовсе пренебрегать писателем, на память о котором осталась надпись: «*Дорогому Сергею Боровикову с добрым приветом и пожеланием счастья. Конст. Федин, Москва, 26.II.1964*» на третьем томе собрания сочинений (1960), куда вошли роман «Братья» (1927) и повести «Наровчатская хроника» (1925) и «Трансвааль» (1926). Случайность, конечно, но эти вещи, все три, у него лучшие, к ним рядом ещё только «Горький среди нас». А к Федину меня отослала передача «Рассказы из русской истории» презируемого либеральной общественностью Владимира Мединского, где он рассказывал о знаменитом полководце.

«Граф Иван Иванович Дибич-Забалканский (до поступления на русскую службу Ганс Карл Фридрих Антон фон Дибич-унд-Нартен – нем. Hans Karl Friedrich Anton von Diebitsch und Narten, 2 [13] мая 1785, Грослейпе, Силезия – 29 мая 1831, Клецево близ Пултуска) – русский полководец (сын прусского офицера, который в дальнейшем поступил на русскую службу). Генерал-фельдмаршал (1829), генерал-адъютант (1818), четвёртый, после Кутузова, Барклая-де-Толли и Паскевича и последний полный кавалер ордена Святого Георгия» (Википедия).

Это справка, а у Федина:

«Поручик царской армии Василий Данилович Дибич пробирался из немецкого плена на родину – в уездный волжский городок Хвалынский» (Необыкновенное лето. 1949).

И я попытался найти связь полководца и нашего Хвалынска. Ничего даже близко нет. Обширнейшее поместье Ивана Ивановича располагалось на берегу Финского залива, где даже сохранилась полуразрушенная «башня Дибича».

Зачем дал персонажу эту фамилию писатель, который, как сформулировала Гера Макаровская, «Заранее палочкой потычет вокруг – можно ли ступить»? И я понял, что права Гера, сто раз права: осторожный писатель и здесь проявил страховочную предусмотрительность.

Ну, понадобилось ему для придуманного возвращенца из немецкого плена фамилия знатного офицера, и для впечатления достоверности реальная. Но наречь своего царского поручика Голицыным или Шереметевым опасно, надо, чтобы потомков не могло возникнуть с их ненужными вопросами. И вот и герой, и не вполне русский, да и род на нём, бездетном, пресёкся. Нет, немало, думаю, времени употребил в отсутствии тогда интернета Константин Александрович на поиски подходящей фамилии.

”

Как-то я рассказал университетскому приятелю Валерке Виноградскому, занятому тогдаписанием кандидатской, насколько меня бодрит вид стопы исписанной вчера бумаги. И он проверил на себе: точно!

В самом деле, любому пишущему знакомая радость от зримого прибавления делаемого текста. Публикация радует фамилией, а производство наглядностью.

Юрий Нагибин в конце дней занялся «изданием за свой счет своего собрания сочинений. Все сбережения утонуло на это собрание, но так его и не завершил. Намеревался издать 12 томов по 10 тысяч экземпляров»<sup>1</sup>. Не знаю, сколько томов он застал, но сейчас в Сети сообщается и о десяти, и о двенадцати томах. А до этого уже было в четырех томах, на которое я в 1980 году подписался, хотя уже утратил былой интерес к этому писателю, а самых крутых его вещей, как «Моя золотая тёща» и, разумеется, Дневника, изданного тем же Кувалдиным, еще не было. К столетию со дня рождения Нагибина в 2020 году издали девять томов тиражом в одну тысячу, да и та не разошлась, будет, разумеется, лежать.

Юрий Маркович был известным и плодовитым писателем, у него вышли сотни книг, да и в последние годы случались переиздания, к чему была последняя затея? К тому же был он всегда профессионально озабочен заработками, в чём преуспел, и не в его натуре было «все сбережения угрожать» на издание. Много лет ему платили за его тексты, и вот в каком-то, думаю, кураже, дожив до обратных времён, он решил им противоречить, как много лет противоречил советским правилам, союзу советских писателей, столь ненавистно необходимому. В издании за свой счет было тщеславие особого рода, даже щегольство. Застав крушение былых, в т.ч. и книжных ценностей, старый писатель хотел тормознуть его.

Вообще собрание сочинений штука хитрая. Известно, какую общественную волну поднял договор Чехова с издателем Марксом на его издание.

<sup>1</sup> Юрий Кувалдин. НГ, 17.06.2004.



Советский период знал разные формы и уровни отношений автора и издателя. Немного поколебавшись в 20-е, пока существовали частные издательства, после их ликвидации, сочетая вплоть до войны жестокую цензуру с необъяснимой вольницей вроде издания собр. соч. Велимира Хлебникова в 1940-м году, подчинившись до упора потребностям военного времени, книгоиздание вошло в многолетние жёсткие рамки. В них подписные собрания сочинений допускались по особому верховному допущению только у признанных теми же верхами (и отчасти читателем) безусловными классиками. Таковых для начала сразу после войны было несколько. Петр Павленко, Илья Эренбург, Леонид Леонов, Андрей Упит, Борис Горбатов, Александр Корнейчук, Константин Федин.

Потом к ним изредка добавлялись новые классики: Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, Пётр Проскурин. Как-то в редакции я рассказал, что слышал о выпуске «Советской Россией» собрания Проскурина, на что Шундик не удержался куда-то в воздух завистливо спросить: «А не рано ли Пете?»

Впрочем, у Пети читатель хоть был, а ведь по должности четырёхтомника в том же издательстве дождался и сам Шундик, правда, с задержкой, когда его потеснила Агния Кузнецова не по должности, а по семейному положению жены Георгия Маркова.

Помню, как счастлив до постоянной на похмельном лице улыбки был покойный Слава Пещух выходящему десятитомнику.

Нет-нет, есть всё же в сочинительстве, а точнее в сумраке сочинительской души волнующая тайна.

””

Сейчас в силу понятных причин возник интерес к Белгороду, и случайно открытая информация задала мне безответный вопрос.

«5 августа 1943 года навсегда останется знаменательной датой для Белгорода. После перерыва в городском театре начался новый сезон, открывшийся пьесой М.В. Водопьянова и Ю.Г. Лантева “Вынужденная посадка”» (<https://www.belnovosti.ru/>).

Постараюсь объяснить, что меня остановило.

Вообразим полярную ночь, торосы, так сказать, и айсберги, и всё как в «Золотом телёнке»: «Весь мир, волнуясь, следил за полетом Севрюгова. Пропала без вести иностранная экспедиция, шедшая к полюсу, и Севрюгов должен был ее отыскать. Мир жил надеждой на успешные действия летчика. Переговаривались радиостанции всех материков, метеорологи предостерегали отважно-го Севрюгова от магнитных бурь, его моторов был слышен во всем мире» – и... жалкий спектакль в облдрамтеатре... Каким образом всё это встало рядом? А таким же, как лётчик Севрюгов и ничейная бабушка из Вороньей слободки.

«Михаил Васильевич Водопьянов (6 (18) ноября 1899, Тамбовская губерния – 11 августа 1980, Москва) – советский лётчик, участник операции по спасению экспедиции парохода “Челюскин” в 1934 году, один из семёрки первых Героев Советского Союза (20.04.1934). Участник высокоширотных арктических экспедиций. Член Союза писателей СССР. Член ЦИК СССР. Генерал-майор авиации (30.04.1943)» (Википедия).

Но что заставляло знаменитого летчика вообще что-то искать на подмостках сцены? Денег и славы у него было в избытке, были кремлёвские приёмы и застолья у Алексея Толстого<sup>1</sup>, и вынужден корешиться с третьестепенным литератором, унылым проректором Литинститута? Да кто ж его вынудил?

Только и только потребность в писании. Его книги, что я читал в детстве, «Полярный лётчик» и другие, привлекали арктическим колоритом, но и написаны были как писали тогда обычные советские писатели, но он-то был не они, и потому его членство в СП выглядит чужеродно.

<sup>1</sup> А.Н. Вертинский отозвался о Водопьянове как «одном из первых друзей, которых мы завели. Он, Игнатъев, А.Толстой – вот первые люди, которые пришли ко мне по приезде».



”

Раз Толстой «Анной Карениной» (1874) и повторял «Грозу» (1860) Островского, почему же так волнуют эти повторы, перепевы и т.п.? Даже не так – они меня радуют, было очень приятно заметить, что комедия Островского «Богатые невесты» («Отечественные записки», 1876) во многом повторяет роман Достоевского «Идиот» («Русский вестник», 1868). И ещё, тоже недавно, я позволил себе отметить утрату или запрет в «учёном» разговоре понятий нравится-не нравится<sup>1</sup>. Теперь же в мою старую и слишком свободную от нового голову приехал вопрос: насколько нам, читателям, близок или хотя бы понятен тот или иной персонаж неважно из какого произведения. Дело в том, что про себя у меня есть единственный пример, когда я точно и абсолютно во всём понимаю и наперёд точно человека знаю. Это герой-рассказчик повести (или романа) Альбера Камю «Посторонний». Он мне досконально во всём изнутри понятен. Устрашусь заявить, что это я и есть, но из отношения к нему окружающих я сполна понял отношения ко мне с детства и по сю пору других людей, включая двух жен и двух сыновей.

Но есть у нас с Мерсо и буквальные совпадения. Даже в том главном, из-за чего и складывается отчуждение, наша посторонность окружающему. Мне, как и герою Камю, непонятно отчуждение и осуждение меня своим единодушием. «В нашем обществе любой, кто не плачет на похоронах матери, рискует быть приговорённым к смерти»<sup>2</sup>. Ведь и я не плакал, когда умер отец и когда умерла мать, но рыдал, когда пришлось усыпить ризеншнауцера Шеру. По нормам это означает моё нравственное уродство, да? Во всяком случае первостепенно именно единодушие, солидарность окружающих в осуждении тебя за... Вот здесь-то и вопрос: за что?

Предполагается, что за равнодушие, но ведь похоронные слёзы часто лишь дань ритуалу, и тогда – за несоблюдение принятых правил, так?

В повести (романе) посторонность никак не объясняется, она не мотивирована ничем. Дело во французском Алжире, но нет и следа какой-либо особенности тамошних нравов, и отличие от них героя иначе как врождённым не объяснишь.

Как говорится, вы будете смеяться, но и я, и другие, как помню, мою особость видели, и в поведении, да и словах, не скрывали. Чаше насмешничали, как старший брат, но всегда привычно отделяли меня. словно залетевшего в общую стаю чужака, и не доверяя и оберегая одновременно.

У меня не было никаких ни к чему склонностей, возникнуть они могли ситуативно, как в девятом классе неожиданно став первым учеником по единственному предмету, экономической географии, я ненадолго возмечтал ехать в МГУ поступать на географический.

Я не писал стихов, но читая в 64–67 гг. «Новый мир», зачем-то придумал несколько рассказов. Мой друг Илюша писал и стихи и прозу, и когда я один показал ему, а мы шли по набережной, он ткнул пальцем в одно дерево, другое, третье: «Это что? А эти кусты? Писа-а-тель земли русской!» Это было настолько правда, что даже не обидно.

Ну и вся моя, извините, *карьер* началась и продолжилась случайно. И не сразу, а лишь через годы пришёл из молодых лет, как когда мы с Илюшей писали друг другу самый настоящий пост-модерн, пришёл мой «русский жанр».

Рассказывая о своих днях, алжирский француз Мерсо чаще всего называет собственное ко всему безразличие, даже в суде над собой. Он не привык и не хочет волноваться. Я задал вопрос себе, и просеяв в памяти семь десятилетий, выявил бесспорное преобладание в моих мыслях наречий *видимо, вероятно и возможно*. Мне трудно сейчас поточнее сказать, всё-таки я не беллетрист, но поверьте, что все служебные тревобления были для меня как сквозь воду. Я и дома-то не склонен был к выявлению *правды*, что подвигало мою вспыльчивую супругу к словам: «От-

<sup>1</sup> Запятая-21 // Знамя. 2023. №11.

<sup>2</sup> А. Camus. Oeuvres complètes. V. 1. Gallimard, 2006. P. 215.

молчаться решил – не выйдет!», и годы мне понадобились, чтобы обрести вкус в скандале. А все многие плюсы и несущественные минусы на долгой дороге редакторства и сочинительства меня не волновали, ведь значение имели только растущие заработки. А уж так удививший многих мой переход из якобы патриотов в якобы либералы меня и вовсе не волновал, потому как смысл там лишь в слове: *якобы*. Так о себе книгу бы и назвал. «Якобы», а?

”

Сейчас принято обличать 90-е годы, ставшие в пропаганде синонимом криминала, беззакония, разрухи. Броские приметы тех лет сейчас и впрямь диковаты. Когда по нужде коллектив «Волги» решил сдать в аренду две редакционные комнаты, новая реальность вошла в наши старые двери. Постояльцы занимались торговлей зерном, много ездили по области, и почти все были недавние офицеры. В соседней с ними комнате сидела Галина Борисовна, очень худая курящая недобрая старуха-детдомовка. Зерноторговцев она открыто невзлюбила, и как-то их зам. директора, весёлый и пригожий молодой человек, зашёл ко мне в кабинет и затеял разговор именно о Галине Борисовне. Точнее о том, как им позарез необходима её комната, и для этого желательно одинокую старушку убрать. На вопрос, каким образом, мой гость с широкой улыбкой объяснил: «Ведь её никто искать не станет...»

Можно воспринимать юмористически, но в реальности как-то один из рядовых постояльцев, выпивши, к вечеру зашёл в бухгалтерию, неся под мышкой *калашников*, и попросил до завтра его оставить, потому что если домой автомат принесёт, жена заругает.

А возвращаясь к началу о поношении 90-х, твёрдо заявляю, что богаче, интереснее, причудливее, разнообразнее, перспективнее, веселее времени я, за все за свои семьдесят семь земных годов, не знаю. Тогда хотелось жить не в ожидании каких-то грядущих и волшебных перемен, а сразу. Жизнерадостное было время и словно знало свой скорый конец и спешило, спешило...

”

«Оттепели мне надоели, они только расслабляют и травят душу иллюзиями». Из письма Сергея Довлатова Игорю Смирнову (1982).

Григорий БЕНЕВИЧ

## О СТИХАХ ВЯЧЕСЛАВА ПОПОВА

*Герменевтические этюды*

Самым большим поэтическим открытием прошлого года стали для меня стихи Вячеслава Попова, поэта со сложной поэтической судьбой (промолчавшего после первых публикаций более 20 лет<sup>1</sup>), но, на мой взгляд, замечательного<sup>2</sup>. Не возьмусь охарактеризовать поэзию В. Попова в целом (это требует отдельной работы), но еще до всяких обобщений и рецензий хотелось бы как читателю остановиться на некоторых его вещах и продлить удовольствие от встречи с ними в той форме, которая мне наиболее близка – пристального чтения.

Так совпало, что в последние годы я посещал философский онлайн семинар «Учим язык Хайдеггера», который ведет выходец из России, принстонский филофилософ (как он себя называет) Аркадий Шуфрин, мой друг и соавтор по патристическим штудиям. И хотя личность Хайдеггера, его политические взгляды вызывают у меня сложную гамму чувств (особенно в контексте современной политической ситуации, когда его пытаются присвоить в России чуждые мне авторы), его философская мысль в той части, в которой она относится к экзистенциальной онтологии, представляется мне чрезвычайно плодотворной и позволяющей нечто важное понять и заметить в поэзии. Сам Хайдеггер много писал о поэзии и призывал слушать поэтов. Так вот, стихи Вячеслава Попова, помимо того, что они могут доставить чуткому читателю эстетическое наслаждение, являются, на мой взгляд, прекрасным образчиком именно такой поэзии, которую стоит слушать философу, да и всякому внимательному к жизни, слову и мысли человеку. При том, что это не философская поэзия в буквальном и содержательном смысле (хотя стихи Попова и были выдвинуты на премию Пяттигорского!), тем более не поэзия философа.

Настоящая публикация представляет собой собрание нескольких, не связанных друг с другом, герменевтических этюдов<sup>3</sup>. Начну со стихотворения, самого простого по форме (впрочем, стихи Вячеслава Попова все очень просты и непритязательны по форме, что не мешает им быть по-настоящему глубокими).

**Обретение дома**

бродишь рощей березовой  
в паре сношенных калаш  
белый встретится

<sup>1</sup> См. его рассказ о себе Ольге Лапенковой: <https://godliteratury.ru/articles/2022/01/27/popast-v-svoej-razmer-viacheslav-popov>.

<sup>2</sup> Вячеслав Анатольевич Попов родился 11 августа 1966 года в деревне Малые Коряки Смоленской области. Закончил школу в Бийске (Алтайский край). Получил филологическое образование в Тартуском университете. С 1995 года занимается редакторской работой, сначала в книжных издательствах С.-Петербурга, с 2001 года с в «Коммерсанте». Единичные публикации стихов в периодике появились в конце 80-х – начале 90-х годов. Потом был длительный период молчания, но с 2018 г. поэт начал широко публиковаться в толстых журналах (см. в Журнальном зале), выпустил книгу стихов «Там» (ОГИ, 2021) и подготовил следующую. Живёт в Москве.

<sup>3</sup> Не во всех из них, кстати, я прибегаю в качестве ключа к прочтению поэзии философию Хайдеггера, в некоторых она играет второстепенную роль или вовсе отсутствует.

берешь его  
смотришь срез  
опять хорош  
час пройдет  
корзинка полная  
принакроешь лопухом  
и назад  
куда не помню я  
я не помню о плохом

2023

Простенький вроде бы стишок о собирании грибов. Но тут точно какая-то тайна – в самом конце, – которая делает весь стих замечательной находкой. Куда возвращается лирический герой (далее: Л.Г.)? Сказано – назад, но куда именно, «не помню», т.к. о плохом, мол, не помню. Бытовая и психологическая сторона дела как будто понятна. Человек вышел из дому, где ему «не сиделось», было непокойно, видимо, вышел, побродить по роще березовой, авось что найдет и тоску развеет. Ну, и побродил, и вернулся домой. Что тут такого особенного? С кем такого не бывало? Тем не менее, что-то замечательное произошло, о чем стихотворение и свидетельствует. Было (об этом мы можем только догадываться, в тексте этого нет) непокойно. Стало – покойно. Новым «домом» – местом покоя Л.Г. – стало слово, да, вот это самое поэтическое слово, которое в результате этой прогулки по березовой роще и стало той предьявленной нам, читателям, «корзиной с грибами», принакрытыми лопухом, которую наполнил Л.Г. «Принакрытыми» лопухом для «лопухов», недотеп, которые не удосужатся вникнуть в настоящий смысл содержимого корзинки, подумают, что стихотворение только о грибах, т.е. ограничатся буквальным, точнее внешне материальным, смыслом, не вникнув в духовный, познать который словно бы призывает это лукавое «принакроешь». Духовный же смысл стихотворения, я полагаю, в свидетельстве о выходе в мир, который совершается не абы как, а в слове, и об обретении Dasein своего места (дома, покоя) в слове.

Язык – дом бытия, сказал Хайдеггер. Не знаю, что он имел в виду, наверное, никогда не пойму, но вот как слово становится домом Dasein, мы живое свидетельство имеем. По сути, обретение-выстраивание такого дома и происходит во всяком настоящем стихотворении.

Желающие могут еще подумать о символическом смысле «белого» в этом стихотворении. «Белое» скрыто уже в березовой роще, но уже явно оно отрывается к теме белых грибов, хороших на срез, т.е. не червивых. Вот такие, нечервивые, слова, когда проверяешь их на «срез», в этом стихотворении. На срез, т.е. когда материальный смысл «срезаешь», вглядываясь в словесный – умный и философский. Каждое слово стихотворения, если проверить на срез (я сделал это только с некоторыми), – хорошо!

### Спасение Мандельштама. О стихотворении Вячеслава Попова «Там»

#### Там

что ты  
скажи нам  
делаешь там  
там я не знаю  
что я мандельштам  
что я женат  
что велик

что нелеп  
что доедаю за птицами хлеб  
2023

Эстетический эффект от стихотворения усиливается по мере его прочтения и достигает максимальной силы на последней строке. Причем если все сказанное в предыдущих – по поводу женатости, нелепости, величия, самой фамилии «мандельштам» – хорошо известно любому любителю поэзии, то по поводу того, что Мандельштам доедал за птицами хлеб, лично мне неизвестно, и даже если кто-то из мемуаристов такое и писал (в чем я все же сомневаюсь), то в любом случае эти слова о Мандельштаме воспринимаются в стихах в каком-то не буквальном, а обобщенно метафорическом или символически-возвышенном смысле. Прежде всего, в них предельно сжато и, я бы сказал, гиперболически выражен образ «нищеты» поэта, но эта нищета (в буквальность которой все же трудно поверить) тут же оборачивается нищетой духовной. Сам Мандельштам в программной ранней статье «О собеседнике», со ссылкой на пушкинское «Птичку Божию», которая «не знает / Ни заботы, ни труда», писал, что эту птичку «связывает “естественный договор” с Богом – честь, о которой не смеет мечтать самый гениальный поэт». И хотя Мандельштам в той же статье предупреждает против отождествления пушкинской «птички» с поэтом, сам же, говоря о связи птички с Богом, гласу которого она внемлет, прежде чем запоет, и поэт с Провиденциальным собеседником, некую параллель между поэтом и этой Божией птичкой проводит. Но и помимо этой статьи, как известно, Мандельштам «вопичивался», например, в щегла в одноименном стихотворении. А другие поэты то сравнивали его с молодым орлом (Цветаева), то писали, что в его обличье было «нечто птичье» (Тарковский с чужих слов). Все это хорошо известно.

Если же вернуться к последней строчке стихотворения Вячеслава Попова, то доедание Мандельштамом крох с птичьего стола вкупе с первой ассоциацией с нищетой порождает вторую – с духовной нищетой, когда уже не только и не столько обычный хлеб, но и – это самое главное – словесные крохи даются поэту, пусть и не непосредственно как птичкам Божиим – от Бога, но как-то косвенно – как остаток от этих посланных Богом птицам, по евангельскому слову, даров (ср. Мф. 6, 26).

Хорошо, допустим, что эту строчку следует понимать так или примерно так. Но ведь в стихотворении сказано, что Мандельштам «там» ничего этого, равно как и остальных фактов о себе самом, «не знает». Какая разница, доедал ли он за птицами крохи, в метафорическом и/или символическом смысле, если это, как и то, что он вообще поэт (не говоря о женатости и прочих предикатах), он «там» не знает? А ведь именно сообщением об этом как будто и является, так сказать, «содержание» стихотворения.

Но напомним сами себе, что мы имеем дело со стихами, и здесь (как учит тот же Мандельштам) содержание вовсе не сводится к тому, что принято таковым считать в других формах речевого высказывания. Обратим внимание на детали. Прежде всего на то, что стихотворение представляет собой диалог, большая часть которого – ответ «мандельштама», который... не знает, что он – мандельштам и всего прочего. Уже это удивительно и парадоксально: как это он не знает всего этого, если он же здесь и сейчас обо всем этом говорит, что он этого не знает? Как это вообще воспринимать? Как риторический прием? фигуру речи? Ведь на самом деле мы-то, искусственные читатели, понимаем, что это как бы внутренний диалог автора (ну, или его лирического героя) с самим собой, когда он и задает вопросы, и отвечает на них – от имени Мандельштама. Ни с каким реальным Мандельштамом, находящимся там, если под «там» понимать посмертие или Царствие Небесное, автор в коммуникацию не вступает – весь этот разговор он устраивает в самом себе.

Гм...не слишком ли самонадеянно со стороны нашего автора брать на себя такую роль? Почему же, когда читаешь стихотворение, такой вопрос в голову не приходит? Все оказывается убедительным и уместным, и остается задаться вопросом о причинах этого. Как это так получается, что один поэт говорит за другого, от его имени свидетельствует, что тот «там» не знает о себе практи-

чески ничего из своих главных и второстепенных предикатов, и нам не кажется это неуместным, надуманным и самонадеянным, но напротив, почему-то убедительно?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно еще внимательней снова прочесть стихотворение и признать, что это как раз с нашей стороны было слишком самонадеянно предполагать в нем смысл, который буквально в нем не прописан. Например, с чего это мы взяли, что «там» это какое-то посмертие, тем паче Царствие Небесное? О каком же «там» тогда в стихотворении идет речь? Буквально из него вычитывается лишь то, что «там» это место делания незнания; на вопрос: что ты делаешь там? следует ответ: там я не знаю... и дальше перечисляется, что именно отвечающий «не знает». Так вот и получается, что «там» это не какое-то неизвестное посмертие и не Царствие Небесное, о котором в стихотворении ни слова, но место делания не-знания.

Что это за незнание? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить, что в повседневной жизни мы зачастую отождествляем себя с совокупностью сказываемого о нас, т.е. со своими предикатами и социальными ролями: с родом своих занятий (допустим, поэт), с семейным положением (женат), с особенностями характера, поведения и внешнего облика, со своим именем-фамилией, а кто-то еще и со своим величием или малостью... Так вот, «там» в читаемом нами стихотворении это место делания незнания Я в качестве суммы своих предикатов. Я не знаю, что Я то-то и то-то... Иными словами, Я в нем выявляется как ни то, ни другое, ни третье... а нечто, точнее некто, абсолютно независимый от своих предикатов. Именно это, выявление нетождественности Я сумме своих предикатов, высвобождение его от такого отождествления и происходит в стихотворении, свидетельствующем об этом.

Причем именно эта нетождественность позволяет «ты», к которому обращается от имени «нас» («скажи нам»), живых, лирический герой, говорить от имени другого, в данном случае Мандельштама, так что это не воспринимается надуманно и фальшиво, т.е. как некий искусственный риторический прием. Ведь чтобы говорить нефальшиво за другого, нужно быть опустошенным от отождествления себя со *своими* предикатами. А чтобы это был все же другой, необходимо войти в его образ, отмеченный своими главными, узнаваемыми предикатами-чертами. Это вхождение, в свою очередь, возможно лишь при разотождествлении предикатов другого и его личного, неприкрашенного бытия, которое таким образом утверждается как таковое. Именно это, мне кажется, и происходит в читаемом нами стихотворении – утверждая другого в личном бытии, поэт утверждает в нем сам, открывая и нам, читателям, возможность поучаствовать в этом таинстве.

Эстетический же эффект от стихотворения достигает максимальной силы в тот момент, когда, свидетельствуя о личном бытии другого, автор, входя в его образ, разотождествляет его Я с самым возвышенным и духовным, что можно сказать о Мандельштаме, что он в своем творчестве (если не в жизни в целом) был причастником трапезы птичек Божиих. Личное бытие не тождественно даже лучшему из предикатов поэта – вкушению этих чудесных небесных крох, что в свою очередь возможно лишь, если это самое личное бытие, по-другому называемое Dasein (в собственном модусе его бытия), есть причастие Дающему эти крохи.

Так, не будучи достоверным свидетельством о бытии Мандельштама в Царствии Небесном, его спасении в этом, религиозном смысле – думаю, оно на это и не претендует – настоящее стихотворение можно считать своего рода актом спасения Мандельштама от слишком человеческого разговора о нем, будь то досужих читателей, современников или даже литературоведов<sup>1</sup>. Это мы («скажи нам») склонны смешивать личность поэта со всеми его предикатами, стихотворение же Вячеслава Попова – прекрасное напоминание о несводимости Мандельштама (на самом деле, и любого человека) ко всему, кем и каким он был или казался, к тому, что он делал, путь даже это и божественное пение. Это спасение Мандельштама от «нас» в себе самом (вспомним, что Вячеслав Попов вышел из Тартуской литературоведческой школы) и в каждом из его исследователей и читателей.

<sup>1</sup> Благодарю Татьяну Северюхину, переписка с которой помогла сформулировать эту мысль.

Ребенок, ангел и «самоубийца»<sup>1</sup>

## На даче

сашура плачет удивленно  
 кудрявый мальчик лет восьми  
 он смотрит ввысь сквозь крону клена  
 и шепчет ангелу возьми  
 он где-то слышал что слезами  
 невинных душ спасают тех  
 кто все решили сами сами  
 и это самый страшный грех  
 оказывается так просто  
 оказывается так легко  
 быть богом маленького роста  
 и уходить так далеко

2018

На буквальном уровне это стихотворение, похоже, о слезной молитве ребенка о самоубийце (вероятно, близком ему, родном человеке). Почему о самоубийце? Потому что это они (самоубийцы) «все решили сами сами». Не что-то одно решили сами, это было бы еще проявлением того, что называется самовластием, а всё... Т.е. как-то самовольно поступили в отношении всего, т.е. мира. Единственное, что тут приходит в голову – самоубийство. И оно, мотивированное именно таким образом – как сугубое проявление самости (сами-сами), т.е. того, что называется гордыней и считается самым страшным грехом.

В «сами сами» человек один, он сам себя конституирует, и это и есть первородный грех – самообожение, а ребенок вместе с ангелом. То есть мы имеем противопоставление: «Я и Я = Я есть Я» с одной стороны, и «Я и ангел = Я есть другой» – с другой.

Но вернемся к ребенку. В этой молитве о душе самоубийцы он и сам возносится горé, становится «богом маленького роста»; по слову Писания: «смирись пред Господом и вознесет вас» (Иак. 4:10). Еще тут обыгрывается, конечно, «будьте как дети» (Мф. 18:3).

Отличие от самоубийцы с его сугубой самостью (замкнутой на себя рефлексией), мальчик не один, он с другим (т.е. с ангелом), ведь это о малых детях в Писании сказано, что ангелы их предстоят пред лицом Божиим (Мф. 18:10). Молящийся мальчик – с ангелом, которому вручает свою молитву, свою душу, себя, свои слова...

Сашура, кстати, это уменьшительное от Александр, что значит муж-защитник, и Сашура оказывается таким маленьким мужем-защитником души того, за кого он молится.

Имя Сашура взято неспроста. В «цепочке» появления сокращения Шура ход словообразования такой: Саша – Сашура – Шура. То есть имя Сашура как бы содержит в себе два имени (ипостаси): Саша и Шура.

Таков, мне кажется, так сказать, сюжет стихотворения. Но если теперь обратиться к нему самому, то видно, что оно не является просто описанием этого сюжета. Оно, т.е. автор или лирический герой, вбирает в себя, овнутряет, так сказать, и этого мальчика, и этого неизвестного самоубийцу, и сам свидетельствует изнутри своего опыта (ведь это он говорит от первого лица, от себя):

оказывается так просто  
 оказывается так легко

<sup>1</sup> Настоящий герменевтический этюд написан при содействии Сарры Лепнанте.



быть богом маленького роста  
и уходить так далеко

Т.е., взяв тему из внешнего себе и как бы описываемого им сюжета, поэт свидетельствует уже от первого лица об этом опыте умаления и вознесения горé в молитве за гордую, самоубийственную душу.

Если перейти теперь к более философскому толкованию, то под таким мальчиком можно понять Dasein в собственном модусе бытия. Ангел мальчика – тот «друг», который соприущ такому собственному модусу бытия (так у Хайдеггера). Ангел сам молчит, мы его слов не слышим, но это молчание, которое есть абсолютное внимание – внимание того, о чем молится мальчик. Мальчик верит, что он обращается не в никуда, а к такому абсолютному вниманию.

Но самое сложное здесь понять «самоубийцу». Кстати, вот быть или не быть Гамлета было взвешено на весах самоубийства. Очевидно, «самоубийственное» это то же самое Dasein, но в модусе бытия в падении, но не просто в обычном падении и мирских заботах, но такое, что оно бунтует против своей конечности (смертности), самым радикальным для смертного образом – решаясь покончить с собой, уничтожив свой «мир».

И тут опять уместно вспомнить об имени Сашура, если и молящийся мальчик и самоубийца это одно и то же Dasein, то об этом как бы и намекается в этом имени. Сашура это уже не Саша, но еще не Шура, но при этом оно содержит в себе обе эти возможности (Dasein это бытие возможностей). Как пишет Хайдеггер, Dasein одновременно и в истине и вне истины, другими словами Dasein не может экзистировать и не падать. То есть получается, что процесс молитвы, как и самоубийство, это не какой-то разовый акт, а постоянная битва. Борьба против гордыни (das Man) за собственный модус бытия (нахождение в молитве с ангелом). Это, как мне кажется, и можно имплицитно увидеть в имени Сашура, в котором как бы сосуществует и Саша, и Шура.

Вот за такого самого себя (т.е. за Dasein в таком радикально не-собственном модусе) молится Dasein в модусе собственном. Молитва эта слезная, слезы омывают лицо, что соответствует очищению себя от несобственной самости. Это обновление, которое сопровождается удивлением. «Плачет удивленно». Т.е. плач с самого начала, с первой строчки, не горький, а экстатический, с выходом за пределы известного (что и значит удивляться, – слово в корне которого скрыт лат. deus «бог», divus «божественный», греч. θεός – тоже – бог). После этого и появляются строчки про ангела. Выйдя за пределы своей самости в молитве за другого (а в каком-то смысле – за свое же собственное гордое, отчаявшееся в мире, Я) мальчик-Dasein (в невинном, не-падшем модусе бытия), обратившись к ангелу, возносится в этой молитве горé, а стихи свидетельствуют об этом.

Коррелятом абсолютного внимания ко всему произносимому (в стихотворении такое внимание символизируется ангелом) является белый лист (или аналог его на экране), на который ложатся слова стихотворения. Это (изначально) tabula rasa – чистое ничто, без которого невозможно появление нового слова, свидетельства о нем. Dasein, омывающее свое лицо слезами, выходящее в удивлении за пределы известного (своего сознания) и молящееся о своем падшем, самоубийственном гордом Я, спасает его (конечно не в качестве гордого, а в качестве упраздненного в этой гордости и несобственности, смирившегося, принявшего свою ничтожность (не как угрозу и насилье, а как благодать) и свидетельствует об этом приятии.

В этом контексте название стихотворения «На даче» приобретает особый смысл – дача – по своей этимологии – нечто данное, дарованное. И стихотворение Вячеслава Попова оказывается свидетельством о таком вот пребывании в получении благодати – покаяния, смирения и вознесения горé.

Наконец, кудрявый мальчик Саша для русского читателя, хотим мы того или нет, отсылает к кудрявому «нашему всему». Конечно, не о нем здесь речь, но скрытый отсыл к нему задает и еще одно измерение – там, где смутно мерещится Пушкин, там речь о поэзии. И, как мы могли убедиться, говоря о молитве, поэт одновременно свидетельствует нечто важное и о поэзии (что и не удивительно). Сашура молится о душе-самоубийце и выступает защитником ее, а поэт, вос-



ходящий к архетипу поэта, кудрявому мальчику, оказывается защитником своего слова, своего стихотворения, которому внимает как ангел молитве – белый лист, или всякий читатель, который, чтобы стать другом поэта, его ангелом, сам должен стать как этот белый лист – воспринять в чистоте и непосредственности слово поэта.

**«Ночные бабочки» В. Попова: Тень, образ и истина**

\*\*\*

ночные бабочки сновали  
 вокруг большого фонаря  
 как бы случайными словами  
 о самом главном говоря

и мама мне сказала тоже  
 о боже сколько их смотри  
 и как они на снег похожи  
 как будто там зима внутри

2023

С первой же строки стихотворение погружает в свою многомерность – кто-то скажет двусмысленность, но словес, как мы увидим, больше, чем два.

Итак, «ночные бабочки». Тут, хотя дальше речь как будто идет исключительно о насекомых, снующих вокруг фонаря, мало-мальски искушенный читатель не может отделаться от отсылки (подспудной и пока глухой, т.е. непонятно почему возникающей и куда ведущей) к известному эвфемизму, о котором, если сам не знает, может прочесть в Википедии: «Так как на “вечернем промысле” в больших городах проститутки нередко собирались у фонарей на перекрестках улиц, появилась шутивная аналогия с бабочками, летящими на свет». На первый взгляд эта подспудная отсылка не работает, оставаясь как бы тенью от ясного образа – насекомых, снующих вокруг фонаря.

Что ж, оставим пока эту «тень» в тени и переведем внимание на образ. Точнее, вернемся к тексту стихотворения. Но и тут мы увидим, что вместо «картинки», вида денотата (т.е. насекомых вокруг фонаря) оно погружает нас в словесную реальность. В первой, отчасти и во второй строфе речь вообще, прежде всего, о говорении, сказывании. Бабочки «сновали», словно говорили словами, «мама» «сказала тоже» (т.е. бабочки говорили, и мама тоже «сказала», как и они). Мы оказываемся в сплошной словесной стихии. При этом «сновали» прекрасно рифмуется со «словами». Рифмуется не только фонетически, но и по неявному смыслу. Заглянем в Фасмера и восхитимся этимологическим богатством слова «снова́ть»:

От др.-русск. сновати, сную, русск.-церк.-слав. сноути, сновж; ср.: болг. сновá «набираю основу ткани, сную», сербохорв. сновати, снујем, словенск. snováti, snújem «набирать основу ткани; замышлять», чешск. spoutí, snují, spovátí «набирать основу ткани; готовить, замышлять (перен.)», словацк. spovat' «мотать, наматывать», польск. snuć się, snować się «снова́ть, блуждать, шататься», в.-луж. spowaś, н.-луж. spowaś, snuś, snuju «набирать основу ткани». Родственно латышск. spaujis «петля», spauja, готск. sniwan «спешить», sniumjan – то же, др.-исл. snúa «вертеть, мотать, плести», spnidg «поворот, узел».

Если кратко суммировать эту сокровищницу этимологии, то – в контексте нашего стихотворения – получается замечательная корреляция между зрительным образом снующих вокруг источника света ночных бабочек, говорящих о самом главном, и набиранием основы, конечно же словесной (речь-то идет о говорении!) ткани. Здесь сразу вспоминается древняя аналогия между

ткачеством (причем, что важно, набиранием основы!) и стихо-творением. Аналогия обновленная, например, в «люблю появление ткани» Мандельштама и его же «чище правды свежего холста / вряд ли где отыщется основа».

Итак, как это часто бывает в настоящей поэзии, мы имеем дело с таинственной корреляцией между тем, о чем говорится, и что происходит в акте творчества. Бабочки спуют, словно говоря о самом главном... Но говорит-то здесь и сейчас нам стихотворение. И получается, что образ-символ этих самых спующих бабочек имеет полное соответствие со словами стихотворения, с его появляющимся текстом. Текст и есть та ткань, та основа, которая ткется в акте творчества, а поэту просто открылся образ для этого – спующих ночных бабочек.

Что до «случайности» этих слов («как бы случайными словам»), то здесь сразу вспоминается из пастернаковского «Февраля»: «И чем случайней, тем вернее / Слагаются стихи навзрыд» и/или, обязанная тому же Пастернаку, строфа из Андрея Вознесенского: «Стихи не пишутся – случаются, как чувства или же закат. / Душа – слепая соучастница. / Не написал – случилось так». Оба текста о поэзии.

Что ж, неужели мы пришли к довольно банальному выводу, что самое главное для поэта (о чем, вроде как, и «говорят» эти ночные бабочки) это его творчество? Это могло бы быть так, т.е. можно было бы сделать такой вывод, если бы не было второй строфы, с неожиданным появлением «мамы» и всего этого разговора о «зиме», если бы не было, наконец, оставленной нам в тени, «тени» ночных бабочек в значении «проституток».

Поэзия, появление словесной ткани, освобождение слова от плененности вещами (денотатом) и обращение этих денотатов (здесь ночных бабочек) в образы-символы самих же набираемых как основу словесной ткани слов, конечно важно для поэта. Но всякий поэт, прежде всего, человек. У него есть, например, мама. Если бы он не был кроме поэта еще и «просто человеком», вряд ли бы он был не-поэтам так уж интересен. Мы же, я полагаю, имеем дело с чем-то поважнее, чем свидетельство о «слове как таковом» (хотя и с этим, конечно, тоже). К этому, общезначимому, смыслу стихотворения Вячеслава Попова теперь и обратимся.

Самое время выволить из тени «ночных бабочек» в их «теновом» смысле. Разумеется, ни о каких проститутках в стихотворении речи нет. Но это, ушедшее в тень, значение словосочетания, с которого начинается стихотворение, дает основание предположить, что бабочки (не проститутки, а насекомые, которых мы опознали как образы-символы слов стихотворения) говорят о чем-то, тенью чего и являются спующие под фонарями жрицы любви. А самым важным, о чем эти бабочки-слова стихотворения говорят, является, получается, любовь. Чтобы понять к кому и какая именно, обратимся ко второй строфе:

и мама мне сказала тоже  
о боже сколько их смотри  
и как они на снег похожи  
как будто там зима внутри

«Мама» лирического героя присоединяется к бабочкам в говорении. Бабочки говорят «о самом главном». Мама восклицает: «о боже». В поэзии это не просто выражение удивления-восторга, по крайней мере, у нас есть право, даже обязанность читать слова в стихотворении, воспринимая их не в конвенциональном, повседневном, а в прямом и простом смысле. В таком смысле «о боже» – не просто выражение удивления, а восторг Божественным и свидетельство о нем. И вот это-то и является самым главным, не признаваемым, разумеется, рационально, но интуитивно прозреваемым и засвидетельствованным таинством, имеющим отношение уже не к «тени» и к «образу», а к истине.

«Ночные бабочки», спующие около источника света (неизъяснимо – до сих пор не вполне понятно науке как – притягиваемые к нему), в этом контексте являются образами-символами душ, устремленных к Божественному источнику света. Бабочка – известный символ души. «Жрицы

любви», снующие под фонарями для привлечения клиентов, – лишь тень таинства любви к Божественному, а бабочки, снующие вокруг фонарей открываются в стихотворении как образ-символ, говорящий об этом, самом, по его словам, главном.

Но причем здесь снег и зима, о которых присоединившаяся к бабочкам «мама» говорит во второй строфе (она переходит от удивления числом их к их сходству со снегом и, наконец, сравнению того, что «внутри» этой реальности, с зимой)? Как объясняют энтомологи, сами по себе ночные бабочки, как правило, не белые, но получают свою окраску от света. Белыми они кажутся именно из-за отражающегося от их поверхности света. Так «паче снега» убеляет, по словам псалмопевца, Бог (Пс. 50:9). И если Матфей пишет о Христе на Фаворе: «одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:2), то Марк пишет, что одежды Его «сделались блистающими и весьма белыми как снег» (Мк. 9:3). «Белое как снег» – это цвет Фаворского света, цвет Преображения, не случайно священники в этот день облачаются в белые ризы.

«Мама» из стихотворения Вячеслава Попова (не образ ли одновременно его собственной души?) восторгается на мгновение именно этой реальностью, свидетельствуя вместе с бабочкам-словами об этом, самом главном таинстве любви к Источнику Света, восхищаясь этой как бы «зимой», а на самом деле зимой для чувственного, а для духа – Божественной реальностью «убеления паче снега».

И если лирический герой пастернаковского «Февраля» прорывается из зимы в весну, чуть ли не в лето, торопит их, то лирический герой с героиней стихотворения Вячеслава Попова на мгновение восторгается из лета (когда еще бабочки снуют под фонарями!?) в созерцание зимы, но зимы словесной и божественной.

При этом само сравнение летающих к огню насекомых с хлопьями снега, встречается в «Зимней ночи» того же Бориса Пастернака: «Как летом роем мошкара / Летит на пламя, / Слетались хлопья со двора / К оконной раме». Тем замечательней, насколько по-другому оно раскрывается у Вячеслава Попова.

У Пастернака все пронизано эросом, не только центральная строфа с ее сплетением рук, ног и судеб, но и слетание снежинок к дому и мошкары к пламени свечи. В восьмистишие же Попова в центре не эрос, не стремление бабочек к фонарю, а их убеление в его свете до вида снежного, соответствующего не просто эросу и страсти (они есть, но сокрыты, достаточно вспомнить тему любви), а, если угодно, бесстрастной страсти.

«Как будто там зима внутри» – говорится в конце стихотворения. Это о множестве похожих на снежинки ночных бабочек. Но ведь отдельные слова стихотворения, как было отмечено выше, – коррелируют этому множеству бабочек-снежинок, снующих вокруг фонаря и созерцаемых лирическим героем и его мамой, которая присоединяется к ним в говорении о самом главном. Они (мама, восхитившаяся этим множеством, и оно само) относятся друг к другу как единое и многое, но именно так относятся друг к другу стихотворение как целое и множество составляющих его слов. Эти слова («ночные бабочки») «внутри» стихотворения, которое (его две строфы) само похоже на бабочку. Стихотворение говорит и как целое (подобно маме или душе-бабочке лирического героя), и каждым своим, подобным ночной бабочке, словом. Говорит и таинственно свидетельствует о бесстрастной страсти убеления божественным светом.

### **Жерло небытия. О стихотворении В. Попова «Пробойна»**

#### **Пробойна**

молчать совсем не больно  
дышать не тяжело  
под ложечкой пробойна  
небытия жерло

потусторонний вакуум  
все досуха всосет  
со звуком одинаковым  
и SOS тут не спасет

2021

Каким духом, т.е. каким настроением пронизано стихотворение? Мне кажется, духом решимости принять дело (в данном случае эту самую правду о пробоине как жерле в нас небытия) так, как оно есть. Это решительное заступление<sup>1</sup> в небытие, жерлом которого пробоина является.

В чисто языковом плане стихотворение, похоже, – разработка идиомы «сосет под ложечкой». Из обозначающего явления психофизиологического толка (сосет под ложечкой от голода или от страха-тревоги), эта идиома, точнее ее поэтическая разработка, возводится в измерение экзистенциальной онтологии. Голод, страх и тревога – все это следствия смертности и тленности человека, и вполне закономерно обобщить это «сосание под ложечкой» в «жерло небытия». При этом от идиомы остались порознь «сосание» («досуха всосет») и «ложечка», под которой и локализуется «пробоина». Не то ли это, кстати, место, откуда, взяв материал, Бог, согласно библейскому сказанию, сотворил для Адама жену (Быт. 2:21)? Но не будем сейчас об этом.

В отличие от психофизиологического «сосания под ложечкой», как заявлено с первых двух строк, проявление этой экзистенциально-онтологической «пробоины» ни с какой болью (как бывает при голоде) или затрудненностью дыхания (что бывает при страхе и тревоге) не связано. Оно и понятно, коль скоро речь идет не о психофизиологии, да и вообще не о голоде и страхе. А о чем?

Почему молчать не больно, и как это связано с жерлом? Мне кажется, «жерло» из этого стихотворения переключается с самым знаменитым «жерлом» русской поэзии – державинским – «то вечности жерлом пожрется...». Молчать (в данном контексте – не писать стихи, шире – не творить то, что «остается чрез звуки лиры и трубы...») не больно, если помнить об этом жерле, ведь все равно все в нем пожрется... Но парадоксальным образом, как у Державина его горестные строки о жерле вечности, в котором пожрется даже лучшее в искусстве, оказались сами великим произведением искусства, так и у Вячеслава Попова его стихи, свидетельствующие о том же, но под несколько иным углом понятом жерле, оказались замечательным произведением искусства. Молчать не больно, когда заступаешь в жерло небытия, а стихотворение является свидетельством об этом – парадоксальном сочетании молчания и речи.

Итак, в читаемом нами стихотворении державинское «жерло» всецело интериоризируется. Из чего-то внешнего и мифологического – внеположенной истории вечности – это жерло становится частью человеческого устройства. А из жерла вечности превращается в жерло небытия. То самое, которое не где-то там... а здесь, у каждого из нас, под боком, точнее, под ложечкой. Тут вспоминается, кстати, еще одна идиома – «удар под ложечку», что примерно то же, что «удар под дых». После такого удара перехватывает дыхание. Здесь же, напротив, «дышать не тяжело». Правильное отношение к пробоине небытия не перехватывает дыхание (в данном случае – дыхание поэтическое, творческое), но облегчает его.

Некогда Осип Мандельштам написал об акмеизме как о «заговоре сущих против пустоты и небытия». В стихотворении Вячеслава Попова упомянуты оба – небытие, жерлом которого является «пробоина», и пустота под своим латинским (что только подчеркивает ее инаковость) именем «вакуум» (точнее, «потусторонний вакуум»). «Жерло небытия» оказывается формой присутствия потустороннего в имманентном. По-другому, небытия в сущем. А это значит, что заступление в небытие, принятие уже здесь и сейчас, что жерло небытия присутствует в самой

<sup>1</sup> Экзистенциал из «Бытия и Времени» Хайдеггера.

сердцевине нашей жизни, и от него не спасет никакая попытка подать сигнал SOS – «спасите наши души», такое заступание является залогом соприкосновения с потусторонним.

При всей, казалось бы, зловещести этого образа – жерла небытия как вселенского вакуумного насоса, который всосет досуха все (да еще с одинаковым звуком), в действительности общее ощущение от стихотворения не зловещее. Да, элемент чего-то грозного (ужасного в хорошем смысле) в связи с таким взглядом на человека, безусловно, есть. Но стихотворение не случайно начинается со свидетельства, что молчать не больно и дышать не тяжело. Оно написано из этого состояния, которое (как мы узнаем из следующих строчек) дается мужественным заступанием в жерло небытия, в то самое «место» присутствия потустороннего в имманентном, обращенность к которому является обращенностью к фундаментальной основе человеческой экзистенции. Так в заговоре сущих против пустоты и небытия и то, и другое привлекается на нашу сторону.

При такой обращенности «потусторонний вакуум» досуха всосет всю влагу sentimentalного и слишком человеческого, оставив только суть – сухой остаток, на котором лежит печать потустороннего. Так что и стихотворение будет свидетельством о нем (без нецеломудренного заглядывания в его замочную скважину). Эта одна и та же печать, лежащая на всем, подлежащем жерлу небытия, соответствует одинаковому звуку, с которым все это всасывается. Первоначальное значение «жерла» – горло. И все, что подлежит жерлу небытия, в другой перспективе исходит из него.

Настоящая поэзия – свидетельство. И если по внешнему описательному смыслу стихотворение о какой-то «части» человеческого устройства, которая называется «пробоиной», то в стихах эта пробоина устами лирического героя (о нем мы не знаем ничего) свидетельствует о себе самой.

И тут вспоминается другая пробоина – из стихотворения Мандельштама про пробитую тараном роспись Леонардо «Тайная вечеря». Там были еще слова: «стенобитную твердь я ловлю»...

Александр МАРКОВ

ФИЛОСОФИЯ МЕЖДУ СОБЫТИЯМИ:

*К выходу тома стихов и тома прозы Виктора Кривулина*

**Виктор Кривулин. Стихи: 1964–1984 / сост., комм. О.Б. Кушлиной и М.Я. Шейнкера. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023. – 552 с.**

**Виктор Кривулин. Проза / сост., комм., послесловие О.Б. Кушлиной и М.Я. Шейнкера. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023. – 296 с.**

О второй культуре говорить по-прежнему трудно, хотя уже три десятка лет это выражение звучит, конечно, не во всю силу, но как необходимое для осмысления произошедшего в годы застоя. И дело не в том, что средний читатель в нашей стране был заочником в школе культуры: битничество, 68 год или нью-эйдж усваивались поспешно, фрагментарно и иногда в измененных формах. В конце концов, роман как универсальный жанр может дать представление, что изменилось в людях, в общественной жизни и в отношении к искусству за это время; и читатели переводных романов, даже не романов первого ряда, вполне это усваивают, медленно, но верно. Как в XIX веке можно было в далеком городе России читать Жорж Санд и Диккенса в «Отечественных записках», так можно было и в 1990-е читать, например, Кундеру. Заочник может сдать экзамены очень хорошо, – но проблема здесь другая.

Дело в том, что любая культура производит режимы собственной открытости: это может быть протест против старшего поколения, это может быть резкий выход в сторону других культур, например, индийской в случае нью-эйдж, это может быть пересборка самой культуры с новой открытостью – скажем, с ликвидацией закрытых психиатрических учреждений, как в итальянском законе Базальи, или реабилитации «аутсайдеров» Ирвингом Гофманом. Проводником такой открытости может быть деятельность одного человека, например, Мишеля Фуко с его критикой состояния тюрем, может быть и целое событие, например, фестиваль Вудсток. Конечно, внутри этой открытости не исчезают бытовые проблемы, но существенно другое – эти режимы производятся бесповоротно.

Вторая культура, и одним из лидеров, и одним из летописцев которой был Виктор Кривулин (1944–2001), не могла произвести таких режимов по многим причинам. «Поколение дворников и сторожей» выглядит романтично только для тех, кто настроился на ту же волну и отчасти постиг дзэн. На самом деле работа дворником или сторожем или условным корректором в медицинском издательстве (что больше для москвичей, а не для ленинградцев) – это всегда некоторое сужение опыта. Ведь ты должен именовать себя дворником для проверяющих, а, скажем, на квартире устраивать квартирный концерт или чтение, где ты тоже как-то именуешь себя. В мемуарной прозе и эссе, вошедших в том прозы, Кривулин как раз показывает, как буддисты или адепты карнавалов Серебряного века должны были постоянно взрослеть, постоянно меняться, чтобы просто именовать себя свободно, а не вынужденно.

Если при свободном развитии культуры происходит простое оборачивание изнаночной стороны в лицевую, и например, рок-группа, игравшая в гараже, через несколько лет играет на стадионе, то во второй культуре ты должен сам в своем именовании себя показывать лицом, при этом оказываясь на изнаночной стороне собственного бытия. Ты представляешь себя великим дворником, и более того, друзья признают тебя таковым; но и как создатель машинописного жур-

нала или религиозно-философского клуба ты будешь великим куратором для своих, ты переключаешься от одной изнанки к другой. Конечно, изначная сторона жизни может в себя включать разные формы дендизма, то есть показного увлекающего поведения, но как раз один из главных вопросов нынешних и будущих историков второй культуры – как работал уже этот дендизм, в какие складки жизненных вопросов и дискуссий он попал.

Отличие Кривулина от многих деятелей второй культуры, даже от Сергея Стратановского, «Изборник» которого тоже вышел в «Издательстве Ивана Лимбаха» в той же серии, не столько в организаторском таланте, на который обращают внимание сразу. Это прежде всего умение увидеть тот самый дендизм во всём, в самой повседневности бывшего Петербурга. Когда О.Б. Кушлина создавала книгу «Страстоцвет», думая о лечении мужа, она писала в ней о том новом, экзотическом Петербурге, который конструировала сложная политика колонизации и самоэкзотизации в начале XX века. На крышах города надлежало выставлять кадки с зелеными экзотами летом, это должны были быть сады Семирамиды, сказкой, которую город рассказывает сам о себе. Весь город становился Ораниенбаумом, теплицей, зимним садом, и распространение зимних садов было и распространением особой технологии жизни, технологии всегда экстравагантного дендизма, разделенного с экзотическим цветком.

Во втором издании книги «Страстоцвет» можно прочесть стихи Кривулина об этих растениях, и уже видно, как повседневность Петербурга начала века благоухала выразительностью, экспрессивностью, так что даже вянущие цветы влекли к себе только любовь. Это и было настоящее проявление дендизма, энергии которого и могло хватать как тепла, обогревающего в холод застойного времени. Другие деятели второй культуры Ленинграда восприняли скорее следствия этой энергии, экспрессию, экзотико-мистическую или саркастическую. Но свойство Кривулина в том, что он, будучи самым трагичным из всех поэтов Ленинграда, никогда не расставался с той странностью начала века, изломанностью или небывалостью. Никакого прощания с символизмом, акмеизмом или футуризмом у него не было – весь сарказм и скепсис даются у него внутри ситуации этого художественного направления, а не извне. У Кривулина не было оценивающего взгляда, который говорит что-то вроде элегического «твой выбор был не так уж плох, покойница Гуро» (Всеволод Зельченко) – более несовместимое с делом Кривулина трудно придумать.

Конечно, знатоки поэзии Кривулина найдут многие знакомые стихи в вышедшем своде. Поэтому можно только говорить, как дело Кривулина прочитывается сейчас, в размышлениях, что же это было. Очевидно, например, что экранный медиум кино, допустим, фильм «Лето» К. Серебренникова, может скорее указать в сторону бывшего, чем раскрыть его содержание: не случаен рефрен в этом фильме, что всего этого не было. Да, музыканты могли сыграть в электричке, но создать Вудсток своими руками не могли. Но ограничения экранного медиума снимаются, как только мы переходим к текстовому медиуму, к письму о письме, и читаем в стихотворении Кривулина 1976 года «Четвертая эклога»:

Здесь мы теснились – вывески, огни,  
в буквальном смысле овцы среди букв...  
Четвертая эклога. Не обув  
сандалий буколических, ступни

босые месят речку Оккервиль.  
Хрустит на Пряжке новая вода.  
Все – Иордан – и эта речь, когда  
ее опустошил казенный стиль,

когда она вместилище, но смысл,  
в ней поместившись, пуст – и пустота  
стремится к заполнению. Места  
тогда становятся пространствами. Космизм

имперского сознания – как сарай,  
где мы отброшены в довифлеемский мрак –  
здесь мы. Здесь тоже мы, стада овцесобак –  
то жалобное бляенье, то лай...

(с. 81)

«Четвертая эклога» Вергилия была понята христианами как пророчество о рождении Иисуса, сам Вергилий думал просто о новом Золотом веке, о возвращении Астреи, когда бескорыстное, чистое действие рождения младенца заставляет весь мир пережить собственную чистоту и честность, выпрямившись и обретя достоинство в зеркале собственного любования. После такого стихотворения нельзя говорить о превращении в начале XX века Петербурга Гоголя и Достоевского, Петербурга желтых казенных зданий, в Петербург руинированный, экзотический и чувственно насыщенный, как просто о ребрендинге города. Это просто схождение двух прочтений «Четвертой эклоги»: можно сказать, что и создается новый мир Астреи, с искусственными руинами и интимной близостью зданий, но можно сказать, что все пророчества исполнятся, и буквы будут и на табличке Пилата, а не только на свитках вифлеемских ангелов.

Это всегда происходит в петербургском тексте Кривулина, например, читая в описании шпалеры «Шуршит бумага так приятно. Мычит корова вдалеке.» (с. 313) – мы не должны забывать судьбу Марии-Антуанетты, доившей корову в подойник из севрского фарфора. На самом деле, конечно, скорее за нее доили крестьяне, работавшие в Трианоне, для тела королевы есть вспомогательные тела, но всё равно профессиональные участники придворного маскарада оказываются тем более дальними участниками единой трагедии.

Читатели Кривулина помнят и «месяц молодой» Серебряного века, и желтизну правительственных зданий, искажающих «черты архангела и лики Серафима» (в стихотворении «Ла Тур») горожан до неузнаваемости, но эти два образа Петербурга, холодный официальный и холодно-юный, с холодком узнавания – только часть одной большой трагедии. О ней стихотворение холодного декабря 1981 года:

теперь никто уже, когда по дну кастрюли  
скрежешет ножик соскребая пригарь –  
никто уже доклада не прочтет

о Вечной Женственности в колокольном гуле  
сходящей на страдающий народ  
для эротически-одушевленных игр

какая боль чтение мемуаров  
любовница поэта – но в кого  
ее оставшиеся годы превратили!

забывшееся в угол существо  
от механических несчитанных ударов  
живого места нет на теле



в душе ни проблеска ни вздоха  
а все туда же – блок! поэзия! душа!  
источник вечной юности и смысла!

дух революции! да нам настолько плохо  
что как бы ни истлела ты, ни скисла  
все – даже бездыханной – хороша.

(с. 235)

Кроме первого плана, истории культуры XX века, в стихотворении есть и явный второй план. Блок, конечно, отдал дань всей эстетике Gesamtkunstwerk, тотального произведения искусства, имеющего литургический смысл. «Свою обедню отслужу», при всей незатейливости слова «обедня», обращает вагнеровские дворцы в абрамцевские избы. Но здесь литургическая чаша заменена пригоревшей сковородкой, колокольный гул оборачивается историей глухоты от побоев, мистическая темнота в духе Гюисманса – это отсутствие проблеска, и наконец, плащаница тела истлела. Это стихотворение не только о насилии, но и о пережитом осквернении; осквернении самих слов, так что можно только восклицать, говорить почти что только вздохами после всего, что произошло. Церкви, обращенные в овощехранилища, и поэзия Блока, прочитанная под конвоем комментариев про «музыку революции» – всё части одной большой трагедии.

Поэтому «сложность» Кривулина – это на самом деле сложность не семантическая, а драматическая. Это сложность композиции, в которой нет достаточно ясных механизмов движения действия, где действительно Гамлет может, как у Пастернака, остановиться у дверного косяка, а машина с богом зависнуть нелепо, под грубые крики режиссера. Кстати, амбивалентное на первый взгляд отношение Кривулина к Пастернаку советского периода на самом деле относится к тому, что Пастернак безупречно рассматривал работу театральной машинерии, хотя бы в культуре времен «Чехова, Чайковского и Левитана». Пастернак видел трагическое как измерение своей, но не общей жизни, и «дети страшных лет России» в финале его романа – это дети, как раз узнавшие историю Тани-бельевщицы и потому невольно рассмотревшие механизм трагедии извне, а не только изнутри. Тогда как у Кривулина механика трагедии с самого начала находится внутри тела и только там она остается, как в стихотворении осени 1978 года «Сестры», которое как раз про «осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана»:

Красный уголь черепицы  
среди зарослей сезанна,  
чеховское чаепитье  
на веранде – и вязанье  
нудящего разговора –  
как мы все-таки болтливы!

Женщины, они сильнее  
в эту призрачную пору  
превращения идеи  
в тему, в заросли крапивы,  
в доски дачного забора...

Женщины – рабыни чтива,  
труженицы и творцы беседы

о годах восьмидесятых,  
об каком-то общем деле!

Сад, погрязнувший в цитатах,  
красный уголь черепицы  
в синеве лесного света,  
голос нравственницы, чтицы,  
шелест платья и страницы,  
шорох птицы и газеты.

(с. 197)

Контаминация общего дела в духе «Что делать?» Чернышевского и в духе проективной философии Н.Ф. Федорова здесь совсем не случайна. Это как будто мир, в котором все должны быть счастливы, мир пастернаковских контаминаций, в духе «на пире Платона во время чумы». Не то что Кривулин отвергает контаминации; скорее, для него они существуют только как компромисс, как интермедия в момент, когда трагедия еще не набрала своей силы.

Вместо компромисса контаминации Кривулин создает коллаж. Например, в стихотворении июля 1974 года из разных аспектов Катулла, которые известны читателю: бранчливый Катулл, Катулл, смеющийся над влюбленной старухой, Катулл юный и обиженный, наконец, Катулл, просто обосновывающий канон всей европейской лирики – превращать одиночество в свободу, чтобы превращать свободу в умение услышать чужой голос и разделить с другим человеком голос, душу и судьбу:

Унижение женщины и торжество –  
через тысячелетия – мерной латиницы.  
Где отвержен Катулл – распяемый голос придвинется  
к недалекой подруге его.

Рядом с Лесбией – ночь обладания временем,  
ночь волны и пружинящей силы хребта.  
Через тысячелетия слышна хрипота  
в голошени любви и презренья.

Изойди материнскую бранью, Катулл!  
Ей волнительный образ дочерний  
на зеркальной воде, в одинокой свободе влечений –  
где старушечий абрис мелькнул.

(с. 137)

Как мы видим, краткое изложение тем Катулла с самого начала встроено в медиум текста, в то, как латинская образованность и упорство латинского языка, опережая друг друга, доходят до наших дней. Латиница сохраняется как общее достояние, но и пружина влюбленности, ночной бессоницы, продолжает срабатывать как голос, срывающийся на хрип.

Если шепот влюбленного становится песней, то эта песнь при обиде переходит не в ругань, а в хрип. Такова акустическая физика Кривулина – и вероятно, одним из ключевых направлений в кривулиноведении должно стать это исследование необходимых законов звука. Ругань Катулла – только его попытка постфактум справиться с этим хрипом, вернуть развертку, показанную всем изнанку жизни, к какому-то миру лиц бранящихся и выясняющих отношения. Но Кривулин везде

видит сложную изнанку, вдруг решившую обернуться всей судьбой европейской лирики или всей судьбой экзотизированного Петербурга.

Если в томе стихов читатель найдет много нового, то в томе прозы – не просто неожиданное, но небывалое. Метароман «Шмон» читателям известен, но в этом томе есть и метаповести, и метарассказы, и метаэссе. Кривулин исследует, как медиум письма может вдруг переходить в медиум голоса, например, стука пишущей машинки, отвечающего на «стук» доносчика, и вновь оборачивается медиумом письма, которое уже увереннее любого предшествующего письма «второй культуры». Это действительно мирозидательное письмо, хотя бы оно казалось почти застольными разговорами.

Вот начало одного из рассказов, со сложным названием и подзаголовком:

*Новый год я встречал в квартире, окна которой выходили на речку Карповку, в огромной пустой комнате. Я и ученик Павла Филонова, коллекционер К. (это действительно первая буква его фамилии, а не кафкианская анаграмма), стояли у окна. Рама в стиле модерн, линии «либерти» и проч.: почему-то, кроме нас двоих, в комнате никого не было, на улице – тоже. К. сказал, что Филонов жил в соседнем доме и что он зимой 40 года, кажется, самой суровой лет за сто, шел ночью от художника к себе домой, на Пески, шел пешком в метель и что Филонов жил тогда очень одиноко, в огромной пустой комнате, окна которой выходили на речку Карповку.*

(Проза, с. 121)

Здесь есть не просто ключи, но можно сказать, двери ко всему, что говорит Кривулин. Это и очень хороший риторический зачин, где мы начинаем в конце смотреть глазами Филонова: если удастся в одной фразе переключить зрение – это лучшая и идеальная риторика. Но здесь же и история: 1968 год был для Кривулина рубежным, это и студенческая революция, и подавление Пражского движения, и как раз тогда Кафка в СССР попал под подозрение – он был любимым писателем пражских студентов, наравне с Камю, как свой, как родной, как необходимый. И оказывается, что модерн с его прогрессизмом, мечта о свободе стиля «либерти», вполне измерен календарем самых холодных зим.

Но эти зимы, зимы до хрипоты, зимы одиночества, людоедского одиночества Филонова, только и позволяют письму состояться. Письмо – это перечень, фиксация, кто есть, а кого нет. Оказалось, что больше никого нет. «Пир королей» Филонова – письмо или открытка, отправленная из мира, где кто-то был, в мир, где никого уже нет.

Но сейчас мы видим, что и письмо доходит, как то тепло, которое способно растопить и суровую зиму. «Жизнь – поруганная сказка», сказал Пастернак в письме Нине Табидзе. Два тома, подготовленные О.Б. Кушлиной и М.Я. Шейнкером, возвращают жизнь из поругания, дают ей голос, свет и возможность иногда писать.

ВНЕДРЁННЫЙ МИЛЫЙ НЕОПОЗНАННЫЙ,  
ИЛИ ВОСКРЕШЕНИЕ ГЕТЕРОНИМА

**Фёдор Терентьев. Неполное собрание стихотворений. – Ростов-на-Дону, Самиздат, 2023. – 179 с.**

Что можно сказать сегодня, из 2024 года, о Фёдоре Терентьеве? Завершился самый яркий мистификационный поэтический проект последнего времени. Он закономерно привлёк немалое внимание в нашу эпоху, не склонную к литературной имиджевости. Все годы, начиная с публикации первых стихов в паблике (2016), в литературных кругах не прекращали витийствовать по этому поводу. Одни приводили аргументы в пользу существования, другие яростно отрицали факт «всамделишности» поэта, «умершего во время одиночного похода в горы Копетдага от заражения крови», – а последние заодно терялись в догадках, кто же автор странной игры, и прочили на эту роль самых разных персонажей поэтического сообщества. «По мере того, как материалы выкладывались в группе “Ненужное никому” (правильное название – «Фёдор Терентьев». – Б. К.) во ВКонтакте, посвящённой творчеству Федора Терентьева, даже самым закоренелым скептикам становилось ясно, что это не выдумка, не фальшивка, не мистификация», – уверяла Елена Мордовина в статье на «Современной литературе» в 2021 году<sup>1</sup>. Реальность опровергла её представления: «В конце года случилось признание, что неподцензурный позднесоветский поэт Фёдор Терентьев – мистификация. Загадочный и талантливый проект, который в наступающем году будет исследоваться и обсуждаться» (Александр Переверзин в итогах 2023 года на сайте Prosodia)<sup>2</sup>.

Парадоксальность проекта сегодня кажется важным осмыслить на нескольких уровнях. Это, во-первых, уровень рецепции: мы имеем дело с беспрецедентным случаем, когда стихи, распространявшиеся их неизвестным создателем только в одном вк-паблике (с не слишком, впрочем, достоверными свидетельствами существования в виде автографов и сканов дневников), влияли на ряд молодых поэтов, становились разнообразными формами заимствования: скажем, одарённый Евгений Мартынов (2003 г.р.) явно находится с ними в плодотворном диалоге. Пронзительные строфы о Терентьеве есть в стихотворении Стаса Мокина (2004 г.р.), явно также не чуждого мистификационности: «и ничего-то нет на свете / и темирканов умер зря / терентьев фёдор мой терентьев / мы знали – не было тебя / ты был придуман тем и этим / внедрён в мозги простых людей / они поверили как дети / а ты в траве лежишь меж соснами / и нет войны в твоей стране / мой милый милый неопознанный / ну выйди к нам на свет скорей». А Григорий Генিকেва (1994 г.р.) породил на основе стихов Терентьева яркий центон, включающий и переклички с текстами обоих, и мотивы гетеронимии, выхода из собственного «я»<sup>3</sup>. Можно вспомнить и проект «Иннокентий Младенцев», созданный несколькими молодыми авторами и явно родственной терентьевскому, и другие примеры.

<sup>1</sup> Мордовина Е. Фёдор Терентьев: «10 зим назад я был молод и умел любить» // Современная литература, 21.02.2021. Цит. по: <https://sovlit.ru/ujti-ostatsya-zhit/tpost/eixg531361-fyodor-terentev-10-zim-nazad-ya-bil-molo?ysclid=lt30qim46n673159754>

<sup>2</sup> <https://prosodia.ru/catalog/shtudii/itogi-2023-goda-glazami-poetov/>

<sup>3</sup> См. об этом в моём обзоре периодики на «Годе литературы»: <https://godliteratury.ru/articles/2021/08/23/obzor-literaturnoj-periodiki-avgust?ysclid=lt31082efn125427066>

Во-вторых, уровень этический. В самом «существовании» (даже при, как выяснилось, несуществовании) «внедрённого милого неопознанного» поэта поражает факт абсолютного бескорыстия. Столь долго таиться, не открывая собственного имени, публикуя стихи под именем выдуманного персонажа и не отвечая на предложения и вопросы возможных публикаторов, – это, однако, говорит о стоической аскезе. (В 2020-м, занимаясь публикацией подборки Терентьева и статьи Мордовиной на «Современной литературе» в рамках нашей мемориальной рубрики, я так же не получил ответа с электронного адреса, указанного в паблике, как не получили его многие другие, кто пытался достучаться до истины). И, увы, сама утрата этого публичного бескорыстия разочаровывает – как будто пала какая-то идеалистическая цитадель, связанная с существовавшей в природе возможностью (неважно даже, с чьей стороны) публиковаться только «заочно» и не открываться литературной общественности вовсе. Что ж, чудес подобного рода, наверное, и правда не бывает, – а если что-то кажется таким чудом, то развеивается какое-то время спустя. Сейчас, задним числом, стало доподлинно известно, что немногочисленная часть литературной общественности была посвящена в секрет Полишинеля – но молчала, скрывалась и таила прежде всего по воле самого автора мистификации<sup>1</sup>. К моменту написания рецензии предметом внутренних обсуждений стало готовящееся интервью поэта в журнале «Пироскаф», анонсированное главным редактором журнала Александром Переверзиным в январе 2024-го; пока что номера нет в открытом доступе, я не видел его, но, возможно, оно уточнило бы многие мои формулировки.

Всё это можно было бы посчитать родом пиара, знакомым нам по шоу-бизнесу, – да простят мне ассоциации с попсой, но слишком явно вспоминается история из моего детства с певицей Глюкозой, которая первоначально «существовала» только в виде компьютерного персонажа – и в нужный продюсеру момент «приоткрыла личико» и стала ездить на гастроли, что только спровоцировало дополнительный интерес публики. Поживём – увидим; интуиция подсказывает, что в случае Терентьева речь идёт о более сложном и глубоком явлении, чем последовательная проектность, но какие-то выводы здесь делать пока рановато. Антагонисты проекта раздражались, впрочем, не на оттенок шоу-бизнеса, а скорее противились «серебряновечности» – педальированию поэта-маргинала, который активно впускает в свои стихи мотивы смерти, алкоголизма и романтической отъединённости. Можно было услышать и суждение о слишком явном сходстве придуманной биографии с реалиями жизни Леонида Аронсона – схожие годы жизни, гибель в горах. Другая же часть аудитории, доверчивая, спорила о простой опечатке «путает труп» (вместо разумеющегося «плутает») как об ошибке тех, кто набирал стихи с рукописей реального поэта, и приводила этот пример в качестве доказательства реалистичности... Понятно, что вне эстетической оценки стихов все эти споры воспринимать нельзя (а они, стихи, диво как хороши и способны этим нивелировать любые привнесённые факторы; и, в конце концов, настоящее значение имеет только их уровень), однако и аргументы «против» ясны вчуже.

В-третьих, парадоксальна книгоиздательская история. Поражают сами обстоятельства выхода книги, логически вытекающие из этой мистификации: «Неполное собрание стихотворений» – это первый в истории литературы случай, когда стихи анонима изданы волей энтузиастов просто из идеалистического представления об их талантливости. А самому «Терентьеву», с которым всё это, естественно, не согласовывали, насколько мне известно, пришлось покупать свой сборник за собственные деньги.

Что же о стихах? Здесь остро чувствуется чтение советской поэзии («Ночь в Дербенте рисовал / Твоего лица овал» – сознательная ли аллюзия на Павла Когана? А к чему отсылает «Неба синий-синий цвет», знающим и объяснять не надо), её интонации и приметы эпохи; возможно, всё это слегка форсировано в целях «создания» поэта-семидесятника. В то же время ощущаются

<sup>1</sup> Не забудем и про определённые жесты, связанные с акцентированием существования Фёдора Терентьева для аудитории. Так, создатель проекта разместил в своём паблике информацию о предложении по расшифровке неизданных рукописей поэта (написав стихи, естественно, своим почерком). На это, естественно, многие «клюнули».

усиленные прививки метареализма и Бориса Рыжего – те свойства поэзии Терентьева, которые ранее всех других свойств убеждали меня в «несуществовании» советского маргинала. «Б..ди с филфака» – это ведь «облеплен музами с филфака» Рыжего, но такую аллюзию ещё разглядеть надо, да и когда найдёшь её – поди докажи. В этой книге чувствуется некоторый нажим пера, связанный с усиленным вхождением в образ маргинального советского поэта, не чуждого трансформации лирических клише. Но, поскольку в 2024-м мы знаем то, что знаем, строки Терентьева воспринимаются с двумя эмоциями: первая – это скепсис следовательского толка (в попытке разглядеть приметы «проектности»), вторая – удивление (тем, насколько это самоощущение нетипично для нашего современника). Всё это немного раздваивает читательское сознание. Скажем, читая строки «летит газетная бумага / и пролетает мимо нас» изнутри веры в проект «Фёдор Терентьев», мы неизбежно думаем о советской официальной печати. Воспринимая же это с позиции современного поэта (про которого уже известно, что довольно молод и реалий семидесятничества не застал), – не можем маркировать иначе, кроме как вхождение в образ; газетная бумага сегодня анахронизм в публикационном контексте, да, пожалуй, и в любом другом. В то же время стихотворение имеет ошарашивающий финал, который может прочитываться только как концентрация чистейшего вещества поэзии: «И обретает человек / глаза, размокшие, как глина / на руках библейских рек». И это, как ни крути, внушает доверие к стихам прежде мыслей о «проекте» и «сделанности».

Здесь вообще будто бы срastaются два пласта, они же провоцируют два уровня читательской рецепции. На одном плане словесный ряд, связанный с советской эпохой и дистанцированием от неё. Он несколько демонстративен, он словно держит поэта в узде, ни на минуту не давая забыть о «принадлежности» этой эпохе (или о необходимости внушить читателю это представление?). Второй пласт касается тяги к более сложному, суггестивному образу, который уже не инкрустация, а подлинность. Переключаясь на первый уровень восприятия, думаешь, что строка «ни до ни после не буду издан» для современного поэта, пишущего вполне «публикабельные», талантливые стихи, – проявление странного фатализма в сегодняшнем многоголосии и немногом шизофреническом литературном пространстве, где, по ехидному выражению Игоря Волгина, «российский читатель – самый гуманный читатель в мире: поэт абсолютно любого уровня найдёт свою аудиторию». (Жизнь, как мы видим, опровергла и эти представления – о «неизданности»). Ощущая этот нажим пера, иногда видишь подчёркивание влияний, которое и выдаёт льва по когтям: в стихотворении «Ещё луна в бутылке пива...» упоминание Заболоцкого предшествует вполне подражательному по отношению к «Столбцам» отрывку «Я трогал лапками чернила, / царица мух меня любила, / над телом розовой севрюги / мы танцевали вальс и буги, / в глазах поэта дым вился... / Но это описать нельзя». Фрагмент очевидным образом выпадает из канвы узнаваемой и самостоятельной поэтики, в которой на уровне сборника нет сомнений; но важно даже не это, а само «выныривание» из возможности упрёка в подражательстве, которое достигается путём упоминания предшественника, эдакого выхода с открытым интертекстуальным забралом<sup>1</sup>. Такие моменты выдают филологическое чутьё и не соотносятся с образом маргинала, про которого нам было сказано о его полной изоляции от литературной среды<sup>2</sup>. А строфа «Как всё это, Господи правый, / красиво, что сердце в дыму / стучится в грудные оправы, / и я открываю ему» немедленно воскрешает в памяти: «Мне кажется, тесно и строго / и так уже в доме моём, / как будто под Господа Бога / часть зданья сдаётся внаём» из позднего творчества Дениса Новикова. Слова Михаила Айзенберга «за скобками звучит голос самого стихотворения» как нельзя лучше охарактеризова-

<sup>1</sup> Здесь, конечно, возможна и иная интерпретация: палимпсестуальное написание как бы «по канве» Заболоцкого, намеренное заимствование его интонации – и, соответственно, постановка себя в один ряд с классиком.

<sup>2</sup> Тут мне, впрочем, подсказывают, что Терентьев учился на филфаке; вряд ли там, конечно, в советское время читали Заболоцкого, но в любом случае, мысль о «полной изоляции» оставляю под вопросом. Смотря как понимать эту «изоляцию».

ли бы эту потрясающую по чистоте и рецептивной силе терентьевскую строфу; однако датировка «1972» под текстом Фёдора не слишком коррелирует с новиковской поэтикой 1999-го, создаёт неизбежную путаницу верха и низа – с разумеющейся оговоркой, что, мол, в случае Терентьева вообще недоказуемы слишком явные влияния и растворены в крови стиха.

Упоминание «партии» в двух случаях становится метафорой, которая позволяет разделить эти словесные пласты и уровни читательской рецепции – один условно нацеленный на суггестивность, другой – соотносимый с маркерами советской эпохи. «А можно женщину любить, / а можно партию – но сложно» – вполне понятный советский компромисс того, кто на пару минут колеблется, стоит ли пойти в ногу в невыносимых строевых условиях. Иное – в строках «мой Господь, не прошу, только вижу твоих подопечных / на партийных ножах, и я чувствую смерть животом». Тут уже речь о более сложном многослойном образе, сочетающем фразеологизм «на ножах», пророчество (предвестье будущей многопартийности) и расширенный ассоциативный спектр эпитета «партийный» – и советская партия, и «партийность» в более широком, «групповом» смысле. Но если подчёркнутые свидетельства собственной маргинализации («Чушь, я в грязных ботинках / и дырявом плаще. / Я в таких поединках / не бываю вообще») часто выглядят всего лишь как «наклейки», своеобразные маркеры принадлежности к неподцензурному бытованию, то демонстративные мотивы, связанные с эстетизацией смерти, в какой-то момент начинают откровенно раздражать: «Шнур от бритвы завязать / В осторожную петлю» – всё это мы уже проходили с Борисом Рыжим, чьё родство со смертью было менее выпяченным и более тонко инкрустированным в личностный сюжет поэта. Но там закончилось гибелью, а здесь воскрешением, – и, что говорить, сам выход из «гибельной эстетики» делает проект «Фёдор Терентьев» как бы похороненным, ретроспективным, заставляет видеть в нём оттенок поэты. Было бы цинично и преступно говорить, что такой проект должен быть оправдан трагическим исходом, – но несомненно одно: в ореоле гетеронима эти тексты смотрелись, сейчас же побуждают рассматривать его как бы задним числом. «Посмертное» существование автора (оно же – его воскрешение в роли «живого» современника) словно зачёркивает проект, лишает его слитности на уровне биографии и эстетики, оставляя чисто социологический интерес к написавшему всё это человеку. Этот интерес – даже не из серии «что ещё напишет и от какого имени?» (хотя и это, безусловно, крайне любопытно), а – «для чего писал, публиковался, входил в образ?»; «что испытывал, рождая в наше время строки, явно не соответствующие этому времени, изобилующие приметам советского?». Следовательская же позиция, которая в таком случае имманентна, способна либо утомить (хочется как будто отодвинуть странного автора от нашего проживания этих стихов; его анонимная и вместе с тем настойчиво сопровождающая фигура чрезмерно избыточна по отношению к ним), либо пробудить недолговечный сыщицкий дух – в зависимости от темперамента читающего. Но этот контекст, «неимманентное» восприятие, некоторая работа сознания на разрыв – теперь навеки с книгой. И от этого её будущим исследователям никуда не деться.

«неудавшийся поэт. / Безработный, в общем, циник / из марателей бумаг, / завсегдадата по-ликлиник» – такой образ преподносит нам стихотворение, датированное 1970-м годом; образ поэта, движущегося к концу. «Анонсированные» Александром Переверзиным в 2024-м обсуждения ведут к началу и, чувствуется, могут открыть много интересного. Но началу чего? Этапа, в котором будут другие стихи под собственным именем? Периода, в котором останутся лишь интервью и поэтическое – публичное, по крайней мере, – молчание? Мы заинтригованы самим фактом перерождения – и не собираемся сходить с детективной позиции, да и при всём желании это было бы сложно. Здесь открывается почва и просто для филологического сравнительного контекста – уже исследовательского, а не следовательского. Что ж, такой путь разговора о стихах «тех» и «новых» (если новые-таки будут), может быть, и более продуктивен. Многим из нас удалось стать другими поэтами, став поэтами уже сложившимися (самый очевидный пример последнего времени, наверное, Екатерина Симонова, и кардинальным образом изменившая свою поэтику, и придумавшая мистификацию под именем Анны Арно). Отчего бы и не воскреснуть в новом



качестве погибшему в горах советскому маргиналу? А поговорить с автором в жизни, конечно, было бы жутко интересно – и что-то подсказывает: такая встреча может опровергнуть всё ранее сказанное в этой рецензии. Пути гетеронима и его живого автора неисповедимы.

Р. С. Интервью в «Пироскафе» я всё-таки прочитал – уже после написания этой рецензии, но решил ничего не исправлять в ней, а добавить этот постскрипtum. Благо эти краткие ответы создателя проекта не опровергли предыдущие рассуждения.

Есть не известные мне ранее подробности: «Студенты и аспиранты писали работы по его творчеству, проходили чтения и музыкальные вечера его памяти» (из предисловия Александра Переверзина).

Из того, что кажется несомненным (в том же предисловии): «Аргументы против существования Фёдора Терентьева очевидны: поэта такого масштаба достать из ниоткуда практически невозможно; нет ни одного упоминания о поэте у исследователей той эпохи; человек, который ведёт страницу Терентьева в соцсетях, не называет себя, что само по себе странно – если ты обнаружил архив выдающегося автора, нет объяснений держать себя инкогнито. При этом многим хотелось верить в существование загадочного поэта, стихи которого приправлены лёгким флёром опьянения, одиночеством, тоской, туманом и экзистенциальными поисками, жизнь которого прошла в неизвестности и закончилась ранней трагической смертью. Терентьева читали, о нём спорили, ждали публикации новых стихов из архива».

Из любопытного (что, кажется, подтвердило мои догадки о намеренном создании образа неподцензурного маргинала): «В начале я по-доброму иронизировал над мифами и некоторыми представлениями о типичном образе “простого советского гения”. Сканы черновиков, винные пятна и прочее». Так отвечает создатель проекта.

Вот совсем неожиданное – без интервью поэта не «вычитаешь» этого из текстов: «Иногда доводилось жить на территории нефтяного месторождения. Могу сказать, что географическая обособленность тех мест, их автономность и пейзаж с маленьким человеком в огромном снегу – всё это точно не прошло для Терентьева бесследно».

Он же – о перспективах издания собственной книги: «История уже завершена, и сейчас таких планов нет. Появится ли книга в будущем, сказать трудно». Но книга появилась (пусть и без ведома «Терентьева»). Про возможные публикации под собственным именем – ничего нет.

Взгрустнулось при чтении этого фрагмента о том, как сплетни литпроцесса способны оказаться деструктивными: «Но после того, как некоторые люди стали утверждать, что лично знали Терентьева или читали его стихи в девяностые годы, я больше не видел смысла продолжать эту линию. К любым мемуарам с тех пор отношусь с большой осторожностью».

31 год. По образованию – историк.



Александр ЛИВЕНЦОВ

О САМОУБИЙЦАХ С ЛЮБОВЬЮ

**Евгений Чижов. Самоубийцы и другие шутники. – М.: Редакция Елены Шубиной, 2024. – 256 с.**

Книга откровенная, личная во многом, но это не автофикшн, и исповедальной приторности в «Самоубийцах» тоже нет. Если речь и идёт о прошлом, автор самым эгоистичным образом оживляет его для себя – без купюр и самоцензуры. Где в тексте личная авторская биография, где «по мотивам жизни», а где чистый вымысел – можно только гадать, но автор с его реальной судьбой тут, конечно, присутствует. Грань, то ли разделяющая его и главных героев, то ли, наоборот, объединяющая их, проведена искусно – вот так, например: «... мне хочется, пользуясь нашим с ним особенным знакомством, позволяющим мне обращаться к нему напрямую через время и расстояние, спросить...»

Сам текст удивил не столько слогом, сколько способностью влиять на процесс чтения. Обычно я читаю либо долго и въедливо, либо бегло и без участия – тут же, в случае Евгения Чижова, текст диктует свою скорость – нормальную среднюю, но изменить её невозможно. Какой-то гипноз. Сядишься в поезд (у окна, конечно) и едешь без возможности ускорять или замедлять темп. Замечаешь это через пару страниц, уже в пути, бок о бок с героями, и кажется, что это и есть темп жизни, переложенный в прозу, – шестьдесят секунд в минуту, шестьдесят минут в час.

Дальше уже ко второму, к третьему рассказу, пытаюсь разобраться, в чём тут дело, я заметил такую особенность: проза Евгения Чижова – это особый сплав действия и описания. Обычно писатели их разделяют, тут же

– своеобразное единство: и действия, и описания идут одним потоком. Не встречал такого. «...всё это было чрезмерно, избыточно, превышало возможности его восприятия...» – пишет Чижов о чувствах героя, а мне хочется отчасти применить это к его прозе, за исключением того, что ничего избыточного в тексте нет, баланс соблюден.

Другой любопытный момент. Худлит последнего времени стремится подпустить красок, разогнать сюжет, накалить обстановку перед драматическим событием. В «Самоубийцах» роковые повороты, а они есть в каждом рассказе, – поданы без предварительного нагнетания, и это жизненно – этому веришь.

Если говорить о героях, то женские образы как будто сильнее мужских, или как минимум безрассуднее. «...её шёпот напоминал шипение бикфордова шнура...» – так и слышишь, как эта жена вот-вот взорвётся вблизи мужа. Женщины Евгения Чижова саркастичны и властны, но не безразличны, что обычно соседствует с сарказмом. Интересно наблюдать, как внутри текста они меняются – уже к концу рассказа едкая натура обнажается, и именно под влиянием робких мужчин. Тогда читаешь в тексте: «...открыл в ней какой-то ей самой неизвестный иллюз жалости, сквозь который она хлынула так, что хоть плачь...»

Вообще, книга пронизана, точно сквозняком, почти интимным чувством человеческой слабости – тем, что обычно и в себе хоронишь, и от других хочется скрыть. Эта тема, мне кажется, под бóльшим запретом, чем секс, наркотики и насилие – всё представлено в книге. Болезненная тема, в «Самоубийцах» её много.

Фантастика и мистика в чистом виде отсутствуют, но отголоски есть. Не уверен, что это можно назвать магическим реализмом – другое слово хочется выдумать, но тем не менее читатель найдёт тут и видения в трипах; и ожившую – утянувшую в себя целиком память;

и ангела-хранителя в лице уставшего московского старика – а может, не ангела вовсе, а Бога; и деревенская знахарка посетит читателя; и тень смерти в интерьере старой дачи – вот в этом: «...как этот дом жил без людей своей жизнью, так и картины прекрасно обходились без зрителя...»

Отдельный восторг – описание быта больницы в рассказе «Ревность»: всё – от постельцев больничной палаты до «чуткого» персонала, от богатства ароматов до намеренно отключённой кнопки экстренного вызова, чтобы не мешала сну медиков на посту. А боль, – которой тут, среди больничных коек, отведена особая роль, – это боль от той самой ревности из заглавия, и уже после от синяков, переломов и послеоперационных швов.

Ещё ярче сразу в двух рассказах («Автостоп-1984» и «Алина. Памяти 90-х») описаны реалии 80-х и 90-х. Фактуры в ту эпоху хватало. Чижов представил её богато, но приятно, что эта фактура в первую очередь служит историей, иначе оба текста, как и многое теперь, надо было бы назвать скорее документальными. Тут же от первого до последнего слова художественная проза.

А то, что жизнь была суровой, озвучено внятно: «...у вас тут просто выжить – уже удача...» – между делом сообщает один герой другому. Как с этим не согласается. И про характер нашего человека в «Самоубийцах» сказано достаточно – хорошая цитата, пусть и большая: «...не могли и не хотели стоять в стороне от этого распада, наоборот, они делали всё, от них зависящее, чтобы опередить его и разложиться раньше, чем их накроет стихия общего разложения. Иногда мне казалось, что между нашими соседями по квартире идёт соревнование в саморазрушении...»

Больше всего о саморазрушении сказано в рассказе «Боль», наверно самом важном в сборнике – весь рассказ пропитан ей и её загадкой – чем ближе к кульминации, тем больнее. Главная наша беда последних лет делит страну на части – рассказ об этом. Один герой прячется сам от себя, в тени, в глуши, и умирает от отсутствия боли, другой идёт наёмником и полу-

чает её сполна на остаток жизни. Беспощадное равновесие. Так и кажется, что открылся ящик Пандоры, и ожило что-то такое, от чего больно даже, когда этой боли не чувствуешь.

Закончить обзор хочется на послевкусии, какое оставила сама книга – и это светлое чувство, светлая печаль, настолько, что многие рассказы хочется сразу перечитать. Не верится, что в наши дни появляются тексты, которые, пусть ненадолго, рассеивают печали. И ещё – книга не без юмора. Я не писал об этом выше, выделяя героев, темы и стиль, но исправлюсь – ирония рассеяна в тексте, на каждой странице её хватает. Да не обижу этим примером всех будущих и бывших жён: «Жена у меня была... в доме пять комнат, куда ни пойду, везде она!»

И финальная точка в сборнике хороша – последнее предложение... даже эти ребята отметились в книге. Не ожидал. Молчу, никаких спойлеров.

*Борис КУТЕНКОВ*

ТКАНЬ СТАНЕТ ТЕНЬЮ

*Об одном стихотворении  
Валерия Шубинского*

Издательство «Пальмира» под конец 2023 года выпустило книгу новых (2020–2023 гг.) стихотворений Валерия Шубинского «Контракт». В сборнике много близкой мне полифонии голосов, при которой речь лирического героя передаётся призракам и предметам невидимого мира («я смотритель воздушных строек / не закончивший ни одной / я стрижей военный историк / кладовщик кладовки ночной»); много вслушивания в голос пространства и стремления узнавать его ответы («Протянет руку, там огни, / берёт огни рукой. / О чём не говорят они? / О том, кто ты такой»). Но сегодня мне хотелось бы остановиться на одном стихотворении – «Это было моею игрушкой...» – наиболее, что называется, зацепившем; поставленное финальным в ком-

позиции книги, как завершающая сильная семантическая позиция, оно, видимо, символизирует нечто манифестарное, какое-то важное сообщение. Какое же? Для попытки полного анализа мне показалось необходимым обратиться к более широкому контексту высказываний автора – задействовав его работу как историка литературы и роль учителя и интерпретатора молодых авторов. Пусть читатель простит мне множество «сторонних» отсылок – прекрасно отдаю себе отчёт в том, что такой метод непривычен в критике и его результатами могут стать произвольность, привнесение «другого» контекста в то, что, возможно, не столь родственно стихотворению, живущему по собственным законам. Однако при всём этом думается, что неразъёмен именно *контекст* высказываний, принадлежащий разом поэту, историку литературы, критику и преподавателю, – в давней, десятилетней давности рецензии на книгу Шубинского<sup>1</sup> мне уже приходилось писать, что для его поэтической деятельности равно важны все эти ипостаси. Итак, ниже ряд наблюдений – а насколько они верифицируемы именно по отношению к стихотворению (которое, разумеется, никогда не равно «высказыванию в стихах»), – решать читателю и, само собой, автору.

Приведём текст стихотворения.

Это было моею игрушкой,  
дни отмеряло кукушкой,  
в рост человекий росло лопухом.  
Это было чужими стихами –  
а я это трогал руками,  
собственным делал стихом.

Поднималось, вздымалось, кривилось –  
не собой и собой становилось,  
наполнялось водой решето.  
Пело расстроенным хором  
ради краткого эха, в котором  
сплавились что и ничто.

Выше, пиратские трели,  
тише, дурацкие дрели,  
вдруг да провертите дырку во тьму,  
и деревья вернутся в коренья,  
плащ станет тканью, ткань станет тенью –  
мне-то уже ни к чему.

Интонационно и лексически текст перекликается со стихотворением Елены Шварц «Это было Петром, это было Иваном...», одним из последних написанных ей (2009), вошедшим в её уже посмертно изданную книгу «Перелётная птица» («Пушкинский фонд», 2011). Рефрен чрезвычайно заманчив: анафора «это было...» уводит в прошлое, в призыв драгоценной ностальгии, в то же время позволяя отделить в этом прошлом главное от наносного с построфной чёткостью. Заметно, что такое единоначалие – осознанно ли, неосознанно перекликающееся с Шварц, – привлекает Валерия Шубинского: подобная структурность свойственна и второй части цикла «Серых цветов синева», вошедшего в книгу «Контракт» («это было песнею о дожде / а нынче это нигде / это было слово “вода” / а теперь это никогда» и др.). Есть ли тут целенаправленная композиционная память о Елене Шварц, одном из важнейших для автора поэтов и учителей, которому посвящён не один его литературоведческий и мемуарный текст<sup>2</sup>, – на этот вопрос может ответить лишь сам автор. Несомненно, однако, что именно такая анафора сразу задаёт не только особого рода поэтическую энергию, но и композиционный порядок взаимоотношений с прошлым. Здесь чувствуется и пози-

<sup>2</sup> См. например, такое наблюдение, в котором есть нечто общее с биографическим сюжетом самого Шубинского: «В сущности, она была так сосредоточена на своих стихах – на главном, – что интерес к чужому творчеству был с её стороны почти жертвой. Но она знала, что читать и слушать чужие стихи, обсуждать их с авторами, рекомендовать их журналам и издателям – её долг. Этим, возможно, злоупотребляли». Цит. по: *Шубинский В. Вне главного. Из литературных воспоминаний. Елена Шварц. Сайт «Горький»*, 2 июня 2020 (<https://gorky.media/context/vne-glavnogo/>)

<sup>1</sup> *Кутенков Б. За полмига до срыва. Рец. на кн.: Валерий Шубинский. Вверх по течению. М.: Русский Гулливер, 2012. Цит. по: <http://gulliverus.ru/kutenkov-6.html?ysclid=lrzlb7gdzx391611568>*

ция историка литературы – книга «Контракт» предельно исторична, многие стихи снабжены датами (когда речь идёт о важнейших «общечеловеческих» реалиях последних лет); в этом смысле обращение к Елене Шварц – и общий, хотя и такой разный контекст перелома времён – обозначает и своеобразный конец исторической эпохи, который знаменует 2022-й. Говоря предельно опрощённо, Шварц своим «Это было...» прощается с жизнью, Шубинский – с эпохой. И всё же в рецензируемом стихотворении есть неочевидный контекст обращения историка литературы к молодому поколению, за которым чувствуются преемственность и надежда<sup>1</sup>. (Такая надежда исключает возможные автоэпитафические контексты, задаваемые рефреном и последней строкой, но к этому мы ещё перейдём.)

Обращаясь к молодым авторам в своих критических высказываниях последних лет, Валерий Шубинский часто отстаивает традиции андеграундной поэзии позднесоветского времени, которые некоторое время назад казались ему безвозвратно утраченными – и надежду на возвращение которых он связыва-

<sup>1</sup> Мне кажется, точную формулировку о важной для Шубинского историко-культурной функции, о значении преемственности можно найти в его статье о Дмитрие Максимове, опубликованной в «Ленинградской хрестоматии» Олега Юрьева и в книге критических статей Шубинского «Игроки и игралища» (М.: Новое литературное обозрение, 2018). Вот его слова из этой статьи: «В позднесоветской России были люди, взявшие на себя функции посредников между (широко понимаемым) Серебряным веком, высоким модернизмом, а через него и всей "мировой культурой", с одной стороны, и жадным до неё, до этой культуры симпатичным молодым варварством – с другой. <...> Взвзвисясь транслировать в будущее, однако, опыт и ценности не столько своего поколения, сколько предыдущих». Цит. по: *Шубинский В.* Неприятные стихи, или О мистере Хайде профессора Максимова // Ленинградская хрестоматия (от переименования до переименования): маленькая антология великих ленинградских стихов. Сост. Олег Юрьев. СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. С. 160. Так и деятельность Шубинского – мост между ценностями позднесоветской андеграундной поэзии и нынешним «молодым варварством».

ет именно с новым, только пришедшим в литературу поколением. Об этом – переключаясь со словами Пастернака, сказанными Мандельштаму: «Кончается то, чему дадут кончиться. Возьмёмся продолжить – и не кончится...», – он пишет в предисловии к книге Ростислава Ярцева «Свалка» (издательство «Формаслов», 2023): «Богатейший опыт андеграундной модернистской поэзии казался ушедшим если не в песок, то в дальний шкаф культуры, откуда он – при удаче – когда-нибудь будет извлечён; удел старших поэтов – допевать его песню, зная, что она не получит непосредственного продолжения. Признаюсь, я и сам с сожалением готов был принять эту ситуацию. И вдруг всё изменилось. Появилась целая плеяда молодых авторов, для которых этот опыт оказался живым во всей своей полноте, которые подхватили весь репертуар образных, интонационных, просодических ходов недавно прошедшей эпохи. Но эти авторы не эпигоны. Они живут в ином времени языка, у них иной человеческий и зрительно-чувственный опыт...»<sup>2</sup>. Шубинский – тот, кто верит в плодотворность опыта, подхваченного молодыми. В рамках обсуждения поэта Евгения Мартынова (р. 2003) на «Полёте разборов» им сказаны такие горькие и вместе с тем ободряющие слова: «Евгений Мартынов – поэт того же поколения, что и Злата Яновская. Того поколения, которое появилось накануне постигшей нас катастрофы. Ребята, мы не смогли сделать так, чтобы ваша жизнь не началась с этого, но мы очень на вас рассчитываем во всех отношениях – в том числе и в поэзии. Я очень многого жду от этого поколения»<sup>3</sup>. В комментарии к составленной мной подборке поэтических дебютантов автор говорит о своей вере в новое поколение ещё бо-

<sup>2</sup> Зд. и далее: *Шубинский В.* Думать весть вместо смерти. Предисловие к книге Ростислава Ярцева «Свалка: стихотворения и поэмы». М.: Формаслов, 2023. С. 3 – 8.

<sup>3</sup> Обсуждение Евгения Мартынова на «Полёте разборов», 20 марта 2022. Формаслов, 15 мая 2022. Цит. по: <https://formasloff.ru/2022/05/15/polet-razborov-serija-73-chast-2-evgenij-martynov/?ysclid=lrzm0c3nwf999955463>

лее сердечно и настойчиво: «По-моему, такого талантливого поколения не появлялось давно, и это ведь далеко не все, даже не половина – есть ещё дебютанты 2020 и 2019 годов. Ребята, только вы продержитесь подольше. Не впадайте в растерянность перед легкостью писания “просто стихов” и трудностью обретения себя, как некоторые из тех, кому сейчас под 50. Не саморазрушайтесь, не сходите с ума, как некоторые из нынешних сорокалетних. Не клюйте на модную хрень, как некоторые тридцатилетние. Впрочем, если кто-то (неизбежно) и сойдёт с дистанции – кто-то останется»<sup>1</sup>. Стихотворение – и сама переключка с Еленой Шварц, другом и учителем, – приобретает, таким образом, черты поколенческой рефлексии, становясь неразрывной частью орбиты целостных взаимосвязей – в которой есть ученик (Шубинский по отношению к Шварц), историк литературы и, наконец, учитель, напутствующий молодых авторов внутри совершенно определённой системы эстетических координат, – последняя ипостась как раз наиболее явно заметна в последнем катрене, который мы ещё проанализируем. Что из этого «во-первых», а что «во-вторых» и «в-третьих», выяснить невозможно, да и излишне; думается, что поэтический текст – лучший плацдарм для органичного взаимодействия всех элементов системы.

Было бы странно, повторимся, рассматривать стихотворение как некое «содержание», вне тёмных углов, которые как раз и интересны в поэзии. Попробуем лишь осторожно приблизиться к тем метафорам, что не могут быть разгаданы до конца, оставаясь порождениями непредсказуемой лирической экзистенции. Почему, например, «плащ станет тканью»? Можно увидеть здесь противопоставление «готовой», не близкой Шубинскому поэтической материи, заранее данного слова (того, что Мандельштам в «Разговоре о Данте» называл «вколачиванием готовых гвоздей, именуемых “культурно-поэтическими” образами») – не-

коему движению слов, сущностей, способных к неожиданной трансформации; такое прочтение вполне соответствует сюжету книги «Контракт». «Поднималось, вздымалось, кривилось» – энергичный ряд глаголов прекрасно отражает суть лирической «ткани», которая под рукой опытного мастера становится способной к вращению по собственным законам. В то же время здесь, опять же, видятся черты учительской рефлексии: «плащ» как создание целостен, в отличие от ткани, приобретающей черты плодотворной неопределённости. Тут вернёмся к словам Шубинского о надежде на поколение молодых авторов, но и разглядим за этим большее: присущую ему веру в то, что поначалу кажется незаметным – и чему играет на руку сменяемость времён. «Трогаемое руками» оживает, будучи озарено стихией таланта; чужое превращается в своё в спектре индивидуального голоса; интонации и приёмы, казавшиеся архаическими, вновь способны оказаться работающими.

Такая интерпретация позволяет видеть в стихотворении семантический переворот, едва ли не парадокс; по логике, ткань должна стать плащом, а не наоборот, но когда подлинное стихотворение стремилось к соответствию бытовой логике? В то же время слово «тень», которым заканчивается череда превращений в стихотворении Шубинского, вновь воспринимается в контексте историко-литературной и поколенческой рефлексии – и становится в закономерный ряд со своими лексическими предшественниками, «тканью» и «плащом». Слово семантически неоднозначное – и в литературном процессе XX века в том числе: вспомним «Тень, знай своё место» из сказки Евгения Шварца. В своей мемуарной книге «Без купюр» (вышедшей в АСТ, Corpus, 2017 г.) Карл Проффер переосмысливает этот сюжет «теневого», приводя шварцевское высказывание уже как цитируемое Вениамином Каверинным – обращённое им к Надежде Мандельштам после выхода её мемуаров (которыми, как известно, были взбодуражены современники). Как многолетний собеседник Надежды Мандельштам и других литературных вдов советской эпохи,

<sup>1</sup> Facebook\*, 16 декабря 2021. (Соцсеть Facebook\* принадлежит компании Meta\*, чья деятельность признана экстремистской на территории РФ и запрещена. – Прим. ред.)

Проффер понимал роль «теней», неофициальных фигур культуры, оказывавших влияние на литературный процесс, – о чём и пишет в первой главе «Без купюр». Как наследник андеграундной поэзии, Шубинский осознаёт роль «теневого» – которое, с одной стороны, противопоставлено не близкому ему эстраднему направлению в лирике, а с другой – способно выходить из периферии в центр, становясь движущим течением литературы. (Здесь, конечно же, в первую очередь вспоминаются известные слова Тынянова<sup>1</sup>. Но наблюдения за «возвращением андеграунда» в предисловии к ярцевской «Свалке» подтверждают плодотворность этих наблюдений уже на современном материале.)

Название книги «Контракт» (нескрываемо ироническое по своему переосмыслению бизнес- и даже военных ассоциаций), таким образом, оказывается многообразно оправданным: это договор между прежним, «узаконенным» (но, конечно, только на поверхностный взгляд) порядком вещей – и новым, приходящим на смену. Между голосом, которым разговаривают сущности тайного мира в этой книге, – и настроенностью лирического героя на чуткий слух и на слышимое им сообщение. Контракт, наконец, иерархический: между голосом сменяющегося поколения и того, которому уже «ни к чему» (пребывать в становлении, меняться). Заметно, как метафора «дурацкие дрели» приобретает ассоциативный оттенок: в ней слышатся «дурацкие дети» – строка в таком спектре значений окрашивается доброй предостерегающей иронией старшинства. «Дурацкие» – это ведь не обязательно те, которым надо идти вон: это и «неправильные», неформатные, те, которые не станут исповедовать «общие» ценности (навязываемые сверху, и

эту искусственную общность можно понимать широко – от лёгкого стремления к эстраднему успеху до коннотаций политических. Знающий да вспомнит тут слова Гумилёва о Нельдихене – вряд ли они специально подразумевались, но напрашиваются).

Слово «игрушка», с которого начинается рецензируемый текст, также становится оправданным в контексте нового поколения, несерьёзное отношение к которому привычно и даже естественно. Немногим дано понимать быструю смену вех, и Шубинский один из понимающих. Дети вырастут и станут старшими, а многие из них – определяющими новый порядок вещей; традиции переменятся. Поверхностный взгляд на входящих в литературу, может быть, приемлем для многих, но не для историка литературы, который просто по определению должен учитывать всё (пусть и не всё брать в свою иерархическую картину).

Что ещё обращает на себя внимание из тёмных углов, не столь однозначно поддающихся интерпретации, – заданные в стихотворении бинарные оппозиции: «что и ничто», «не собой» и «собой». Отсылает ли вторая оппозиция к словам Шубинского из всё того же предисловия к книге Ярцева: «Ярцев слишком много знает о нерванности себе и условности человеческого “я”, чтобы исповедоваться или вещать от первого лица некие истины»? Вообще к пониманию лирики как основанной на дистанции между «собой» и лирическим субъектом? В любом случае, подлинное стихотворение – всегда контраст (контракт?): большого содержания – и его малости, кажущейся малозначительности в системе социальных связей; и этот диссонанс отражает метафора «что и ничто». Видимо, не зря вокруг этих слов отсутствуют кавычки – они подразумеваются, но их отсутствие как будто придаёт и «что», и «ничто» более вещный характер, едва ли не свойства имён. Это, опять же, встраивается в лирический сюжет книги, говорящей многими голосами. Отметим инобытийный характер этого «ничто», который откликается не сразу заметным ассоциативным сдвигом между «дыркой во тьме» и «дыркой во тьму». Первое, как

<sup>1</sup> «В эпоху разложения какого-нибудь жанра — он из центра перемещается в периферию, а на его место из мелочей литературы, из её задворков и низин вливается в центр новое явление». Цит. по: Тынянов Ю. Н. Литературный факт // Поэтика. История литературы. Кино. — М.: 1977. — С. 255-269 (<https://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/poet4.htm?ysclid=lsmjtxke1c723522690>)



движение к свету, было бы слишком очевидным пожеланием; второе же более неоднозначно. Тут слышится выход из-под света эстрадных софитов в подлинный лирический неуют, в «тёмную» природу поэзии, о которой точно писала Мария Степанова: «Строго говоря, назначение поэзии как раз в том и состоит, чтобы быть такой прорехой, черной дырой, ведущей Бог весть куда и с какими целями, усиливая неуют, и уж если предлагая утешение – то очень специального свойства»<sup>1</sup>.

Финальная строка звучит пессимистично – и в ней могло бы увидаться едва ли не предсмертное уныние, если бы не весь спектр ассоциаций, свидетельствующий скорее о разумной преемственности, чем о предвестье ухода. Но всё же вдумаемся: что именно «ни к чему»? Думается, речь из состояния «ткани», то самое становление «плаща»: они бессмысленны или даже невозможны для старшего автора, занимающего позицию учителя и осознающего своё авторитетное место внутри литературного процесса. Интересно, что это едва ли не единственная строка, в которой появляется авторская прямая речь (притом что автор – литературный критик – так часто отрицает прямоговорение, «вещание от первого лица»;

<sup>1</sup> Степанова М. В неслыханной простоте // Colta, 18 ноября 2010 (<https://os.colta.ru/literature/events/details/18757/?ysclid=lrzn3ndo71145579304>).

вновь вспомним предисловие к «Свалке»)<sup>2</sup>. Такая перемена места действия говорит о способности лирика к метапозиции и позволяет ожидать от автора новых сдвигов и свершений; она свидетельствует о возможности ситуативного расхождения лирика со своими же критическими установками – в тех случаях, когда это необходимо.

Итак, историк литературы присматривается к новому поколению; критик – к тенденциям в поэзии, которые неизбежно становятся частью его письма; лирик – к возможной точке сдвига с привычных критических установок. И у всех троих, и у нас, – всё впереди. Дырка во тьме – и в поэтическую инобьютиную тьму – будет проверчена этим упорным сдвигом меняющихся дрелей.

<sup>2</sup> Оставим это, впрочем, скорее на уровне любопытной гипотезы: всё-таки «выход из коммуникативной эстетики», «отказ от интонации и интенции обращения к подразумеваемому читателю» (определения Олега Юрьева: Цит. по: Юрьев О. Ерёмин, или Неуклонность // Ленинградская хрестоматия (от переименования до переименования): маленькая антология великих ленинградских стихов. Сост. Олег Юрьев. СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. С. 168) – основополагающие принципы не только для Юрьева, но и для его сподвижника Шубинского. Так что, вероятно, автор и не согласился бы с восприятием этого «мне» как некоей декларации.

**Контакты:**

**Анна Сафронова** (*гл. редактор, проза*): safronova-volga21@yandex.ru

**Алексей Александров** (*зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru

**Алексей Голицын** (*документальные исследования*): agolitzin@yandex.ru

**Олег Рогов** (*архивные публикации, критика*): rgv@mail.ru

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:  
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 15 апреля 2024 г.

Журнал отпечатан в типографии  
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.